L'Archéologie du savoir

Michel Foucault

# Мишель Фуко

# Археология знания





ARS PURA

ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Michel Foucault

# L'Archéologie du savoir

Saint-Pétersbourg
2004

Мишель Фуко

# Археология знания




Санкт-Петербург
2004

УДК 003
ББК 81
Ф94

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА РОССИИ»
(Подпрограмма «Поддержка полиграфии
и книгоиздания России»)

**Фуко Мишель**
Ф94 Археология знания / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой; вступ. ст. А. С. Колесникова. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия»; Университетская книга, 2004. — 416 с. — (Серия «Ars Pura. Французская коллекция»).

ISBN 5-93762-034-8

Книга выдающегося французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) «Археология знания» занимает в его наследии особое место. Изданная в 1969 году, она выражает изменившееся мироощущение французского интеллектуала после «майской революции», а если говорить о личной истории Фуко — завершает «археологическую эпоху» его творчества и открывает новое направление исследований. В этой работе Фуко пытается ответить на следующие вопросы: какой тип феноменов может стать объектом дискурса истины; кто может занять позицию говорящего субъекта; каким образом возникают новые совокупности элементов, которые мы называем «научными теориями»? Фуко не создает здесь очередной вариант «истории идей», а стремится исследовать те соответствия, которые существуют между различными речевыми практиками и «внеязыковыми структурами повседневности», то есть, экономическими, социальными, политическими условиями производства самого знания.

Книга адресована всем, кто интересуется современной философией.

ISBN 5-93762-034-8



# Мишель Фуко и его «Археология знания»

Любое «введение», «комментарий» или «послесловие» к работам Фуко являются попыткой понять известного автора, не отождествляя его мысль с тем, что он когда-то сказал или где-то написал, поскольку зачастую одно и другое может вступать между собой в противоречие. Концепции этого мыслителя неизменно полифоничны. Повторю за многими: Фуко труден для понимания, для перевода и требует отказа от привычных штампов в отношении того, что есть автор. Фуко — убежденный исследователь, устремленный на изучение принципиальных вопросов и избегающий отвлеченных теоретических положений, тем более когда, по его мнению, они образуют доктринально завершенную систему. Разумеется, «чистое», т. е. концептуально «не нагруженное» описание — фикция, и Фуко делает, часто вопреки своим заявлениям, фундаментальные обобщения, всегда связанные с конкретной эмпирикой, основная функция которых — прочертить связь аналитической работы с определенным материалом. Однако если вычленить подобные обобщения из разных текстов и попытаться просто смонтировать их в единую «философию Фуко», то фиаско неизбежно. Неудача будет в немалой степени обусловлена тем, что в развитии философской позиции французского мыслителя повороты настолько непредсказуемы, вследствие чего все предшествующие этапы становления его мысли предстают уже совсем в ином

свете и прежние концептуальные обобщения требуют существенной коррекции.

Имя Мишеля Фуко (1926–1984), выдающегося французского философа, историка, теоретика науки и культуры (можно больше уже не писать «современного философа», поскольку такое уточнение кажется излишним), широко известно не только во Франции или в Европе, но и во всем мире. Это один из наиболее ярких, оригинальных и влиятельных мыслителей послевоенной Европы, творчество которого во многом определяло интеллектуальную атмосферу последних десятилетий XX века, ассоциировалось у читателей и философов-специалистов со структурализмом (от которого он всячески открещивался, но в тоже самое время вполне мог пользоваться структуралистской терминологией и структуралистскими методами), постструктурализмом и постмодернизмом (к которым его также причисляют).

Первоначально сфера интересов Фуко была связана с психологией. Этому он был обязан преподавателям школы, в которой учился в 1946–1951 гг., Жоржу Гюсдорфу и Луи Альтюссеру, водившим своих учеников в госпиталь св. Анны и организовывавшим лекции выдающихся психоаналитиков. Фуко получил степень лиценциата по философии в Сорбонне и вместе с дипломом такую же степень по психологии в Парижском институте психологии. Хорошо известно, что именно Фуко был создателем первой психоаналитической кафедры по психоанализу во Франции, тесно сотрудничавшей с теми, кто причислял себя к школе Лакана. Кроме того, Фуко преподавал психологию в университете Лилля и в Высшей нормальной школе (1951–1955), среди слушателей которой был и прославившийся позднее французский философ Жак Деррида. Потом Фуко

недолгое время работал во французских культурных представительствах в Швеции (Уппсала), Польше (Варшава) и ФРГ (Гамбург), читал курс «Человек в западной мысли» в Тунисе (1966–1968). В его творческой биографии была и совместная работа с Жилем Делезом по подготовке к печати французского критического перевода полного собрания сочинений Ницше, осуществленного итальянскими издателями Джорджио Колли и Маццино Монтинари в 1967 г. Затем Фуко заведует кафедрой философии экспериментального университета в Венсене (1968) и с 1970 по 1984 г. — кафедрой истории систем мысли в Коллеж де Франс, где Фуко выиграл конкурс на право замещения этой должности у Поля Рикёра.

Лекции Фуко, пользовались чрезвычайной популярностью в студенческих аудиториях «магического квадрата» парижской интеллектуальной жизни — Сорбонны, Эколь Нормаль, Венсана и Коллеж де Франс. На них съезжались слушатели не только из Франции или Европы, но и со всего мира. Около пятисот студентов и просто поклонников задолго до начала лекции собирались в аудитории, рассчитанной на триста мест, ожидали появления своего кумира, слушали с обостренным вниманием, предвкушая открытия и откровения, так что никто даже не осмеливался задавать вопросов. Речь Фуко была «прозрачной и невероятно действенной»[1]. Она была схожа с барочным стилем самих его книг, повергая «своим великолепием и своей точностью» в недоумение М. Бланшо, который «не мог понять, не разрушает ли этот высокий барочный стиль ту особую, исключительную ученость, многообразные черты которой — философские, социологические, исто-

[1] *Eribon D.* Michel Foucault (1926–1984). P., 1989 (2 ed., 1991). P. 235–236.

рические — его стесняли и вдохновляли»[2]. Некоторые исследователи и критики объясняли популярность Фуко, который вступил во Французскую коммунистическую партию в 1950 г. вслед за своим преподавателем и другом Альтюссером, импонировавшими молодежи левыми прокоммунистическими позициями, свойственными широким кругам французских и европейских интеллектуалов в 50–60-х гг. Однако членом ФКП Фуко был совсем недолго: он вышел из нее в 1953 г., еще до того, как начался массовый выход из компартии под впечатлением подавления советскими танками венгерской революции 1956 г.

Книги, которые Фуко оставил нам, по словам уже цитировавшегося М. Бланшо, представляются на первый взгляд «скорее творениями дотошного историка, нежели плодом личностных изысканий»[3]. Можно было бы сказать, что он исследовал проблемы, которые испокон веков относились к философии, но делал это окольными путями — через историю и социологию, подчеркивая и выдвигая в истории на первый план некоторую прерывистость, которая тем не менее не превращается в разрыв.

В первой книге, не привлекшей к себе особого внимания, «Душевная болезнь и личность» (1954)[4] Фуко демонстрирует свое представление о психологии и сумасшествии в рамках теорий Л. Бинсвангера и И. Павлова. Здесь чувствуются марксистская интерпретация феноменов «душевной болезни» и попытки Фуко искать в учении Павлова позитив-

[2] *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. Machina. СПб., 2002. С. 10.

[3] *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 50.

[4] В 1962 г. она была переиздана под названием «Душевная болезнь и психология».

ное решение проблемы «взаимоотношения человека и его среды»[5]. Затем следуют книги «Безумие и неразумие: история безумия и классический век» (1961)[6], «Генезис и структура "Антропологии" Канта» (1961), «Раймон Руссель. Опыт исследования» (1963), «Рождение клиники: археология взгляда медика» (1963)[7], «Предисловие к трансгрессии» (1963), «Отстояние, вид, первоначало» (1963). После выхода в свет книги «Слова и вещи: археология гуманитарных наук» (1966)[8], которая сделала Фуко знаменитым, его тексты неизменно оказываются в центре внимания профессиональной критики и широкой общественности. Всего Фуко написал более десятка монографий и сотни статей. Среди последних особенно известны «Мысль извне» (1966), «Что такое автор?» (1969), «Порядок дискурса» (1970)[9], «Theatrum philosophicum» (1970)[10], «Ницше, генеалогия, история» (1971), «Игра власти» (1976), «Запад и истина секса» (1976) и т. д.

Интересы Фуко поражают своей широтой: это проблемы медицины и биологии, литературной критики и языкознания, истории, пенитенциарных сис-

[5] Этой книге предшествовала совместная работа с экзистенциальным аналитиком Ж. Виардо над переводом работы Л. Бинсвангера «Сон и существование», к которой Фуко написал «Введение» на сто двадцать страниц, оказавшееся больше, чем сам текст Бинсвангера.

[6] Русск. пер.: *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.

[7] Русск. пер.: *Фуко М.* Рождение клиники. М., 1998.

[8] Русск. пер.: *Фуко М.* Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977; СПб., 1994.

[9] Русск. пер.: *Фуко М.* Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М., 1996. С. 47–96.

[10] Русск. пер.: *Фуко М.* Theatrum philosophicum // Делез Ж. Логика смысла. Екатеринбург, 1998. С. XX–XX.

тем и эволюции сексуальности в Европе. В работах «Надзирать и наказывать» (1975), рассматриваемой как фрейдомарксистская[11], и в трех томах «Истории сексуальности» (1976, 1984)[12] зафиксирован перелом в осмыслении социально-политической обстановки, который начинает активно встраиваться в ту или иную практику борьбы с авторитарностью (вполне в духе Ницше или Батая). «Неустрашимый зазор» между филией и политией, по словам Жан-Люка Нанси[13], стал при всех нападках в адрес Фуко со стороны критиков (идеалист, нигилист, «новый философ», марксист или антимарксист, структуралист и т. п.) центром его дискурса, позволяя ему, однако, оставаться подчеркнуто независимым от любой идеологии.

Тексты Фуко различны по своему содержанию, но его исследовательская программа выглядит вполне цельной. Поначалу основной линией собственного философского творчества он считал преодоление не удовлетворявшей его интеллигибельной универсальности гегельянства и коренное переосмысление проблемы взаимоотношений элементов системы

[11] М. Бланшо в своей рецензии на «Надзирать и наказывать», отмечая «новую ориентацию» «психоаналитических работ в связи с Гегелем, Хайдеггером и лингвистическими исследованиями», характеризует ее как «незаурядную, насыщенную, напористую и из-за своих необходимых повторений почти безрассудную», в которой обрела свое выражение маргинальная идея «история пределов». См.: *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 73.

[12] Русск. пер.: *Фуко М.* Воля к знанию // Фуко М. Воля к истине. С. 97–268; *Фуко М.* Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. Киев; М., 1998; *Фуко М.* Использование удовольствий. История сексуальности. Т. 2. СПб., 2004.

[13] *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 93.

«субъект — познание — мир». Маркс, Ницше, Батай, Бланшо, Башляр, Кангилем, эпистемология и логика помогали Фуко «уйти» от Гегеля и проблематизировали теорию субъекта[14]. Маркс с его идеей отчуждения, феноменологический экзистенциализм, сконцентрированный на переживаемом опыте, и современная психология были, по мнению Фуко, только разными формами рефлексии и анализа, вдохновленные «философией субъекта» и ориентированные на нее.

Однако «философия субъекта», как казалось Фуко, была не в состоянии ответить на вопросы современности. В это время Лакан показал, что через речь больного и через симптомы его невроза говорит структура, сама система языка, а не субъект, и Фуко, двигаясь в том же направлении, пытается найти такие рациональные формы анализа, которые не апеллировали бы к идее субъекта. Он вычленяет центральную конструкцию в виде «дискурса об опытах-пределах», которая помогает субъекту трансформировать самого себя, и «дискурса о трансформации самого себя через формирование знания»[15]. Фуко утверждает субъект как точку пересечения различных исторически сложившихся дискурсов, и в результате субъект оказывается лишенным автономии и единства. Теперь он определяется языковыми практиками господства, которые конституируют метанарративы, влияющие на индивидуальное сознание. Язык, текст, дискурс как метафорические обозначения универсального принципа помогали ему соотносить, взаимосоизмерять и оптимизировать со-

[14] См.: *Фуко М.* Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр. 1994, № 2. С. 48–56.

[15] *Foucault M.* L'ethique du souci de soi comme pratique de la liberte // Dits et Ecrits. P., 1994. Vol. IV. P. 706, 709.

циокультурные феномены. Мышление в терминах субъективности Фуко заменяет построением «антропологии конкретного человека», которая превращается в особого рода исторический анализ и критику устоявшихся мыслительных и культурных предпосылок, изыскивающую возможность для самой мысли быть другой. В этих конструкциях рождается его критический метод — метод критической истории или археологии, понимаемый как философская работа, сконцентрированная на анализе условий возможности возникновения и существования поля того или иного феномена культуры.

С другой стороны, на пути преодоления феноменологической традиции, которая апеллировала к пережитому (субъективному) опыту повседневности, Фуко вырабатывает принципиально новые мировоззренческие и познавательные парадигмы. Апеллируя к таким философам, как Ф. Ницше, Ж. Батай, М. Бланшо, Р. Шар, С. Беккет, П. Клоссовски, Фуко вместе с ними пытается достичь особой экзистенциальной точки, способной, насколько это возможно, приблизиться к тому, что *нельзя пережить*. Опыт понимается Фуко как некий *предел*, функция которого заключается в том, чтобы вырвать субъекта у него самого. Именно это он и пытается реализовать в своих первых исследованиях — выявить пределы, ограниченность феноменологии и психоанализа как форм организации мысли и опыта и в то же время изобрести метод восстановления во всей полноте «акта выражения», которое должно само объективироваться в «сущностных структурах обозначения». Фуко даже заявил о новой «антропологии выражения», основанной на чисто онтологическом размышлении о присутствии в бытии. Эта антропология должна по-новому определить отношение между смыслом и символом, образом и выражением.

Исследование изначальных «пластов» человеческого знания в работах 60-х гг. Фуко стремится реализовать в проекте «археологии знания», где пытается вскрыть условия исторического возникновения различных мыслительных установок и социальных институтов в буржуазной (преимущественно французской) культуре Нового времени. В книге «Слова и вещи», относящейся к середине творческой биографии философа, Фуко предпринимает попытку описать семиотический уровень и историко-культурные типы знаковых соотношений между словами и вещами. Для этого он пользуется понятием *эпистема*, под которой понимается особая конфигурация «слов», «вещей» и «представлений», задающая условия возможности точек зрения, знаний и наук, характерных для определенной исторической эпохи.

Подобная попытка найти общий структурирующий механизм во всех формах сознания и культуры данной исторической эпохи вполне имеет право на существование, хотя здесь есть опасность абсолютизации того допонятийного уровня, на котором Фуко ведет свое исследование. На это указывает ограниченность самой надстройкой поиска всеобщих форм структурирования надстроечных содержаний совокупности идеологических отношений и взглядов и игнорирование более широкого контекста социальных отношений каждой эпохи, который мог бы существенно упрочить обоснование выявленных эпистем. Заметим, что Фуко, декларируя свою принципиальную задачу при переходе от одной эпистемы к другой как исследование прерывности, не уделяет должного внимания анализу преемственности, влияний и взаимосвязей между ними. В стороне оказывается вся та совокупность факторов, которая позволяет отрефлексировать смену мыслительных структур как противоречивый процесс развития в

противовес калейдоскопическому чередованию образов, не зависящего от обстоятельств внутреннего или внешнего порядка. Напрашиваются сравнения построений Фуко с конструкциями Ж. Деррида, у которого большим значением обладают случаи *разрывов* внутри текста философии и *прерываний* его «свободной игры», впрочем, также отсылающие к некоторому единству метафизики.

Все книги Фуко 60-х гг. — «Безумие и неразумие. История безумия в классическую эпоху» (1961)[16], «Рождение клиники: археология взгляда медика» (1963) вместе со «Словами и вещами» — демонстрируют единство замысла и позволяют рассматривать их как своего рода трилогию. «История безумия в классическую эпоху» анализирует исторически меняющиеся соотношения между социальными критериями разума и психической болезнью[17]. Медицинская проблематика лечения болезни в «Рождении клиники» разбирается в связи с юридическими, экономическими, религиозными отношениями. Работы этой трилогии проблематизируют описание таких общезначимых установок мышления и мировосприятия, которые обусловливают возникновение тех или иных культурных и общественных явлений.

Введение новых, очень необычных или просто отличных от всем известных до сих пор систем топологий может снять классическое декартовское

[16] Переиздана в 1972 г. под названием «История безумия в классическую эпоху. См.: *Foucault M.* Histoire de la Folie a l'âge classique. P., 1972. Русск. пер.: *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. СПб., 1998.

[17] «Духовными отцами» этой книги Фуко считал Бланшо, Русселя, Лакана и Дюмезиля, а среди адекватных откликов на эту работу называл рецензии, написанные М. Бланшо и Р. Бартом. Весьма положительно отозвались об «Истории безумия» М. Серр и Ф. Бродель.

противопоставление субъекта и объекта. Так образуется некое пространство мысли и действия, в котором есть эпистемы, дискурсивные практики, диспозитивы, но нет мыслимого в универсальной форме субъекта человека. В смерти человека (как писал Фуко, с «изменением установок знания» «человек исчезнет, как исчезает лицо, нарисованное на прибрежном песке»[18]) разыгрывается и смерть Бога. «Археологический», или «генеалогический», анализ соотносится с бессубъектным пространством и выступает формой истории, повествующей о формировании знаний и дискурсов без апелляции к некоторому субъекту. «Археология знания» сместила анализ Фуко с проблематики рефлексии пределов, в рамках которых люди того или иного исторического периода способны мыслить, понимать, оценивать и действовать, на рефлексию о механизмах, позволяющих тематически концептуализировать возможные в этих пределах (или эпистемах как общих пространствах знания, способах фиксации «бытия порядков», скрытых от непосредственного наблюдателя и действующих на бессознательном уровне сетей отношений, сложившихся между «словами» и «вещами») дискурсивные практики. В «археологии медицины» дается анализ образования медицинских и психиатрических понятий (нормальности и безумия), реализуется и актуализируется переосмысление проблемы «субъективности» человека. Таким путем вырабатывается собственная «археология», раскрывающая условия возможности происхождения и существования различных феноменов человеческой культуры, выявляется зависимость и обусловленность форм и конкретного знания врачебной

[18] *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. С. 487.

деятельности «кодами знания». Этот опыт «археологии духа» и важнейших формообразований дискурса дается у Фуко параллельно «археологии институциональных форм».

Таким образом намечается следующий проект: вначале анализируется опыт пересечения границ внутри практик языка, затем актуализируется работа мысли над самой собой в пространстве возможных «опытов-пределов». Фуко говорит о преодолении пределов, устанавливаемых диктатом разума, т. е. о выходе за ту границу, за которой теряют значение базовые оппозиции, ценности и смыслы традиционной философии и культурного мира. Это и есть *трансгрессия* (опыт пересечения границ), «жест, обращенный на предел»[19], одно из проявлений философского творчества Нерваля, Арто, Русселя, Гельдерлина, Ницше и Батая, а также и самого Фуко. Отстаивая свою позицию, он показывает, что это состояние подготовлено формированием нового языка (и нового к нему отношения) и соотнесено с отказом от однозначного сопряжения языковой реальности с кладезем культурной традиции, задающей языковым феноменам внеязыковую размерность. Современная культура, по мысли Фуко, может быть выражена совершенно в ином, не связанном с традицией языке. Подобная трансформация языка ведет за собой и изменение стиля философствования, глубинные сдвиги в самом типе мышления, погружение философского опыта в язык, который «говорит то, что не может быть сказано».

Пространства с переменной топологией позволяют более глубоко понять сущность мышления. Это связано, прежде всего, с выработкой все новых и но-

[19] См.: *Фуко М.* О трансгрессии // Танатография Этоса. СПб., 1994. С. 111–131.

вых, более «тонких» топологий на основании полной совокупности известных нам объектов, на сближении (и даже иногда отождествлении) вещей, ранее казавшихся далекими друг от друга. Более того, такие топологии позволяют по-новому, более глубоко понять, что же представляет собой исторический процесс. Таким образом мы подходим к осознанию того, чем является *история*: все самые разные способы поведения людей в самые различные исторические эпохи оказываются (с точки зрения современной философии) «сведенными» (аккумулированными, абстрагированными) к многообразным способам разметки пространства, где помещаются интересующие нас объекты и явления.

Лейтмотивом работ, написанных после «Слов и вещей» («Археология знания», «Что такое автор?», «Порядок дискурса», «Надзирать и наказывать»), является развитие основного замысла Фуко, а именно критики «историко-трансцендентальной традиции», вместе с тем в него привносится много существенно нового. «Археология знания» не только продолжала собственную эволюцию взглядов Фуко, но, отвечая на критику «Слов и вещей», выполняла роль «методологического послесловия», поскольку в ней *речь идет только о методе*. Здесь Фуко объясняет используемые ранее понятия и принципы анализа, концептуализирует понятие *археология*, пытается отмежеваться от структурализма, поскольку не переносит в области истории структуралистский метод, хорошо зарекомендовавший себя в других областях анализа.

В «Археологии знания» и последующих работах Фуко разрешает по крайней мере отдельные противоречия, которые в «Словах и вещах» приводили в тупик. Вместо очевидной произвольности выбора фактов в «Словах и вещах» он вводит анализ зако-

номерности дискурсивных практик; вместо ссылок на авторов и произведения предлагается программа исследований «авторской функции» в самых разных произведениях различных исторических эпох; утверждение внутренней однородности и строгой определенности эпистемологического пространства сменяется возможностью существования разноуровневых дискурсивных практик и выявлением их взаимосоотношений; прерывность, существующая между эпистемами, осмысляется вместе с другими преобразованиями, происходящими в структуре дискурсивных совокупностей. Некоторое сужение общенаучных, культурологических обобщений и философских претензий Фуко компенсируется расширением исследуемого им материала, его более тщательной и методологически более четкой проработкой, включением более широкого историко-культурного контекста. Например, в книге «Надзирать и наказывать», появившейся в результате длительной работы Фуко в составе комитета по обследованию состояния французских тюрем, содержится исторический очерк пенитенциарной системы в европейских странах от Средневековья до наших дней.

Следующую часть «археологии культуры» должен был составить шеститомный труд по истории сексуальности, который стал «самой подрывной книгой» философа, снимающего запреты, накладываемые современным буржуазным обществом на те или иные предметы, символы и значения. Можно сказать, что реакция на ту культурную ситуацию, в которой находился и писал Фуко, не была ни апологией действительности, ни бегством в сферу иррационального субъективного. Кажущаяся абстрактность построений Фуко оказывается трезвым, выверенным, кропотливым трудом ученого, сохраняющим действенный интеллектуальный критицизм.

Традиционному историческому описанию (истории идей), пронизанному оппозицией внутреннего и внешнего, раскрывающему глубинное высвобождение «ядра основополагающей субъективности», Фуко противопоставляет новую историю, которую называет «археологией». Основной принцип мыслителя таков: всякая форма есть композиция отношений сил. Поиск поля возможностей того или иного дискурса, вещающего о себе в процессе полагания своей истории, ведется археологическим способом, чуждым традиционному историческому или документальному. Философское мышление, несмотря на причастность истории, всегда было метаисторическим мышлением, процессом отрицания истории. Благодаря этой отрицательности акт философского познания есть вечно настоящее, поэтому философия не может апеллировать даже к собственной истории. Она не обладает бытием как чем-то свершившимся во времени и ее истина — это процесс, который всегда здесь и теперь вновь рождает и обосновывает себя. Философское познание есть внутреннее усилие, постоянное вопрошание о своих предпосылках, абсолютное сомнение в них, и именно благодаря этому происходит ее самообоснование. Философ не может сослаться на какую-то раз и навсегда решенную проблему, поскольку философия состоит не в собрании книг, а имеет место лишь тогда, когда существует усилие философского мышления, сомневающегося в себе и в различных философских системах, подвергающее их отрицанию. Но именно в рамках нетрадиционного, археологического вопрошания уже-свершившегося конституирутся работа мысли Фуко, рассматривающего процессы открытия поля возможности наук, способов артикуляции форм знания, условий, при которых сложилась именно такая конфигурация, и никакая иная.

Фуко дает заговорить многообразию, которое за фасадом выступившего Единого потеряло однажды все то, что не вписалось в это Единое, но что имело силу для его определения.

Отвечая на критику по поводу ассоциаций, относящихся к слову *археология*, Фуко говорит, что ученые, как правило, всегда ищут установления и трансформации, а не основания. В противовес традиционному взгляду, что где-то за «словами» существуют сами «вещи», Фуко разворачивает понятие дискурса, соотнося его с анализом, имеющим дело не с взаимоотношениями «слов» и «вещей» («языком» и «реальностью»), а с правилами, определяющими порядок существования объектов. Дискурсы рассматриваются не как совокупность знаков, а как практики, постоянно образующие объекты, о которых они говорят. Такие практики подчиняются правилам образования, существования и со-существования, системам функционирования и т. д. Фуко пытается определить отношения, находящиеся на поверхности дискурсов, сделать их видимыми. Этот принцип анализа он назовет потом «правилом внешнего». «Археология знания» и «Порядок дискурса» — это книги, в которых присутствует дознаковый, досемиотический уровень дискурсивных, речевых практик, на котором определяются условия возможности знаков, языков, логики и знания.

В последних работах Фуко предельным уровнем исследования становятся отношения власти и знания, социального и научного, определяющие, по его мнению, всю совокупность специфических возможностей культуры в каждый данный исторический период.

Новая дисциплина, разрабатываемая Фуко в этих текстах, — *генеалогия власти* (прямая реминисценция из «Генеалогии морали» Ницше) подразумева-

ет нечто большее, нежели простое переименование «археологии знания». Поиск оснований знания внутри него самого недостаточен: знание в каждую конкретную историческую эпоху устанавливается определенной «социальной механикой», «социальной технологией». Социально-психологическое мироощущение «новых средних слоев» на рубеже 60–70-х гг., как и идеология «новых левых», запечатлелись в сознании очевидцев и современников как взрыв, заставивший их переосмыслить многие традиционные представления. Попытка понять эту «механику» знаменует сдвиг исследовательского интереса Фуко от теоретико-познавательной и историко-научной проблематики к анализу социально-политических условий (но не генезиса!) знания. Актуализируя вопрос об ответственности перед миром и обществом, Фуко стремится обнаружить и показать «очаги власти» повсюду — в семье, в больнице, в тюрьме и, помимо этого, формировать общественное мнение и этим бороться с властью.

Знание никогда не бывает «чистым», ибо оно всегда строится «по канве» властных отношений, как не существует чисто негативной, чисто репрессивной власти: механизмы власти всегда позитивны и продуктивны. Знание никогда не может быть «незаинтересованным»: знание — это и зло и сила, оно одушевлено страстями, инстинктами, побуждениями, желаниями и насилием. Власть порождает знание, а знание есть власть. Именно эти различные исторические типы взаимоотношений власти и знания становятся объектом рассмотрения в поздних работах Фуко. В конце XX века французская философия показывает, что вопрос о смешении «власти слова» с социальной властью далеко не праздный. Фуко, анализируя этот вопрос, сталкивается с проблемой языка как орудия, объекта и результата

механизмов власти (она была им намечена в «Археологии знания», а отчетливо представлена в «Порядке дискурса»). Можно предположить, что Фуко шел к проблемам генеалогии власти через привычную для многих проблему языка.

Особенность его подхода состоит в том, что, рассматривая те или иные идеи, Фуко стремится обнаружить не только их конкретные основания, но и их общую исторически преходящую основу. Язык у Фуко — это не «язык» в лингвистическом смысле слова, а, скорее, метафора для обозначения самой возможности соизмерения и взаимопреобразования разнородных продуктов человеческой духовной культуры, общего механизма духовного производства. Но если история — это лаборатория возможностей понимания, то язык — лаборатория средств этого понимания, ресурсов культуры. Так отчетливо раскрывается единство истории и языка в эволюционирующей многосоставной концепции Фуко. «Язык» — уровень первоначального структурирования, на основе которого далее вступают в силу социально-культурные механизмы более высоких уровней, например рационально-логического.

Таким образом, можно говорить о «трех Фуко»: первый является создателем «археологии знания» (концептуальным завершением этого периода является книга с таким же названием (1969)), второй — «генеалогии власти» (здесь наиболее репрезентативными текстами оказываются такие масштабные работы как, «Надзирать и наказывать» (1975) и первый том «Истории сексуальности»: «Воля к знанию» (1976)), наконец, третий — Фуко «эстетик существования» (сюда можно отнести два посмертно изданных тома «Истории сексуальности»: «Использование удовольствий» и «Забота о себе» (1984), а также ряд важных статей и интервью начала 80-х гг.,

в которых явно просматривается позиция, противоречащая установлениям кантианства). Переход от «первого» ко «второму» Фуко можно трактовать как дальнейшее развитие исследовательской позиции за счет учета дополнительной по отношению к языку «независимой переменной» — власти. Переход к «третьему» Фуко требует формирования нового взгляда, связанного с представлениями о категории субъекта. По всей видимости, несмотря на все «мутации» при реконструкции целостной концептуальной позиции Фуко целесообразно принимать в расчет не только эволюционную, но ретроспективную точку зрения. В качестве опорной точки многие исследователи избирают корпус текстов, вышедших в издательстве Gallimard в 1994 г.[20], в который было включено около 360 статей и интервью Фуко и где их автор, возвращаясь ко всему, что было им сделано, отвечая на подчас односторонние толкования своих прежних работ или на вопросы интервьюеров относительно основных мотивов и этапов своей деятельности, давал такие формулировки, которые стали окончательной версией его самоопределения[21].

Заметим, что таким образом была выражена его позиция, под которой подразумевался «определенный вид отношения к актуальности; добровольный выбор, совершаемый какими-то людьми; наконец, способ мыслить и чувствовать, а также способ действовать и вести себя, который одновременно выражает определенную принадлежность и представляет себя как задачу»[22]. Это то, что греки называли

[20] *Foucault M.* Dits et écrits. 1954–1988. Vol. I–IV. P., 1994.
[21] См. также: Philosophy and Social Criticism / Special Issue: The Final Foucault. Boston, 1987.
[22] *Foucault M.* Qu'est-ce due les Lumieres? // Dits et Ecrits. Vol. IV: 1980–1988. P., 1994. P. 568.

«этосом». Тот специфический «этос», который несло в себе Просвещение и который мы унаследовали от него, является непрерывной критикой нашего исторического бытия, и Фуко предлагает преобразовать критику, осуществляемую в форме необходимого ограничения, в «практическую критику, осуществляемую в форме возможного пересечения границ»[23]. Подобная критика — не трансцендентальная (как у Канта), а генеалогическая по своей сути и археологическая в своем методе. Она стремится продлевать, насколько это возможно, не имеющий завершения «труд по достижению свободы».

Конечно, такая историко-критическая позиция должна быть экспериментальной, и соответствующим образом «критическая онтология самих себя» должна порвать со всеми проектами, претендующими на глобальный охват. «Таким образом, я охарактеризовал бы философский *этос,* внутренне присущий критической онтологии нас самих как историко-практическое испытание границ, которые мы можем пересечь, и, следовательно, как нашу работу над самими собой в качестве свободных существ»[24].

Наконец, важно учитывать тот факт, что, с одной стороны, теоретический и практический опыт, который мы осуществляем в плане границ и их пересечения, сам всегда является ограниченным и, следовательно, должен осуществляться снова и снова, никогда не достигая завершенности. Соответственно фиксируются три специфические оси анализа: знание, власть, этика, а изучение исторических единичностей является способом прояснения общих вопросов. «Критическая онтология нас самих» —

[23] *Foucault M.* Qu'est-ce due les Lumieres? P. 574.
[24] *Foucault M.* Qu'est-ce due les Lumieres? P. 575.

это не теория и не доктрина, а именно определенный «этос», такая форма философской жизни, в которой критика того, чем мы являемся, представляет собой исторический анализ пределов, нам установленных, и опыт их возможного преодоления.

«Позднему Фуко» пришлось немало потрудиться во имя преодоления превратного понимания его позиции, инспирированного, в значительной мере его собственными формулировками. По недвусмысленному заявлению самого мыслителя, действительная цель его работы состояла вовсе не в изучении феноменов власти: «Скорее, я пытался создать историю различных способов субъективации человеческих существ в нашей культуре... <...> Таким образом, не власть, а субъект является тем, что составляет общую тему моих исследований»[25]. Фуко допускает, что он использовал недостаточно адекватные формулировки, возможно, создающие превратное впечатление, но при этом он сам не был против идеи субъекта. Он выступал лишь против того, чтобы исходить из некоторой готовой, предустановленной теории субъекта (наподобие того, как это делалось в феноменологии или экзистенциализме), и, опираясь на нее, рассматривать, к примеру, вопрос о том, как та или иная форма познания становится возможной. Интерес Фуко состоял в выяснении того, как именно человек конституировался в качестве определенной *исторической формы субъекта* и посредством каких практик: «Скорее, я отвергал определенную *априорную* теорию субъекта для того, чтобы быть в состоянии выполнить анализ отношений, которые могут иметь место между конституцией субъекта (или различными формами субъекта) и

[25] *Foucault M.* Le sujet et le pouvoir // Dits et Ecrits. Vol. IV: 1980–1988. P., 1994. P. 222–223.

играми истины, практиками власти и т. п.»[26] Субъект, убежден Фуко, — это не субстанция, а форма, и эта форма имеет исторически изменчивую конституцию. М. Бланшо замечает, что Фуко занят «рассеиванием» субъекта, «не уничтожающим его, но приносящим нам только множественность позиций и прерывистость функций»[27].

Выделение темы социально-исторической конституции субъективности в качестве лейтмотива мышления позволяет Фуко вполне отчетливым образом представить причудливую на первый взгляд траекторию своей исследовательской эволюции и заявить, что впечатление некоего «бунтарского» разрыва с философской традицией, возникающее от чтения его работ, является поверхностным: археолого-генеалогический комплекс раскрывает формирование субъективности как поле политической борьбы, и именно в этой связи Фуко обращается к изучению феномена власти. «В слове «субъект» имеется два смысла: субъект, подчиненный другому через контроль и зависимость, и субъект, привязанный к своей собственной идентичности через сознание или самопознание. В обоих случаях подразумевается форма власти, которая порабощает и подчиняет»[28]. В философии Фуко, как видно из посмертных публикаций, произошла переориентация в рассмотрении темы участия субъекта в «играх истины»: последние связываются уже не с дисциплинарными практиками, а с практиками самоформирования субъекта, которые он называет аскети-

[26] *Foucault M.* L'ethique du souci de soi comme pratique de la liberte // Dits et Ecrits. Vol. IV: 1980–1988. P. 718.
[27] *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 24.
[28] *Foucault M.* Le sujet et le pouvoir // Dits et Ecrits. Vol. IV: 1980–1988. P. 227.

ческими упражнениями «самости над собой»[29]. Согласно Делезу, Фуко преодолевает феноменологическую интенциональность и вместо классического субъекта у него «живет, дышит, оживляется перистальтикой, складками-извилинами гигантское нутро, гигантский мозг, морская поверхность ландшафт с подвижным рельефом»[30].

«Археологический» анализ ориентировался на бессубъектный статус «познавательного пространства», и эта форма истории не апеллирует к субъекту, но раскрывает механизм формирования знаний, дискурсов, областей объектов и т. д. Таким образом, это попытка выйти из философии субъекта через генеалогию современного субъекта, к которому Фуко подходит как к изменчивой исторической и культурной реальности. Изучение форм восприятия, которые субъект создает по отношению к самому себе, и положений Хабермаса о техниках производства, сигнификации (или коммуникации) и подчинения приводят Фуко к мысли, что существуют и *техники себя* (воздействие на свое тело, душу, мысли и поведение), используя которые индивид может сформировать себя в качестве субъекта.

*Техники себя*, которые предписываются индивидам для фиксации их идентичности, становятся способом писать историю субъективности через установления и изменения в нашей культуре «отношений к себе», с их технической оснасткой и эффектами знания[31]. Пересмотр генеалогии субъекта за-

[29] *Foucault M.* L'ethique du souci de soi comme pratique de la liberte. P. 709.

[30] Цит. по: История философии. Энциклопедия. Минск, 2002. Статья «Складка».

[31] См.: *Фуко М.* Герменевтика субъекта (выдержки из лекций в Коллеж де Франс, 1981–1982 гг.) // Социо-Логос. Вып. 1. М., 1991. С. 284–311.

падной цивилизации возможен при учете техники подчинения, «техники себя» и их взаимодействия. Он предлагает перестроить все поле философствования, выстроив отношение между знанием, практиками, институтами («субъект», «субъективность» и «объективированные формы») и человеком, «формами субъективности» и «способами субъективации», т. е. с наличными формами культуры, с помощью которых сами люди превращают себя в субъект того или иного опыта. Это уже не «опыт переступания», трансгрессии, а исторический продукт, создаваемый на пересечении существующих в каждой культуре областей знания, типов нормативности и форм субъективности. «Субъект» как форма организации исторического опыта должен уступить поиску различных «стилей существования», критической работе мысли над самой собой. «Поздний» Фуко рассуждает именно об историчности трех сфер опыта, сводя оси гносеологии (ось истины в «Рождении клиники» и «Археологии знания», ось власти в «Надзирать и наказывать» и моральную ось в «Истории сексуальности») в «онтологию настоящего».

Однако Фуко противоречит своим выводам. Последовательно снимая с человека его социальные оболочки — слой языка, слой дискурсивности, слой механизмов власти, он обнаруживает некий остаток, который побуждает к действию вопреки всяким рассуждениям и выводам. Эта проблема актуализирует взаимообусловленность социального и личностного в человеке, их нерастворимости друг в друге. Социальная обусловленность не отменяет возникновения в ней некоей новой размерности и причинности, несводимой к породившим ее механизмам. Между полем социального и возникновением индивидуальности всегда остается сфера свободы.

Делез в своей работе «Фуко» (1986) отмечает, как Фуко (так же как и Бланшо) показал, что философские дискуссии ведутся относительно места и статуса субъекта в тех измерениях, которые кажутся не полностью структурированными. Раскрывая новаторство «археологического» подхода Фуко, Делез отмечает его противопоставленность «формализации» и «интерпретации», которые смешивались в предшествующей традиции анализа смысла текстов. «Пропуски» и «разрывы» в высказываниях обозначают присутствие высказывания в пространстве рассеивания, где образуется его «семейство», в котором базовые слова, предложения и суждения исполняют свою функцию. Вывод Фуко состоит в том, что объект знания составляют ранее уже определенные множества или четкое множество со своими единичными точками, местами и функциями, которые и описывают само знание. Дискурсивная практика образует знание, не являясь ни обработанным наброском, ни побочным продуктом повседневной жизни, созданным наукой. Фуко, по мнению Делеза, преодолел научно-поэтическую двойственность, обременявшую труды Башляра, а главное достижение «Археологии знания» состоит в открытии и размежевании новых сфер, «где и литературная форма, и научная теорема, и повседневная фраза, и шизофреническая бессмыслица, и многое другое являются в равной мере высказываниями, хотя и несравнимыми, несводимыми друг к другу и не обладающими дискурсивной эквивалентностью... И наука и поэзия в равной мере являются знанием»[32]. Так разрушаются границы между философией, историей и литературой.

[32] *Делез Ж.* Фуко. М., 1998. С. 44.

«Археология знания» (1969), по словам В. Шмида, «главный и все еще не оцененный по достоинству труд»[33], завершает первый «археологический» период творчества Фуко. М. Бланшо отмечает опасность, которую несет само название этого текста, «поскольку оно взывает к тому, от чего надо отвернуться, к археологосу, или пра-слову», при этом в самом тексте можно обнаружить «формулы негативной теологии»[34]. «Археология знания» часто рассматривается как саморефлексия структуралистских подходов и методов исследования знания. В ней можно увидеть концептуальное оформление как дисциплины, так и метода исследования документально зафиксированных дискурсивных практик, взаимосвязанных с социокультурными обстоятельствами их формирования и реализации. Подход Фуко целенаправленно выступает против традиции «истории идей» и актуализирует пересмотр понятийно-концептуального аппарата истории, философии науки и связанных с ними сфер. Археология знания обосновывается как метод реконструкции культурно-интеллектуальных исторических эпох, обозначенных ранее понятием эпистемы. Так подводится черта, фиксируется определенная концептуальная завершенность и намечается разрыв, открывающий ту перспективу, которая будет знаменовать новый период творчества Фуко, часто называемый постструктуралистским.

*А. С. Колесников*

[33] *Шмид В.* Фуко // Современная западная философия. Словарь. М., 1998. С. 474.

[34] *Бланшо М.* Мишель Фуко, каким я его себе представляю. С. 21.

# От переводчиков

Принимая во внимание, что между существующими переводами работ Мишеля Фуко часто отсутствует терминологическое единообразие, мы сочли необходимым сопроводить данный перевод небольшим списком принятых нами терминов.

Вербальная реализация — *performance verbale.* — Здесь Фуко делает имплицитную ссылку на различие между *competence* и *performance*, введенное Хомским.

Высказывание — *énoncé*; акт высказывания — *énonciation.*

Единичность / своеобразие — *singularité.*

Закономерность — *régularité.*

Исток — *origine* (иногда: первоисток, первоначало, источник, происхождение).

Многообразие — *multiplicité.* — Термин, принятый в переводах работ Римана (см.: Математическая энциклопедия. М., 1982. Т. 4. С. 987, и далее).

Общность / целостность — *totalité.*

Повторный акт записи — *réécriture.*

Предложение — *phrase.*

Представление — *représentation.*

Произведение / творчество (автора) — *oeuvre.*

Речь (при отсутствии определения / язык (при наличии определения) — *langage.*

Ряд — *série.* — Из введения (I) данной работы следует, что Фуко говорит именно о рядах, из которых могут быть построены ряды рядов, т. е. таблицы.

Система отсылок — *référentiel.* — Однокоренное слово *référence* переводится, в зависимости от контекста, как *референция*, *отсылка*, иногда *ссылка.*

Сочленение / артикуляция — *articulation.*

Суждение — *proposition.* — Суждение «для Б. Больцано, а затем и для Г. Фреге... — это содержание (смысл) истинного (или ложного) повествовательного предложения» (Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 160). Современные лингвисты, как, например, Джон Лайонз, эксплицитно вводят в определение суждения понятие высказывания: суждение — это «то, что выражено повествовательным предложением, когда это предложение высказывается, чтобы сделать какое-либо утверждение» (*Lyons J.* Semantics, CUP, 1977. P. 141).

Транскрипция — *transcription.*

Членение — *scansion.*

И наконец, в заключение этого небольшого комментария мы хотели бы поблагодарить многочисленных коллег и знакомых, оказавших нам помощь и содействие на разных стадиях перевода. Особенно следует отметить К. Б. Токмачева, принимавшего самое активное участие на начальном этапе перевода, а также П. И. Быстрова, Г. Г. Вольского, В. М. Лазарева, В. М. Симакова, А. И. Сорокина, В. В. Тупову, Emili Bifet, Jeffrey Ketland, Victorine Pinson, C. Paillard, Rémy Prud'Homme, Jonathan Roffe, Joseph Vidal-Rosset. Нам хотелось бы выразить особую признательность Д. Е. Гладкову за долготерпение.

*М. Б. Ракова*

*А. Ю. Серебрянникова*

Август 2004

Мишель Фуко

# Археология знания

# I

Вот уже несколько десятилетий внимание историков направлено на периоды большой длительности, словно за политическими перипетиями и их отдельными эпизодами они рассчитывают обнаружить устойчивые и труднонарушимые равновесия, необратимые процессы, постоянно наблюдаемые факты регуляции; явления, имеющие общую тенденцию, достигающие наивысшей точки и оборачивающиеся вспять после многовекового непрерывного существования; движения накопления и медленного насыщения, огромные неподвижные и немые цоколи, скрытые под толщей событий путаницей традиционных повествований. Для выполнения такого анализа историки имеют в своем распоряжении частично ими же созданные, частично заимствованные инструменты: модели экономического роста, количественный анализ потоков обмена, кривые демографического подъема и регресса, изучение климата и его колебаний, выделение социологических констант, описание технических приспособлений, их распространения и устойчивого существования. Эти инструменты позволили историкам различить в поле истории разнообразные осадочные слои; на место линейных последовательностей, до сих пор бывших объектами исследования, пришла череда уходящих в глубь провалов. При переходе от мо-

бильности политической истории к медлительности, свойственной «материальной цивилизации», умножилось число уровней анализа: каждый из них имеет свои специфические разрывы, каждый предполагает только ему присущий вырез (découpage); и по мере того как мы спускаемся к самым глубоким основаниям, вычленяемые области (scansions) становятся все более и более широкими. За беспорядочной историей правлений, войн и периодов голода вырисовываются истории, почти неподвижные для взгляда, — назовем их медленными историями: история морских путей, истории производства зерна или добычи золота, история засухи и ирригации, история севооборота, история достижения человечеством равновесия между голодом и численностью населения. Старые вопросы традиционного анализа (какую связь установить между разрозненными событиями? Как установить между ними необходимую очередность? Какая непрерывность их пронизывает или какие совокупности эти события образуют в конечном счете? Можно ли определить некую общность (totalité) или же нужно ограничиться восстановлением цепочек?) — заменены отныне вопросами иного рода: Какие страты необходимо отделить друг от друга? Какие типы рядов (séries) установить? Какие критерии периодизации принять для каждого из них? Какую систему отношений (иерархия, доминирование, распределение по уровням, однозначная детерминация, взаимообусловленность) можно наблюдать между двумя рядами? Какие можно составить ряды рядов (séries de séries)? И в какой таблице с достаточно широкими хронологическими рамками можно определить различные следствия событий?

Однако примерно в то же самое время, в тех дисциплинах, которые мы называем историей идей, наук, философии, мысли, а также историей литературы (их спецификой можно пока пренебречь), в тех дисциплинах, которые, несмотря на свое название, в значительной степени ускользают от взгляда историка и его методов, внимание переместилось от широких единств, описываемых как «эпохи» или «века», к феноменам разрыва. Теперь под обширными непрерывностями мысли, под массивными и однородными проявлениями духа или коллективной ментальности; под упрямым становлением науки, изначально стремящейся продлить свое существование и одновременно обрести законченность; под устойчивостью определенного жанра, определенной формы, определенной дисциплины, определенной теоретической деятельности историки стараются обнаружить феномены прерывности — то есть те прерывности, статус и природа которых весьма различны. *Эпистемологические акты и пороги,* описанные Г. Башляром, ставят под сомнение возможность бесконечной кумулятивности познаний, прерывают их медленное созревание и вводят в новую эпоху; они отрывают познания от эмпирических истоков (origine) и первоначальных мотиваций и очищают их от мнимой согласованности; таким образом они предписывают историческому анализу уже не поиск безмолвных начал, не бесконечное восхождение к первопредшественникам, а выделение нового типа рациональности и его многочисленных следствий. Моделями *смещения и преобразования* понятий могут послужить анализы Ж. Кангилема, показывающие, что история понятия не всегда и не во всем является историей его постоянного утонче-

ния, его непрерывно возрастающей рациональности, его градиента абстракции, история понятия является, скорее, историей различных полей его образования и валидности; историей последовательных правил его употребления, множества теоретических сред, в которых произошла и завершилась его выработка. Существует различие, также показанное Ж. Кангилемом, между *микроскопическими и макроскопическим масштабами* истории наук, где по-разному распределяются события и то, что из них следует: на этих двух уровнях открытие, разработка метода, работа ученого, в той же мере, что и его неудачи, имеют разные следствия и не могут быть описаны одним и тем же образом — в этих случаях будут рассказаны разные истории. Для одной и той же науки, по мере того как изменяется ее настоящее, *рекуррентные перераспределения* дают нам несколько вариантов прошлого, несколько форм соединения, иерархий степеней важности, сетей детерминаций, несколько телеологий. Таким образом, исторические описания неизбежно подчиняются современному состоянию знания, множатся вместе с его преобразованиями и, в свою очередь, постоянно входят в конфликт сами с собой (для области математики теорию этого феномена недавно создал М. Серр[1]). *Архитектонические единства* систем, подобные тем, которые были проанализированы М. Геру, требуют не описания влияний, традиций, культурных непрерывностей, а, скорее, описания внутренних связей, аксиом, дедуктивных цепочек, совместимостей. Наконец, самые радикальные чле-

[1] *Серр Мишель* (р. 1930) — французский философ и историк науки. — *Прим. ред.*

нения суть, вероятно, те купюры, которые произведены в результате теоретического преобразования, «закладывающего основы науки, отделяя последнюю от идеологии ее прошлого и изобличая это прошлое как идеологическое»[2]. К этому, разумеется, надо было бы добавить литературный анализ, который отныне принимает за единство вовсе не душу или восприимчивость эпохи, не «группы», «школы», «поколения» или «движения» и даже не личность автора, связавшего в переплетениях взаимообменов свою жизнь со своим «творением», а структуру, которой обладают произведение, книга, текст.

И серьезная проблема, которая скоро возникнет — которая уже возникает — перед подобными историческими анализами, состоит уже не в том, чтобы узнать, какими путями могли установиться непрерывности, каким образом один и тот же замысел мог сохраниться и образовать единый горизонт для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов, какой способ действия и какую опору предполагает череда передач, возобновлений, забвений и повторов, каким образом первоначало может распространять свое господство за пределы самого себя вплоть до никогда не обретаемой завершенности, — проблема уже не в традиции и следе, а в вырезе и границе; это уже не проблема вечно сохраняющегося основания, это проблема преобразований, расцениваемых как основание, и обновления оснований. Итак, мы видим, как возникает целое поле вопросов, некоторые из которых уже привычны, и через которые новая форма истории

[2] *Althusser L.* Pour Marx. P., 1966. P. 168.

пытается выработать свою собственную теорию: как специфицировать различные понятия, позволяющие осмыслить прерывность (порог, разрыв, купюра, мутация, преобразование)? С помощью каких критериев обособить единства, с которыми мы имеем дело: что такое *отдельная* наука? Что такое творчество *отдельного* автора? Что такое *отдельная* теория? *Отдельное* понятие? *Отдельный* текст? Как создать разнообразие в уровнях, которые мы можем занять, и каждый из которых содержит свои членения и свою форму анализа: каков здесь правомерный уровень формализации? Уровень интерпретации? Каков уровень структурного анализа? Уровень определения причинно-следственных связей?

В целом представляется, что история мысли, познаний, философии, литературы умножает число разрывов и выискивает трудности, порождаемые прерывностью, тогда как то, что, собственно, и называется историей, — просто история, — как кажется, сглаживает вторжение событий ради сохранения разнообразных нелабильных структур.

Но пусть такое пересечение не создает иллюзий. Не нужно полагаться на видимость и представлять себе, что некоторые исторические дисциплины перешли от непрерывного к прерывному, тогда как другие переходят от бурления прерывностей к большим неразрывным единствам; не нужно представлять себе, что в анализе политики, социальных институтов или экономики мы оказались все более и более восприимчивыми к глобальным детерминациям, а в анализе идей и знания стали уделять все больше и больше внимания всевозможным различиям;

не нужно считать, что эти две большие формы описания вновь пересеклись и не признали друг друга.

На самом деле и в том и в другом случае были поставлены одни и те же проблемы, но на поверхности они привели к противоположным результатам. Мы можем резюмировать эти проблемы очень коротко — это вопрос о *документе*. И в этом нет никакого недоразумения: совершенно очевидно, что с того момента, как существует такая дисциплина, как история, мы пользовались документами, мы задавали вопросы им и задавали себе вопросы о них; мы спрашивали их не только о том, что они хотят нам сказать, но и о том, вполне ли они правдивы, и на каком основании они могут это утверждать, являются ли они подлинными или фальсифицированными, хорошо информированными или несведущими, аутентичными или искаженными. Но каждый из этих вопросов и все это великое критическое беспокойство в целом вели к одной цели: на основании того, что говорят эти документы, — а иногда, на что они только намекают, — восстановить прошлое, из которого они возникли и которое теперь осталось далеко позади; документ всегда рассматривался как речь низведенного теперь к молчанию голоса, как его хрупкий, но, к счастью, поддающийся расшифровке след. Однако в результате начавшейся не сегодня и, вероятно, все еще не завершившейся мутации история изменила свою точку зрения на документ: в качестве первоочередной задачи она ставит перед собой отнюдь не интерпретацию, не определение того, говорит ли он правду и какова его выразительная ценность, а обработку документа и рассмотрение его изнутри: история организует, разрезает, распределяет, упорядочивает документ, размещает его

по уровням, устанавливает ряды, отделяет то, что относится к делу, от того, что к делу не относится, выделяет элементы, определяет единства, описывает связи. Таким образом, для истории документ — это уже не инертная материя, сквозь которую она пытается восстановить то, что делали или говорили люди, то, что уже миновало, оставив лишь призрачный след: в самой документальной ткани история стремится определить единства, совокупности, ряды, отношения. Нужно отделить историю от того образа, которым она столь долго удовлетворялась и в котором находила свое антропологическое оправдание: от образа тысячелетней коллективной памяти, использующей материальные документы для того, чтобы вновь обрести свежесть своих воспоминаний. История — это создание и использование документальной материальности (книг, текстов, повествований, реестров, актов, сооружений, социальных институтов, регламентов, технологий, объектов, обычаев и т. д.), которая всегда и везде, в любом обществе представляет собой либо спонтанные, либо организованные формы остаточности. Документ не является для истории тем удобным инструментом, с помощью которого, и с полным на то правом, она стала бы *памятью*; история — это определенный способ, каким общество придает статус документам и обрабатывает всю ту документальную массу, от которой история себя не отделяет.

Короче говоря, в своей традиционной форме история занималась «меморизацией» *памятников* прошлого, она преобразовывала их в документы и заставляла говорить следы, которые часто сами по себе вовсе не являются вербальными, или значат нечто отличное от того, что они говорят. В наши

дни, история — это то, что преобразует *документы* в *памятники*, в которых расшифровываются оставленные людьми следы, в которых по отпечаткам пытаются узнать, чем или кем они были оставлены. История разворачивает массу элементов; их предстоит отделить друг от друга, сгруппировать, приобщить к делу, связать между собой, объединить в совокупности. Было время, когда археология как дисциплина, изучающая немые памятники, инертные следы, объекты, лишенные своего контекста, все то, что было оставлено прошлым, приближалась к истории и обретала смысл только через восстановление исторического дискурса; если все это слегка перефразировать, то можно было бы сказать, что в наши дни история приближается к такой археологии, которая рассматривает внутреннее описание памятника.

Отсюда несколько следствий, и в первую очередь тот лежащий на поверхности результат, на который мы уже указывали: увеличение числа разрывов в истории идей, выявление длительных периодов внутри самой истории. Действительно, в своей традиционной форме эта история ставила перед собой цель определить связи (простая причинность, цикличность, антагонизм, проявление между датированными фактами или событиями: если нам был дан ряд, то речь шла о том, чтобы уточнить местоположение каждого смежного элемента. Отныне проблема состоит в том, чтобы конституировать сами эти ряды: определить для каждого их них его элементы, зафиксировать его границы, выявить специфичный для него тип отношения, сформулировать его закон и сверх того описать связи между различными рядами, чтобы создать таким образом ряды рядов, или «таблицы»: отсюда — увеличение числа страт, их

смещение, специфичность свойственного им времени и хронологий; отсюда — необходимость различать уже не только важные (имеющие длинную цепочку следствий) и малозначительные события, но и типы событий совершенно различного уровня (одни — краткие, другие — средней продолжительности, такие как распространение технологии или обесценивание монеты, наконец, третьи — свершающиеся медленно, такие как достижение демографического равновесия или постепенное приспособление экономики к изменению климата); отсюда — возможность показать широко разведенные ряды, образованные редкими или повторяющимися событиями. Появление в сегодняшней истории периодов большой длительности — это не возврат к различным философским системам истории, к великим мировым эпохам или к фазам, предопределенным судьбой цивилизаций; это результат методологически обусловленного образования рядов. Однако в истории идей, мысли и наук та же самая мутация спровоцировала обратный результат: она рассекла длинный ряд, образованный прогрессом сознания, телеологией разума или эволюцией человеческой мысли; она поставила под вопрос темы конвергенции и осуществления и усомнилась в возможности их обобщения. Она привела к индивидуализации различных рядов, которые располагаются друг подле друга, следуют один за другим, частично перекрываются и пересекаются так, что мы не можем свести их к линейной схеме. Так, на месте непрерывной хронологии разума, неизменно возводимой к недостижимому истоку, к своему основополагающему началу, возникли зачастую отличающиеся друг от друга, не подчиняющиеся единому закону, иногда являющиеся

носителями только им свойственного типа истории, короткие отрезки, несводимые к общей модели накапливающего, прогрессирующего и ничего не забывающего сознания.

Следствие второе: понятие прерывности занимает в исторических дисциплинах главенствующее место. Для истории в ее классической форме прерывистое одновременно было и данностью, и чем-то недопустимым: тем, что встречалось в виде рассеянных событий — решений, происшествий, начинаний, открытий; и тем, что в результате анализа должно было быть обойдено, редуцировано, стерто, для того чтобы выявилась непрерывность событий. Прерывность была стигматом временной раздробленности, устранить которую из истории было обязанностью историка. Теперь она стала одним из основных элементов исторического анализа. Прерывность играет в нем тройную роль. Во-первых, она представляет собой намеренное действие историка (а отнюдь не то, что он невольно получает из рассматриваемого материала), поскольку он должен, хотя бы в качестве систематической гипотезы, различать возможные уровни анализа, методы, свойственные каждому из них, и соответствующие им периодизации. Кроме того, прерывность — это результат описания (а не то, что должно исчезнуть в результате анализа), поскольку историк стремится обнаружить границы процесса, точку отклонения кривой, обращение вспять упорядочивающего движения, пределы колебания, порог функционирования, момент сбоя круговой причинности. Наконец, прерывность — это понятие, которое постоянно уточняется в ходе работы (вместо того чтобы быть проигнорированным как неизменный и ничего не значащий пробел между двумя позитивны-

ми фигурами); она принимает специфические форму и функцию в зависимости от области и уровня, к которым мы ее относим: мы говорим о разных прерывностях, когда описываем эпистемологический порог, изгиб демографической кривой или замену одной технологии другой. Это общее понятие прерывности достаточно парадоксально, поскольку одновременно является и инструментом и объектом исследования; оно разграничивает поле, следствием которого само и является; оно позволяет индивидуализировать области, однако обнаружить его можно только путем их сравнения. И может быть, в конечном счете оно парадоксально не потому, что является просто понятием, присутствующим в дискурсе историка, а потому что этот дискурс тайно его предполагает: действительно, откуда еще могли бы они возникнуть, если не из того разрыва, который предлагает им историю в качестве объекта, в том числе и их собственную историю? Одной их самых существенных черт новой истории, вероятно, и является перемещение прерывистого: его переход от препятствия к практике; его интеграция в дискурс историка, где оно не играет уже роли внешней неизбежности, которую необходимо свести к минимуму, а становится нашим оперативным понятием. В силу всего этого и происходит изменение знака на противоположный, благодаря чему прерывность уже не является отрицанием исторического прочтения (его изнанкой, крахом, ограничением его власти), а становится позитивным элементом, определяющим его объект и утверждающим его анализ.

Следствие третье: тема и сама возможность *глобальной истории* начинают исчезать, и мы видим, как появляется совсем другой рисунок того, что можно

было бы назвать *всеобщей историей*. Замысел глобальной истории — это замысел, стремящийся к восстановлению совокупной формы цивилизации; к восстановлению основы — материальной или духовной — общества; к восстановлению значения, общего для всех феноменов определенного периода; к восстановлению закона, объясняющего их связность, — к восстановлению всего того, что метафорически мы называем «лицом» эпохи. Такой замысел связан с двумя или тремя гипотезами: мы предполагаем, что должна существовать возможность установления системы однородных отношений между всеми событиями определенного пространственно-временного сегмента, между всеми феноменами, след которых мы обнаружили, — то есть мы предполагаем возможность существования сети причинно-следственных связей, позволяющей вывести каждое из этих отношений, а также существование связей по аналогии, показывающих, как эти отношения символизируют друг друга или как все они вместе воплощают одно и то же центральное ядро. С другой стороны, мы предполагаем, что одна и та же форма историчности включает в себя экономические структуры, социальную стабильность, инерцию ментальности, технические навыки, типы политического поведения и подчиняет их всех одному и тому же типу преобразования. И наконец, мы предполагаем, что сама история может быть сочленена в крупные единства — в стадии или в фазы, — несущие в себе свой собственный принцип связности. Как раз эти постулаты и обсуждает новая история, когда говорит о проблемах рядов, вырезов, границ, о проблемах разности уровней, сдвигах, хронологических особенностях, особых формах остаточности и возможных ти-

пах отношений. Но это отнюдь не означает, что такая новая история стремится получить множество историй, расположенных бок о бок и независимых друг от друга: историю экономики рядом с историей социальных институтов, и рядом с ними еще и истории наук, религий или литературы; не означает это также и того, что она лишь стремится указать на совпадения дат или аналогии формы и смысла между этими различными историями. Возникающая тогда проблема — проблема, определяющая задачу всеобщей истории, — заключается в том, чтобы определить, какая форма отношения может быть правомерно установлена между этими различными рядами; какую вертикальную систему они способны образовать; каковы возникающие между ними отношения корреляции и доминирования; в результате чего могут происходить смещения, появляться различные формы темпоральности и остаточности; в каких разных совокупностях могут быть одновременно представлены определенные элементы; короче говоря, не только какие ряды, но и какие «ряды рядов», или, иными словами, какие «таблицы»[3] можно образовать. Глобальное описание стягивает все феномены вокруг единого центра — прин-

[3] Надо ли сообщать самым недогадливым, что «таблица» (и, вероятно, во всех значениях этого термина) — формально является «рядом рядов»? Во всяком случае, это конечно не та неподвижная маленькая картинка, которую помещают перед волшебным фонарем к великому разочарованию детей, предпочитающих, разумеется, в своем возрасте живость кинематографа. [Во французском языке слово *tableau* имеет значение «таблица» и «картина»; отсюда в сноске возникает образ картины наряду с понятием таблицы. — *Прим. перев.*]

ципа, значения, духа, видения мира, формы совокупности; тогда как всеобщая история, скорее, наоборот, разворачивает пространство рассеивания.

И наконец, последнее следствие: новая история сталкивается с определенным числом методологических проблем, очень многие из которых — и в этом нет никакого сомнения — существовали и прежде, но теперь ее характеризует целый пучок таких проблем. Среди них можно назвать: создание связных и однородных *корпусов* документов (корпусов открытых или закрытых, конечных или бесконечных), установление принципа отбора (в зависимости от того, хотим ли мы исчерпывающим образом рассмотреть документальный массив, осуществляем ли отбор образцов методами статистической выборки или пытаемся заранее определить наиболее репрезентативные элементы); определение уровня анализа и соответствующих ему элементов (в изученном материале мы можем обнаружить числовые указания, ссылки — эксплицитные или имплицитные — на события, социальные институты, практики; использованные слова с правилами их употребления и семантические поля, которые они образуют, а также формальную структуру суждений и типы цепочек, которые их объединяют). Можно также назвать: спецификацию метода анализа (количественная обработка данных, их разложение в соответствии с некоторым числом определенных характерных черт, корреляции которых мы изучаем; интерпретативная расшифровка; частотный и дистрибутивный анализ); установку границ между совокупностями и под-совокупностями, сочленяющими изученный материал (регионы, периоды, однотипные процессы); и, наконец, определение отношений, позволяющих охарактеризовать некоторую совокуп-

4 Зак. 3653

ность (речь может идти о числовых или логических отношениях; об отношениях функциональных, причинно-следственных, аналогических; речь может также идти об отношениях означающего и означаемого).

Отныне все эти проблемы входят в методологическое поле истории. В поле, заслуживающее внимания по двум причинам. Прежде всего потому, что мы видим, насколько оно освободилось от того, что еще недавно представляло собой философию истории, и от тех вопросов, которые она ставила (о рациональности или телеологии становления, об относительности исторического знания, о возможности обнаружения или конституирования смысла в инертности прошлого и незавершенной целостности настоящего). Вторая причина состоит в том, что в некоторых своих точках это поле по-новому ставит проблемы, обнаруженные нами в других областях, например, в области лингвистики, этнологии, экономики, литературного анализа, мифологии. Если угодно, эти проблемы мы вполне можем обозначить словом структурализм. Но со многими оговорками: они вовсе не покрывают собой все методологическое поле истории, а занимают лишь его часть, значимость которой меняется в зависимости от областей и уровней анализа; за исключением относительно ограниченного числа случаев они не были (как это часто теперь бывает) заимствованы из лингвистики или этнологии, а зародились в поле самой истории — преимущественно в поле экономической истории и в связи с поставленными ею вопросами; наконец, они никоим образом не позволяют говорить о структурализации истории или хотя бы о попытке преодолеть «конфликт» или «оппозицию» между структурой и становлением: уже давно историки выделяют,

описывают и анализируют структуры, нисколько не задумываясь, не упускают ли они при этом живую, хрупкую, трепещущую «историю». Оппозиция структура–становление не имеет отношения ни к определению исторического поля, ни, вероятно, к определению структурного метода.

Эта эпистемологическая мутация истории не завершена еще и по сей день. Началась она, однако, не вчера, поскольку ее начало можно, вероятно, возвести к Марксу. Но прошло достаточно много времени, прежде чем проявились ее результаты. Даже сейчас, особенно в отношении истории мысли, эта мутация не была ни отмечена, ни осмыслена, тогда как все это уже было проделано с другими, более недавними преобразованиями — например преобразованиями в лингвистике. Словно было особенно трудно сформулировать общую теорию прерывности, рядов, границ, единств, специфических порядков, дифференцированных автономий и зависимостей в той истории, которую люди рассказывают через свои собственные воззрения и познания. Словно там, где мы привыкли искать истоки, бесконечно восходить по линии предшествований, восстанавливать традиции, следовать за кривыми развития, проецировать телеологии и бесконечно прибегать к метафорам жизни, мы испытывали странное отвращение судить о различии, описывать отклонения и рассеивания, рассекать внушающую доверие форму тождественного. Или, говоря точнее, словно из этих понятий порогов, мутаций, независимых систем, ограниченных рядов — таких, какие действительно используют историки, — нам было трудно создать теорию, сделать

общие заключения и вывести все возможные импликации. Словно мы страшились вообразить *Другое* во времени нашей собственной мысли.

И на то есть причина. Если бы история мысли могла оставаться местом нерушимых непрерывностей, если бы она постоянно создавала цепочки, которые без помощи абстракции не мог бы нарушить никакой анализ, если бы вокруг того, что говорят и делают люди, она сплетала неясные синтезы, предвосхищающие, подготавливающие и постоянно ведущие анализ к его будущему, она была бы идеальным убежищем для суверенитета сознания. Непрерывная история — это необходимый коррелят основополагающей деятельности субъекта: гарантия того, что все ускользнувшее от него может быть вновь ему возвращено; уверенность в том, что все, что рассеивает время, будет восстановлено во вновь соединенном единстве; залог того, что однажды субъект сможет завладеть в форме исторического сознания всем тем, что в силу своего отличия удерживалось на расстоянии, восстановить над ним свое господство и найти там то, что вполне может быть названо его местопребыванием. Сделать из исторического анализа дискурс о непрерывном, а из человеческого сознания сделать первичного субъекта всякого становления и всякой практики — таковы две грани одной и той же системы мышления. Время в ней понимается в терминах обобщения, а революции для нее — просто моменты осознания.

Начиная с XIX века, эта тема в различных проявлениях играла одну и ту же постоянную роль: спасти суверенитет субъекта и схожие фигуры антропологии и гуманизма, несмотря на всевозможные формы смещения интереса. К концу XIX века, несмотря на сме-

I

щение, вызванное историческим анализом производственных отношений, экономических законов и классовой борьбы Маркса, эта тема дала толчок для исследований в области создания глобальной истории, где все различия, наблюдаемые в обществе, могли бы быть приведены к единой форме, к созданию определенного видения мира, к установлению определенной системы ценностей, к определенному когерентному типу цивилизации. Смещению интереса, вызванному ницшеанской генеалогией, эта тема противопоставила поиск изначального основания, который превратил бы рациональность в *telos*[1] человечества и связал бы всю историю мысли со спасением этой рациональности, с поддержанием этой телеологии и с неизбежным возвращением к этому основанию. Наконец, уже совсем недавно, когда исследования в области психоанализа, лингвистики и этнологии сместили центральное место субъекта относительно законов его желания, форм речи, правил поведения или набора мифических либо сказочных повествований, когда стало ясно, что человек, поставленный перед вопросом, каков же он на самом деле, оказался не в состоянии осознать, что такое его собственные сексуальность и бессознательное, упорядоченные формы его языка или закономерности его вымыслов, тогда вновь была поднята тема непрерывности истории — той истории, которая была бы не членением, а становлением; которая была бы не набором отношений (jeu de relations), а характеризовалась бы своим внутренним динамизмом; которая была бы не системой, а тяжким трудом свободы; не формой, а постоянным усилием сознания, которое овладевает само

[1] Telos — цель, конец (*греч.*). — *Прим. ред.*

собой и пытается постичь себя до самых глубин своего состояния — одним словом, той историей, которая сочетала бы одновременно и долгое непрерывное терпение и живость движения, преодолевающего в конечном счете любые границы. Чтобы придать ценность этой теме, противопоставляющей живое начало истории «неподвижности» структур, их «закрытой» системе, их необходимой «синхронии», нужно, вероятно, отказаться в самом историческом анализе от использования прерывности, от определения уровней и границ, от описания специфических рядов, от выявления всевозможных различий. Следовательно, мы вынуждены антропологизировать Маркса, сделать из него историка общностей и найти у него тему гуманизма; следовательно, мы вынуждены интерпретировать Ницше в терминах трансцендентальной философии и низвести его генеалогию в плоскость поиска первоначала; наконец, мы вынуждены оставить в стороне, словно оно никогда и не возникало, все то поле методологических проблем, которое предлагает сегодня новая история. Потому что если бы оказалось, что вопрос прерывностей, систем и преобразований, рядов и порогов возникает во всех исторических дисциплинах (как в тех, что касаются воззрений и наук, так и в тех, что касаются экономики и обществ), то как же тогда было бы возможно противопоставлять, хотя бы с намеком на правомерность такого действия, «становление» — «системе», движение — круговому обращению или, как иногда весьма необдуманно и легкомысленно говорится, «историю» — «структуре»?

Одна и та же сохраняющая функция действует в теме культурных общностей (из-за которой критиковали, а затем и извратили Маркса), в теме ис-

следования первоначального (которую противопоставляли Ницше до тех пор, пока не соизволили его перенести в эту тему) и в теме живой, непрерывной и открытой истории. Об убийстве истории будут кричать всякий раз, когда в историческом анализе — особенно если речь идет о мышлении, воззрениях или познаниях — слишком явно будут использованы прерывности и различия, понятия порога, разрыва и преобразований, описание рядов и границ. В этом увидят покушение на незыблемые права истории и на основание любой возможной историчности. Но не надо заблуждаться: столь горестно оплакивают вовсе не исчезновение истории, а устранение той формы истории, которая тайно, но полностью, приписывалась синтетической деятельности субъекта; оплакивают становление, которое должно было предоставить суверенитету сознания более надежное, менее уязвимое убежище, чем мифы, системы родства, языки, сексуальность или желание; оплакивают невозможность — посредством определенного проекта, работы сознания или тенденции к обобщению — оживить весь набор материальных детерминаций, правил практики, неосознаваемых систем, строгих, но неотрефлексированных отношений, корреляций, ускользающих от всякого жизненного опыта; оплакивают то идеологическое использование истории, с помощью которого пытаются вернуть человеку все то, что на протяжении более ста лет постоянно от него ускользало. Все прежние сокровища нагромоздили в старой цитадели этой истории; ее считали прочной, из нее сделали святыню, ее превратили в последнее прибежище антропологической мысли; считали возможным уловить в ее сети даже тех, кто ожесточен-

но нападал на нее, и сделать из них ее бдительных стражей. Но историки давно покинули эту старую крепость и отправились работать в иные края; оказалось даже, что и Маркс и Ницше не в состоянии сохранить то, что им доверили. На них уже не следует рассчитывать ни в деле сохранения привилегий, ни в том, чтобы лишний раз подтвердить, — но Бог знает, нужно ли нам это при нынешней растерянности, — что история, хотя бы только история, живет и продолжается и что для субъекта, о котором мы говорим, она является местом отдохновения, уверенности, примирения, словом — местом умиротворенного сна.

В этой точке определяется начинание, замысел которого весьма несовершенно зафиксировали «История безумия», «Рождение клиники» и «Слова и вещи». Начинание, при помощи которого мы пытаемся измерить все мутации, происходящие обычно в области истории; начинание, где пересматриваются методы, границы, темы, относящиеся к истории идей; начинание, при помощи которого мы пытаемся избавиться от последних антропологических зависимостей в этой истории; начинание, которое хочет вместо этого показать, каким образом могли сформироваться эти зависимости. Эти задачи были намечены несколько беспорядочно и таким образом, что их общая конфигурация не была ясно определена. Пришло время придать им связность или по крайней мере постараться сделать это. Результатом этих усилий и является данная книга.

Прежде чем начать и чтобы избежать любых недоразумений, сделаем несколько предварительных замечаний.

— Речь идет не о том, чтобы перенести структуралистский метод, оправдавший себя в других сферах анализа, в область истории и, в особенности, истории познаний. Речь идет о том, чтобы показать первопричины и следствия коренного преобразования, происходящего сейчас в области исторического знания. Вполне возможно, что это преобразование, проблемы, которые оно ставит, инструменты, которые оно использует, понятия, которые в нем определяются, и результаты, которых оно достигает, в какой-то мере не чужды тому, что называют структурным анализом. Но здесь имеет место не этот анализ;

— речь идет не о том, чтобы использовать (менее всего о том, чтобы использовать) категории культурных общностей (будь то различные ви́дения мира, идеальные типы, своеобразный (singulier) дух различных эпох) или навязать истории, вопреки ей самой, формы структурного анализа. Описанные ряды, зафиксированные границы, установленные сравнения и корреляции не опираются на прежние философии истории, а имеют своей целью поставить под вопрос телеологии и обобщения;

— там, где речь идет об определении того метода исторического анализа, который был бы освобожден от антропологической темы, мы видим, что возникающая теперь теория оказывается в двойственном положении по отношению к уже выполненным исследованиям. Она пытается определить в общих терминах (хотя и не без многочисленных уточнений и продолжительной разработки) те инструменты, которые использовались в этих исследованиях или создавались по мере необходимости. Но, с другой стороны, эта теория сама находит поддержку в уже достигнутых результатах, чтобы определить

метод анализа, который был бы свободен от всякого антропологизма. Основа, на которой она покоится, это основа, которую она же и открыла. Исследования безумия и появления психологии, исследования болезни и рождения клинической медицины, исследования биологии, языка, экономики были попытками, частично предпринятыми вслепую; но постепенно они прояснялись, и не только потому, что понемногу уточняли свой метод, но и потому, что в этом споре о гуманизме и антропологии они определяли место своей исторической возможности.

Одним словом, эта работа, так же как и предшествовавшие ей, не вписывается, — по крайней мере непосредственно или при первом приближении — в спор о структуре (которая противопоставляется генезису, истории, становлению); она вписывается в то поле, где проявляются, пересекаются, переплетаются и уточняются вопросы человеческого бытия, сознания, первоначала и субъекта. Но, вероятно, не было бы ошибкой сказать, что и здесь также возникает проблема структуры.

Эта работа не является повторением и точным описанием того, что можно прочитать в книгах «История безумия», «Рождение клиники» или «Слова и вещи». Она во многом отлична от них. В ней содержится также немало исправлений и внутренней критики. Вообще говоря, «История безумия» уделяла слишком большое, к тому же весьма труднообъяснимое внимание тому, что было там обозначено как «опыт», показывая тем самым, насколько мы оставались близки к признанию анонимного и всеобщего субъекта истории; в «Рождении клиники» многократное обращение к структурному анализу несло в себе опасность ловко избежать специфичность по-

ставленной проблемы и уровня, свойственного архе- I
ологии; наконец, в «Словах и вещах» отсутствие методологических установок могло заставить поверить в анализ в терминах культурной общности. Хотя эти опасности меня и огорчают, я не смог их избежать; но я утешаю себя, говоря, что они были вписаны в само это начинание, так как для того чтобы обрести свои собственные измерения, оно само должно было освободиться от всех этих различных методов и этих различных форм истории. Впрочем, если бы передо мной не встали эти вопросы[5], не возникли бы трудности и возражения, я, вероятно, не смог бы увидеть, с какой отчетливостью вырисовывается то начинание, с которым отныне, вольно или невольно, я связан. Отсюда — осторожный, неровный стиль этого текста: каждое мгновение он отстраняется, повсюду устанавливает свои нормы, ощупью продвигается к своим границам, натыкается на то, о чем он не желает говорить, прокладывает дорогу, чтобы определить свой собственный путь. Он поминутно разоблачает возможную путаницу. Он отказывается от своей самотождественности, заранее говоря: я и не то, и не это. По большей части это не критика; и это, безусловно, не способ сказать, что все кругом заблуждались. Это стремление определить некое особое местоположение через внешний характер того, что его окружает; это не желание принудить других к молчанию, утверждая, что их замечания никчемны, а, ско-

[5] В частности, первые страницы этого текста представляют собой в немного измененной форме ответы на вопросы, сформулированные Эпистемологическим кружком E. N. S. (см.: Cahiers pour l'analyse. № 9). С другой стороны, набросок некоторых направлений был представлен в ответе читателям «Esprit» (апрель 1968 г.).

рее, попытка определить то чистое пространство, откуда я говорю и которое медленно обретает форму в дискурсе, который я все еще ощущаю столь преждевременным, столь ненадежным.

— Вы не уверены в том, что говорите? Вы снова собираетесь измениться, уйти от вопросов, которые вам задают, сказать, что в действительности возражения направлены не на то место, откуда вы вещаете? Вы вновь собираетесь сказать, что никогда не были тем, кем вас называют? Вы уже готовите лазейку, которая позволит вам в будущей книге вновь появиться в ином месте и вновь вызывающе вести себя, как вы это делаете сейчас, говоря: «Нет, нет, я совсем не там, где вы меня подстерегаете, а здесь, откуда, посмеиваясь, смотрю на вас».

— Так что же, вы воображаете, что от процесса письма я должен получать столько же огорчений, сколько и радостей, вы думаете, что я, очертя голову, упорствовал бы в этом, если бы — слегка дрожащей рукой — я не приготовил лабиринта, куда отважно войду, куда перенесу свою тему, где открою перед ней подземелья, спрячу ее вдалеке от нее самой, найду для нее те обходные пути, которые сократят и изменят ее путь, где я затеряюсь и, в конце концов, появлюсь перед взорами тех, с кем не должен был бы больше встречаться. Вероятно, многие, так же как и я, пишут, чтобы больше не иметь своего лица. Не спрашивайте меня, кто я, и не требуйте, чтобы я оставался одним и тем же, — это мораль удостоверения личности, это она проверяет наши документы. Но пусть она предоставит нам свободу, когда речь идет о том, чтобы писать.

# II
# Дискурсивные закономерности

## I. *Единства дискурса*

Использование понятий прерывности, развыва, порога, границы, ряда, преобразования ставит перед любым историческим анализом не только вопросы процедуры, но и теоретические проблемы. Именно эти проблемы и будут здесь изучены (вопросы же процедуры будут рассмотрены в последующих эмпирических исследованиях, если только у меня будет повод и хватит смелости и желания их предпринять). К тому же рассмотрены они будут в особом поле тех дисциплин, столь неопределенных в своих границах и столь расплывчатых в своем содержании, которые называют историей идей, или историей мысли, наук, или познаний.

Сначала нам предстоит выполнить негативную работу: освободиться от целого набора общих понятий, каждое из которых по-своему вносит разнообразие в тему непрерывности. Эти понятия, по-видимому, не имеют строгой понятийной структуры, но их функция четко определена. Таково, в частности, понятие традиции: его цель — придать особый (singulier) временной статус совокупности феноменов, которые являются одновременно последовательными и тождественными (или, по крайней мере, аналогичными); оно дает возможность переосмыслить

рассеивание истории в форме того же самого; оно позволяет устранить различие, свойственное любому начинанию, чтобы непрерывно находиться в поисках бесконечного определения истока; благодаря этому понятию мы можем выделить новшества на фоне неизменности и приписать их оригинальности, гению, собственному решению индивидов. Таково же и понятие влияния, которое обеспечивает опору — слишком магическую, чтобы быть четко проанализированной, — фактам коммуникации и передачи; которое относит феномены сходства или повторения к процессу, носящему причинно-следственный характер (правда, без строгого разграничения и без теоретического определения); которое связывает во времени и пространстве — словно при помощи некой среды распространения — единства, определяемые как индивиды, произведения, понятия или теории. Таковы понятия развития и эволюции: они позволяют перегруппировать последовательность рассеянных событий, соотнести их с одним и тем же организующим принципом, подчинить их назидательному воздействию жизни (с ее адаптативными процессами, способностью к инновациям, непрекращающейся корреляцией ее различных элементов, системами ассимиляции и обменов), обнаружить в каждом начале уже действующий принцип связности и набросок будущего единства, обуздать время вечно обратимым, всегда действующим отношением между никогда не данными истоком и окончанием. Таковы и общие понятия «ментальности» или «духа», которые позволяют установить между одновременными или последовательными феноменами определенной эпохи смысловую общность (totalité), символические свя-

зи, подобия и отражения и которые порождают суверенитет коллективного сознания как объединяющий и объясняющий принцип. Необходимо пересмотреть все эти готовые синтезы, эти объединения элементов, которые мы обычно допускаем без какой-либо проверки, эти связи, обоснованность которых признается с самого начала; необходимо изжить эти неясные формы и силы, при помощи которых мы привыкли связывать между собой дискурсы людей; необходимо изгнать их из того мрачного царства, где они властвуют. И вместо того чтобы по-прежнему допускать их произвольное использование, заботясь о методе, лучше согласиться, хотя бы при первом приближении, иметь дело только с популяцией рассеянных событий.

Необходимо побеспокоиться также и о тех вырезах и объединениях элементов, с которыми мы так свыклись. Можно ли допустить в том виде, в каком они сейчас существуют, различия между крупными типами дискурса, формами или жанрами, противопоставляющие друг другу науку, литературу, философию, религию, историю, вымысел и т. д., создающие из них нечто вроде крупных исторических индивидуальностей? Мы сами не уверены в использовании этих различий даже в мире нашего собственного дискурса. Тем более мы не можем быть уверены, когда речь идет об анализе совокупностей высказываний, совсем по-иному распределявшихся, складывавшихся и характеризовавшихся в эпоху своего формирования: не нужно забывать, что и «литература» и «политика» — совсем недавние категории, которые к культуре Средневековья и даже к культуре эпохи классицизма можно применять лишь посредством ретроспективной гипотезы

и формальной аналогии, или через семантические подобия; однако в XVII–XVIII веках ни литература, ни политика, так же как философия и науки, не сочленяли поле дискурса так, как они стали это делать в XIX веке. Во всяком случае, эти вырезы — идет ли речь о тех, которые мы допускаем сегодня, или о тех, которые современны изучаемым дискурсам, — сами по себе всегда являются рефлексивными категориями, принципами классификации, нормативными правилами, институционализированными типами: в свою очередь, они сами являются фактами дискурса, заслуживающими анализа наряду с другими фактами; безусловно, они находятся с ними в сложных отношениях, но тем не менее не являются для них внутренне присущими, автохтонными и повсюду узнаваемыми признаками.

Однако те единства, которые необходимо вывести из употребления, как раз и являются единствами, навязывающими себя самым непосредственным образом: таковы единства книги и творчества автора. Не кажется ли на первый взгляд, что их нельзя устранить, не прибегая к искусственным мерам? Разве они не даны нам самым достоверным образом? Такова материальная индивидуализация книги, которая занимает определенное пространство, имеет экономическую ценность и сама отмечает границы своего начала и конца определенным числом знаков; таково установление творчества автора, которое мы признаем и границы которого устанавливаем, приписывая одному автору определенное число текстов. Однако едва мы присмотримся к ним повнимательнее, как начинаются трудности. Материальное единство книги? Разве оно одинаково, когда речь идет об антологии стихов, о сборнике по-

смертных отрывков, «Трактате о конических сечениях»[1] или томе «Истории Франции» Мишле[2]? Разве оно одинаково, когда речь идет о «Броске костей» Малларме[3], о процессе Жиля де Ре[4], о «Сан Марко» Бютора[5] или о католическом молитвеннике? Иными словами, не является ли материальное единство книжного тома слабым и вспомогательным в сравнении с тем дискурсивным единством, для которого оно служит опорой? Но, в свою очередь, является ли это дискурсивное единство однородным и единообразно применимым? Роман Стендаля или Достоевского индивидуализируется иначе, чем романы «Человеческой комедии»[6], которые, в свою очередь, отличаются друг от друга иным образом, чем «Улисс»[7] от «Одиссеи». Дело в том, что

[1] Во французском тексте — *Traité des coniques*. Однозначно установить автора упоминаемого Фуко текста не представляется возможным, поскольку авторство этой работы может быть приписано трем исторческим фигурам — Аполлонию Пергскому, Паскалю или Дезаргу. — *Прим. перев.*

[2] *Мишле Жюль* (1798–1877) — французский историк. Его шеститомная «История Франции» выходила с 1833 по 1844 год. — *Прим. ред.*

[3] Речь идет о произведении французского поэта-символиста Стефана Малларме (1842–1898). Впервые опубликовано в журнале «Космополис» в мае 1897 года. — *Прим. ред.*

[4] *Ре Жиль де* (1404–1440) — французский аристократ, маршал Франции, ставший прототипом главного героя сказки «Синяя Борода». — *Прим. ред.*

[5] *Бютор Мишель* (р. 1926) — французский прозаик, теоретик школы «нового романа». — *Прим. ред.*

[6] Речь идет о цикле романов Оноре де Бальзака (1799–1851) «Человеческая комедия». — *Прим. ред.*

[7] Имеется в виду роман ирландского писателя Джеймса Джойса (1882–1941) «Улисс» (1922). — *Прим. ред.*

5 Зак. 3653

пространство книги никогда не бывает четко определенным или строго обозначенным: помимо названия, первых строк и финальной точки, помимо своей внутренней конфигурации и формы, придающей ей автономность, книга включена в систему отсылок на другие книги, другие тексты, другие предложения: книга — это узелок в сети. И эта система отсылок не всегда является равнозначной, а зависит от того, имеем ли мы дело с математическим трактатом, комментарием к текстам, историческим повествованием или частью романного цикла; в любом случае единство книги, даже понимаемое как пучок отношений, не может рассматриваться как самотождественное. Напрасно книга предстает как объект, находящийся у нас под рукой, напрасно она сжимается в маленький, скрывающий ее параллелепипед: ее единство изменчиво и относительно. Стоит задать вопрос об этом единстве, и оно утрачивает свою очевидность; оно указывает на само себя и создает себя только исходя из сложного поля дискурса.

Что же касается творчества автора, то создаваемые им проблемы еще более сложны. Казалось бы, что может быть проще на первый взгляд? Сумма текстов, которые можно обозначить через имя собственное. Однако такое обозначение (даже если оставить в стороне проблемы атрибуции) выполняет различные функции: одинаковым ли образом имя автора обозначает текст, который он сам опубликовал под своим именем, текст, который он выпустил в свет под псевдонимом, текст, который был обнаружен в виде черновика сразу после его смерти, и, наконец, текст, который является всего лишь какими-то каракулями, записной книжкой, просто

«бумагами»? Составление полного собрания сочинений или *opus*'а предполагает известное число решений, оправдать или хотя бы сформулировать которые весьма непросто: достаточно ли к текстам, опубликованным самим автором, добавить те, которые он собирался отдать в печать и которые остались незаконченными только из-за его смерти? Надо ли также включать все то, что является лишь черновиками, первыми набросками, исправлениями и различными редакциями книг? Надо ли добавлять отвергнутые им замыслы? И какой придать статус письмам, заметкам, записанным разговорам, высказываниям, зафиксированным слушателями, короче, тому необъятному количеству вербальных следов, которые к моменту своей смерти индивид оставляет вокруг себя и которые в своем бесконечном пересечении говорят на столь различных языках? Во всяком случае, имя «Малларме» по-разному связано с его школьными переводами на английский, его переводами из Эдгара По, его собственными стихотворениями или ответами в анкетах; точно так же существуют различные связи между именем Ницше, с одной стороны, и его юношескими автобиографиями, школьными сочинениями, филологическими статьями, «Заратустрой», «Ecce Homo», письмами, последними открытками, подписанными «Dionysos» или «Kaiser Nietzsche», бесчисленными записными книжками, где счета из прачечной перепутались с набросками афоризмов. Действительно, если мы столь охотно, и не задавая себе лишних вопросов, говорим о «творчестве» автора, то причина этого состоит в том, что мы полагаем его определенным через некую функцию выражения. Мы предполагаем, что должен существовать уровень (настолько

глубокий, насколько это необходимо), на котором творчество — во всех своих, даже самых маленьких и незначительных фрагментах — обнаруживается как выражение мысли, опыта, воображения или бессознательного автора, или тех исторических детерминаций, в которые он был включен. Но сразу становиться очевидным, что подобное единство, не будучи данным непосредственно, образовано некой операцией, и что эта операция носит интерпретативный характер (поскольку в тексте она расшифровывает перезапись (transcription) чего-то, что этот текст одновременно и скрывает, и представляет); наконец, что эта операция, обусловливающая *opus* в его единстве и как следствие само творчество автора, будет различна в том случае, когда речь идет об авторе книги «Театр и его двойник»[8] или об авторе «Tractatus'a»[9] и, стало быть, в этих двух случаях мы говорим о «творчестве» в различных смыслах. Творчество автора не может рассматриваться ни как непосредственно данное, ни как достоверное, ни как однородное единство.

И наконец, последняя предосторожность, чтобы устранить те неотрефлексированные непрерывности, с помощью которых мы заранее организуем анализируемый дискурс: необходимо отказаться от двух связанных и противостоящих друг другу тем. Первая предполагает абсолютную невозможность

[8] «Театр и его двойник» (1938) — текст Антонена Арто (1896–1948) — французского актера, режиссера, драматурга, философа и публициста художника. — *Прим. ред.*

[9] Tractatus — имеется в виду «Логико-философский трактат» («Tractatus logico-philosophicus»), написанный в 1921 году Л. Витгенштейном (1889–1951), известным австрийским логиком и философом. — *Прим. ред.*

определить вторжение подлинного события в строй дискурса, за всяким видимым началом она предполагает обязательное существование некоего тайного истока — столь тайного и столь изначального, что мы совершенно не в состоянии уловить его как таковой; поэтому через наивность хронологий мы неизбежно будем двигаться к бесконечно удаленной точке, никогда не присутствующей ни в какой истории и являющейся лишь своей собственной пустотой; исходя из которой все начала могли бы быть лишь возобновлением или сокрытием (а по правде говоря, тем *и* другим одновременно). К этой теме примыкает вторая, согласно которой всякий очевидный, как представляется, дискурс тайно покоится на уже-сказанном; и это уже-сказанное является, может быть, не просто уже произнесенным предложением, уже написанным текстом, но «когда-то произнесенным», бесплотным дискурсом, голосом тихим, как дыхание, фактом письма, представляющим собой всего лишь пустоту собственного следа. Таким образом, мы предполагаем, что все то, что дискурс может сформулировать, оказывается уже произнесенным в том предшествующим полу-безмолвии, которое упорно под ним сохраняется, но которое он перекрывает и заставляет умолкнуть. В конечном итоге очевидный дискурс превращается, возможно, всего лишь в подавленное присутствие того, чего он не говорит; и возникает чувство, что это не-сказанное становится пустотой, подрывающей изнутри все то, что говорится. Первый мотив обрекает исторический анализ дискурса быть поиском и повторением первоистока (origine), ускользающего от любого исторического определения; другой — интерпретацией или подслушиванием уже-сказанного, которое

одновременно было бы и не-сказанным. Нужно отказаться от всех этих тем, которые гарантируют бесконечную непрерывность дискурса и его тайное присутствие в себе самом в процессе постоянно продлеваемого отсутствия. Нужно быть готовым в любую минуту принять дискурс в его событийном вторжении, в той пунктуальности, с которой он появляется, и в том временном рассеивании, которое позволяет ему быть повторенным, познанным, забытым, преобразованным, стертым вплоть до своих малейших следов, погребенным в книжной пыли, вдалеке от всякого взгляда. Не надо отсылать дискурс к далекому присутствию его истока; его надо рассматривать в его собственной инстанции.

Итак, необходимо на время отказаться от этих предварительных форм непрерывности, ото всех этих синтезов, которые никак не проблематизируются и которые мы продолжаем считать совершенно правомерными. Разумеется, вовсе не нужно отказываться от них окончательно; но необходимо стряхнуть то безразличие, с которым мы их воспринимаем; необходимо показать, что они не возникают сами собой, что они всегда являются результатом некоего построения, о знании правил которого, о проверке их оправданности и идет сейчас речь; необходимо также определить, при каких условиях и для каких видов анализа какие из них являются правомерными; во всяком случае, необходимо указать те виды анализа, которые не могут быть приняты. Например, вполне могло бы оказаться, что понятия «влияние» или «эволюция» зависят от критики, которая выводит их из употребления на более или менее длительный срок. Но нужно ли навсегда отказываться от таких единств, как «творчество»,

«книга» или же «наука» и «литература»? Нужно ли считать их иллюзиями, незаконными построениями, результатами, достигнутыми нечестным путем? Надо ли отказаться от любого, даже временного их использования, так же как и от мысли когда-либо дать им определение? На самом деле речь идет о том, чтобы вырвать эти единства из их квазиочевидности и высвободить те проблемы, которые они ставят; речь идет о том, чтобы признать, что они не являются тем безмятежным местом, откуда мы можем задавать другие вопросы (об их структуре, связности, систематичности, преобразованиях), а что сами они представляют собой целый пучок вопросов (Что они такое? Как их определить или отграничить? Каким различным типам законов они могут подчиняться? Какому типу сочленения они поддаются? Какие под-совокупности они могут породить? Какие специфические феномены они выявляют в поле дискурса?). В итоге речь идет о признании того, что они оказываются совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд. Короче говоря, речь идет о признании того, что эти единства нуждаются в теории и что эта теория не может возникнуть раньше, чем появится в своей безыскусной чистоте поле фактов дискурса, на основании которого мы конструируем эти единства.

И в свою очередь, я сам не собираюсь делать ничего другого: разумеется, в качестве первоначального ориентира я возьму уже готовые единства (такие как психопатология, медицина или политическая экономия); но я не стану помещать себя внутри этих сомнительных единств, чтобы оттуда изучать их внутреннюю конфигурацию и тайные противоречия. Я только на время сделаю их точкой опоры,

чтобы понять, какие единства они формируют; на каком основании они могут претендовать на область, специфицирующую их в пространстве, и непрерывность, индвидуализирующую их во времени; по каким законам они формируются; на фоне каких дискурсивных событий они выделяются; и в конечном счете, не являются ли они — в своей принятой и квазиинстутитуциональной индивидуальности — лишь поверхностным результатом более прочных единств. Я приму предлагаемые мне историей совокупности только для того, чтобы тотчас же поставить их под сомнение; для того, чтобы распутать их и узнать, можем ли мы перестроить их на более законном основании; чтобы узнать, не надо ли заменить их другими совокупностями; чтобы переместить их в более общее пространство, которое, рассеивая их кажущуюся привычность, позволяет создать их теорию.

Действительно, как только все эти непосредственные формы непрерывности на время устранены, сразу же высвобождается целая область. Область безграничная, но которую все же можно определить: она образована совокупностью всех существующих высказываний (неважно, устных или письменных) в их событийном рассеивании и в инстанции, присущей каждому из них. Прежде чем мы убедимся, что имеем дело с наукой, или с романами, или с политическими дискурсами, или с творчеством отдельного автора или даже с книгой, мы должны будем рассмотреть в первичной нейтральности тот материал, который представляет собой популяцию событий в пространстве дискурса в целом. Таким образом, возникает замысел *описания дисукурсивных событий* как горизонта для исследования формирующихся в

нем единств. Это описание легко отличить от анализа языка. Разумеется, лингвистическую систему (если мы не строим ее искусственно) можно установить, только используя корпус высказываний или собрание фактов дискурса; но тогда, исходя из этой совокупности, которую можно рассматривать в качестве образца, предстоит определить правила, позволяющие строить при необходимости иные высказывания, отличные от уже существующих; язык, даже если он давно исчез, даже если на нем никто больше не говорит и мы воссоздали его на основе редких фрагментов, всегда образует систему для возможных высказываний: это конечная совокупность правил, которая допускает бесконечное число реализаций. Напротив, поле дискурсивных событий — это всегда конечная и на настоящий момент ограниченная совокупность одних только предварительно сформулированных, лингвистических эпизодов; конечно, их может быть бесконечно много и, конечно же, в своей массе они могут превосходить всякую возможность регистрации, памяти или прочтения, — и тем не менее они образуют конечную совокупность. Вот постоянный вопрос, который ставит анализ языка в связи с неким фактом дискурса: по каким правилам было образовано такое-то высказывание (énoncé) и, следовательно, по каким правилам могли бы быть образованы другие подобные высказывания? Совершенно другой вопрос ставит описание событий дискурса: как получается, что появляется именно такое высказывание, и никакое иное на его месте?

Мы также видим, что это описание дискурса противополагается истории мысли. И там тоже систему мышления можно восстановить только на осно-

вании определенной совокупности дискурса. Но эта совокупность рассматривается таким образом, что за самими высказываниями пытаются обнаружить намерение говорящего субъекта, его сознательную деятельность, то, что он хотел сказать или же бессознательный процесс, проявляющийся помимо его воли в том, что он сказал или в почти незаметном изломе произнесенных им слов; во всяком случае, в истории идей речь идет о том, чтобы восстановить другой дискурс, обнаружить тихую, шепчущую, неиссякаемую речь, которая одушевляет изнутри слышимый нами голос, восстановить мельчайший и невидимый текст, бегущий между строк и иногда приводящий их в полный беспорядок. Анализ мысли всегда *аллегоричен* по отношению к тому дискурсу, который он использует. Его вопрос неизмен: так что же говорилось в том, что было сказано? Анализ дискурсивного поля ориентирован совершенно иначе; речь идет о том, чтобы уловить высказывание в ограниченности и единичности (singularité) его события; определить условия его существования, как можно более точно зафиксировать его границы, установить его корреляции с другими высказываниями, которые могут быть с ним связаны, показать, какие другие формы акта высказывания оно исключает. Под очевидным дискурсом мы отнюдь не пытаемся расслышать едва слышный лепет другого дискурса; мы должны показать, почему он не может быть иным, чем он есть, в чем он несовместим с любым другим дискурсом и как среди других дискурсов и по отношению к ним он обретает то место, которое никакой другой дискурс не мог бы занять. Вопрос, присущий такому анализу, мы могли бы сформулировать следующим образом: како-

во то единичное существование, которое проявляет себя только в том, что говорится, и нигде больше?

Мы должны выяснить, для чего в конечном итоге нужен этот временный отказ от всех принятых единств, если в целом речь идет о том, чтобы вновь обнаружить те самые единства, в отношении которых мы делали вид, что задаем свои вопросы? Действительно, систематическое устранение всех данных единств позволяет сначала вернуть высказыванию его событийную единичность и показать, что прерывность является не только одной из тех великих случайностей, которые формируют сдвиги в геологии истории, но что она присутствует уже здесь, в простом факте высказывания; что мы выявляем высказывание в его внезапном историческом вторжении; что мы пытаемся привлечь внимание к тому надрезу, который он образует, к неустранимому — часто совсем незначительному — факту его возникновения. Высказывание — каким бы банальным оно ни было, каким бы малозначительным по своим следствиям оно нам ни представлялось, как бы быстро оно ни забывалось после своего появления, каким бы малопонятным или плохо расшифрованным мы его ни считали, — это всегда событие, которое ни язык, ни значение не могут полностью исчерпать. Событие поистине странное: прежде всего потому, что, с одной стороны, оно связано с актом письма или с произнесением слова, но, с другой стороны, оно открывает для самого себя остаточное существование в поле памяти или в материальности рукописей, книг и в любой другой форме регистрации; оно странно также и потому, что, являясь единственным в своем роде, как всякое событие, оно открыто для повторения, преобразования, для реактивации;

и наконец, потому, что оно связано не только с вызывающими его ситуациями и порождаемыми им следствиями, но в то же самое время и в совершенно иной модальности с высказываниями, которые ему предшествуют и которые за ним следуют.

Но если мы изолируем инстанцию события-высказывания от языка и мышления, то вовсе не для того, чтобы рассеять все это множество фактов. Это делается для того, чтобы быть уверенными, что мы не связываем ее с операторами синтеза, являющимися чисто психологическими (намерение автора, его умонастроение, строгость его мысли, преследующие его темы, тот основной замысел, который пронизывает его существование и придает ему значение), и для того, чтобы получить возможность выделить другие формы закономерности, другие типы связей. Чтобы выделить отношения между самими высказываниями (даже если они ускользают от сознания автора; даже если речь идет о высказываниях, принадлежащих различным авторам; и даже если их авторы ничего не знали друг о друге); чтобы выделить отношения между установленными таким образом группами высказываний (даже если эти группы не имеют отношения ни к одним и тем же, ни к соседним областям; даже если они имеют разный формальный уровень; даже если они не являются местом точно определимых обменов); чтобы выделить отношения между высказываниями или группами высказываний и событиями совсем иного порядка (технического, экономического, социального, политического). Показать во всей его чистоте то пространство, где разворачиваются дискурсивные события, — это не значит попытаться восстановить это пространство в его ничем непреодолимой разобщен-

ности, это не значит замкнуть его на себя самого; это значит — освободиться, чтобы описать отношения, существующие как в нем самом, так и вне его.

Третье преимущество подобного описания фактов дискурса: освобождая их от всех форм группирования элементов, выдающих себя за естественные, непосредственные и универсальные единства, мы получаем возможность описать иные единства, но на этот раз через совокупность уже освоенных форм принятия решений. В том случае, если бы мы ясно определили условия, появилась бы возможность исходя из корректно описанных отношений на законных основаниях конституировать дискурсивные совокупности, которые не были бы произвольными, но тем не менее оставались бы невидимыми. Разумеется, в рассматриваемых высказываниях эти отношения никогда не были бы сформулированы ради самих себя (в отличие, например, от тех эксплицитных отношений, которые установлены и высказаны самим дискурсом, когда он принимает форму романа или выстраивается в ряд математических теорем). Однако сами они никоим образом не представляли бы собой нечто вроде тайного дискурса, изнутри одушевляющего дискурсы очевидные; выявить их могла бы не интерпретация фактов высказывания, а только анализ их сосуществования, последовательности, взаимодействия, взаимной детерминации, их независимых или коррелятивных видоизменений.

Однако исключено, чтобы без ориентира мы смогли описать все связи, возникающие таким образом. В первом приближении необходимо допустить предварительный вырез: это и есть тот первоначальный участок, который анализ при необходимости

может полностью перевернуть и реорганизовать. Как же очертить этот участок? С одной стороны, нужно эмпирически выбрать какую-нибудь область, где отношения могут оказаться многочисленными, плотными и относительно легко описываемыми: а на каком другом участке дискурсивные события кажутся лучше связанными друг с другом и где их отношения лучше поддаются расшифровке как не на том, который мы обычно обозначаем термином «наука»? Но, с другой стороны, как же иначе получить наилучшую возможность уловить в высказывании не аспект его формальной структуры и законов его построения, а аспект его существования и правил его появления, если не через обращение к слабо формализованным группам дискурса, где, как представляется, высказывания возникают не обязательно по правилам одного только синтаксиса? Если с самого начала не предложить достаточно широкие области, достаточно пространные хронологические масштабы, то как мы можем быть уверенными в том, что нам удастся избежать таких вырезов, как творчество автора, или таких категорий, как категории влияния? Наконец, как мы можем быть уверены, что не попадемся на все эти плохо продуманные единства или синтезы, которые отсылают нас к говорящему индивиду, к субъекту дискурса, к автору текста, короче говоря, ко всем этим антропологическим категориям? Вероятно, не иначе, как рассматривая совокупность высказываний, посредством которым были конституированы эти категории, — совокупность высказываний, которые избрали своим «объектом» субъект дискурсов (свой собственный субъект) и которые попытались развернуть его как поле познаний?

Так объясняется та фактическая привилегия, которую я предоставил дискурсам, о которых очень схематично можно сказать, что они определяют «науки о человеке». Но это лишь начальная привилегия. Необходимо помнить о двух фактах: анализ дискурсивных событий ни в коем случае не ограничивается подобной областью; и, с другой стороны, вырез, производимый нами в самой этой области, не может рассматриваться ни как окончательный, ни как безоговорочно подходящий; речь идет о первом приближении, которое должно позволить выявить отношения, способные устранить границы этого первого наброска.

## II. *Дискурсивные формации*

Итак, я взялся описать отношения между высказываниями. Я позаботился о признании недействительными всех тех единств, которые могли быть мне предложены и которыми я пользовался по привычке. Я решил не оставлять без внимания ни одну из форм прерывности, купюры, порога или границы и решил описать высказывания в поле дискурса и отношения, которые они могут установить. И я вижу, как тотчас возникают два ряда проблем: первый — я на время отложу и вернусь к нему позднее — касается моего варварского использования терминов «высказывание», «событие», «дискурс»; второй — тех отношений, которые могут быть на законных основаниях описаны между высказываниями, оставленными нами в их предварительном и очевидном объединении.

Например, существуют высказывания, которые начиная с какого-то легко определимого момента времени предстают как связанные с политической экономией, биологией или психопатологией; но существуют и другие высказывания, которые предстают как принадлежащие к тысячелетним — почти что извечным — непрерывностям, называемым грамматикой или медициной. Но что представляют собой эти единства? Как можно говорить, что анализ болезней головы, выполненный Уиллисом, и клиническая школа Шарко[10] принадлежат к одному и тому же порядку дискурса? Что открытия Петти[11] находятся в неразрывной преемственности с эконометрией Неймана[12]? И что анализ суждения, выполненный грамматистами Пор-Рояля принадлежит к той же области, что и определение чередования гласных в индоевропейских языках? Итак, что же такое медицина *вообще*, грамматика *вообще*, политическая экономия *вообще*? Не являются ли они всего лишь ретроспективным перегруппировыванием, с помощью которого современные науки создают иллюзию своего собственного прошлого? Являются ли они раз и навсегда установленными, самостоятельно развивающимися во времени формами? Перекрывают ли они другие единства? И какого рода связи следует признать между всеми этими выска-

[10] *Шарко Жак Маритен* (1825–1893) — французский врач, один из основоположников невропатологии и психотерапии, создатель клинической школы. — *Прим. ред.*

[11] *Петти Уильям* (1623–1687) — английский экономист, родоначальник классической буржуазной политэкономии. — *Прим. ред.*

[12] *Нейман Карл Готфрид* (1832–1925) — немецкий математик. — *Прим. ред.*

зываниями, которые привычно и неизменно образуют некую загадочную массу?

Первая гипотеза сначала показалась мне наиболее правдоподобной и легче всего проверяемой: различные по форме, рассеянные во времени высказывания образуют совокупность, если относятся к одному и тому же объекту. Таким образом, может показаться, что все высказывания, относящиеся к психопатологии, соответствуют тому объекту, который по-разному вырисовывается в индивидуальном или социальном опыте и который можно обозначить как безумие. Однако я быстро заметил, что единство объекта, обозначенного как «безумие», не позволяет индивидуализировать совокупность высказываний и установить между ними отношение, одновременно и постоянное, и поддающееся описанию. И это происходит по двум причинам. Мы наверняка совершили бы ошибку, если бы самой сущности безумия, его потаенному содержанию, его безмолвной и замкнутой на себе истине стали бы задавать вопросы о том, что именно можно было о нем сказать в какой-то данный конкретный момент; душевное заболевание было конституировано совокупностью того, что было сказано о нем в группе всех тех высказываний, которые его называли, выделяли, описывали и объясняли, рассказывали о его развитии, указывали на его различные корреляции, оценивали его и иногда предоставляли ему слово, произнося от его имени будто бы ему принадлежащий дискурс. И даже более того: эта совокупность высказываний вовсе не относится к одному, раз и навсегда созданному объекту; она вовсе не сохраняет его до бесконечности как свой собственный горизонт неисчерпаемой идеальности. Объект, ко-

торый был установлен медицинскими высказываниями XVII или XVIII века как их коррелят, не тождествен объекту, вырисовывающемуся сквозь судебные приговоры или действия полиции; так же за время от Пинеля и Эскироля до Блейлера[13] были видоизменены все объекты психопатологического дискурса; в этих случаях речь идет о совершенно различных болезнях, совершенно различных типах безумия.

Из этого многообразия объектов мы могли бы, а может быть, и должны были бы, сделать заключение о невозможности принять «дискурс, касающийся безумия» в качестве единства, пригодного для образования совокупности высказываний. Возможно, здесь нужно было бы держаться только тех групп высказываний, которые имеют один и тот же объект: дискурс о меланхолии или неврозе. Но мы быстро убедились бы, что каждый из этих дискурсов в свою очередь конституировал свой объект и функционировал вместе с ним вплоть до его полного преобразования. Таким образом, проблема состоит в том, чтобы выяснить, что единство дискурса создается не тем пространством, где вырисовываются и видоизменяются различные объекты, а, скорее, неизменностью и единичностью самого объекта. Не является ли в таком случае то характерное отношение, которое позволило бы индивидуализировать совокупность высказываний о безумии, пра-

[13] *Пинель Филипп* (1745–1826) — французский врач, один из основоположников научной психиатрии. *Эскироль Жан Этьен Доминик* (1772–1840) — французский психиатр. *Блейлер Эйген* (1857–1939) — швейцарский психиатр и психолог, описал шизофрению как самостоятельное заболевание (1911). — *Прим. ред.*

вилом одновременного или последовательного возникновения различных объектов, которые в них названы, проанализированы, уточнены или оценены? По-видимому, единство дискурса о безумии не основывается на существовании объекта «безумие» или формировании единого горизонта объективности; вероятно, это набор правил, которые в определенный период времени делает возможным появление объектов, выделенных дискриминационными и репрессивными мерами; объектов, различающихся в повседневной практике, в юриспруденции, в религиозной нравственности, в диагнозах врачей; объектов, проявляющихся в патологических описаниях и очерченных медицинскими предписаниями, методами лечения, содержания и ухода. Кроме того, единство дискурсов о безумии является, по-видимому, набором правил, определяющих преобразование этих различных объектов, их нетождественность во времени, это разрывы, которые в них возникают, и внутренняя прерывность, которая разрушает их неизменность. Определить совокупность высказываний в ее индивидуальности парадоксальным образом означало бы описать рассеивание этих объектов, уловить все разделяющие их промежутки, измерить простирающиеся между ними дистанции — иными словами, сформулировать законы их перераспределения.

Вторая гипотеза, которая, казалось, позволит определить группу связей между высказываниями, касается их формы и типа соединения. Например, я считал, что, начиная с XIX века, медицинская наука в меньшей степени характеризовалась своими объектами или понятиями, чем определенным *стилем*, определенным постоянным характером высказыва-

ния. Впервые медицина была конституирована уже не совокупностью традиций, наблюдений, разнородных предписаний, а корпусом познаний, предусматривающим одинаковый взгляд на вещи, одинаковое членение перцептивного поля на участки, одинаковый анализ фактов патологии в соответствии с видимым пространством тела, одинаковую систему превращения того, что мы воспринимаем, в то, что мы говорим (одинаковый словарь, одинаковые метафоры); короче говоря, мне казалось, что медицина организовывалась как ряд дескриптивных высказываний. Но пришлось отказаться также и от этой предварительной гипотезы и признать, что клинический дискурс являлся совокупностью гипотез о жизни и смерти, этических выборов, терапевтических решений, институциональных положений, моделей обучения в той же степени, как и совокупностью описаний; что в любом случае дискурс не мог быть абстрагирован от всего этого и что дескриптивный акт высказывания был всего лишь одной из формулировок, представленных в медицинском дискурсе. Необходимо также признать, что это описание непрерывно сдвигалось: потому ли, что за время от Биша[14] до возникновения клеточной патологии сместились масштабы и ориентиры; потому ли, что на пути от внешнего осмотра, аускультации и пальпации к использованию микроскопа и биологических тестов была видоизменена система информации; потому ли, что на пути от простой анатомо-клинической корреляции до тонкого анализа физиопатологи-

[14] *Биша Мари Франсуа Ксавье* (1771–1853) — французский врач, один из основоположников патологической анатомии и гистологии. — *Прим. ред.*

ческих процессов был полностью заменен словарь симптомов и их расшифровка; потому ли, наконец, что сам врач мало-помалу перестал быть инстанцией регистрации и интерпретации информации и поскольку рядом с ним и помимо него образовались груды документов, возникли механизмы корреляции и техники анализа, которые он, конечно, использовал, но которые видоизменили его позицию наблюдающего субъекта по отношению к больному.

Эти изменения, которые сегодня, возможно, подводят нас к порогу новой медицины, медленно вносились в медицинский дискурс на протяжении всего XIX века. Если бы мы хотели определить этот дискурс через кодифицированную и нормативную систему актов высказывания, то были бы вынуждены признать, что эта медицина, едва появившись, сразу же и распалась, и что свое точное выражение она получила лишь у Биша и Лаэннека. Если существует единство, то, стало быть, его принципом не является детерминированная форма высказываний. Не будет ли, скорее, таким принципом совокупность правил, которые, одновременно или поочередно, позволили осуществить чисто перцептивные описания, так же как и наблюдения, сделанные при помощи различных инструментов, протоколы лабораторных опытов, статистические подсчеты, эпидемиологические или демографические констатации, институциональные постановления и терапевтические предписания? Скорее, нужно было бы охарактеризовать и индивидуализировать сосуществование этих рассеянных и разнородных высказываний; ту систему, которая управляет их распределением, ту опору, которую они находят друг в друге, тот способ, которым они предусматривают или исключают

друг друга, то преобразование, которое они претерпевают, а также процесс их смены, расположения и замещения.

Другое направление исследования, другая гипотеза: нельзя ли установить группы высказываний, определяя систему неизменных и связных понятий, которые оказываются в них использованы? Разве не строится, например, анализ языка и грамматических фактов в классической традиции (начиная с Лансло[15] и вплоть до конца XVIII века) на определенном числе понятий, содержание и употребление которых были установлены раз и навсегда: понятие *общего суждения,* определенного как полная и нормативная форма любого предложения, понятия *субъекта* и *атрибута*, объединенные под более общей категорией *имени*, понятие *глагола*, использованное как эквивалент понятия *логической связки*, понятие *слова*, определенное как знак какого-либо представления, и т. д.? Мы могли бы восстановить, таким образом, понятийное построение классической грамматики. Но и здесь также мы скоро достигли бы пределов: вероятно, при помощи этих элементов нам едва удалось бы описать анализ, выполненный авторами Пор-Рояля. Очень скоро мы были бы вынуждены констатировать появление новых понятий, некоторые из которых, возможно, образованы из первых, но другие разнородны по отношению к ним, а некоторые даже несовместимы с ними. Понятие прямого и обратного синтаксического порядка, понятие

[15] *Лансло Клод* (1616–1695) — французский лингвист, один из составителей знаменитой «Грамматики Пор-Рояля», заложившей фундамент современной грамматической науки. — *Прим. ред.*

дополнения (введенное в XVIII веке Бозе[16]), вероятно, еще могут входить в понятийную систему грамматики Пор-Рояля. Но ни представление об изначально экспрессивной значимости звуков, ни представление о заложенном в словах и неясно передаваемом ими первичном знании, ни представление о закономерности в изменении согласных, ни понимание глагола как простого имени, позволяющего обозначить действие или операцию, — все они несовместимы с той совокупностью понятий, которыми пользовались Лансло или Дюкло[17]. Надо ли в этих условиях признать, что грамматика лишь внешне образует связную фигуру и что совокупность высказываний, анализов, описаний, принципов и следствий, дедукций непрерывно, более столетия существовавшая под именем грамматики, — это ложное единство? Однако, может быть, мы обнаружим дискурсивное единство, если будем искать его не в связности понятий, а в их одновременном или последовательном возникновении, в их отклонении, в разделяющей их дистанции, а иногда и в их несовместимости. Тогда мы уже не занимались бы попытками создания достаточно общих и абстрактных понятий, чтобы объяснить все остальные понятия и включить их в одно дедуктивное построение; мы попытались бы проанализировать процесс их появлений и рассеивания.

[16] *Бозе Никола* (1717–1789) — французский лингвист, развивавший в XVIII веке парадигмы рациональной грамматики, заложенной «Грамматикой Пор-Рояля». — *Прим. ред.*

[17] *Дюкло Шарль-Пино* (1704–1772) — французский романист, историк, автор трудов по грамматике и кельтской цивилизации. — *Прим. ред.*

Наконец, четвертая гипотеза: для того чтобы перегруппировать высказывания, описать их сцепление и дать представление о тех цельных формах, в которых они предстают, необходима тождественность и устойчивость тем. По отношению к таким «наукам», как экономика или биология, столь склонным к полемике, столь восприимчивым к философским или этическим предпочтениям, иногда столь удобным для политического использования, при первом приближении правомерно предположить, что определенная тематика способна связать и оживить совокупность дискурсов как некий организм, имеющий свои потребности, свою внутреннюю силу и способности к выживанию. Например, разве не могли бы мы образовать единство из всего, что, от Бюффона до Дарвина[18], составило эволюционистскую тему? Тему, поначалу более философскую, чем научную, более близкую к космологии, чем к биологии; тему, которая скорее издали направляла исследования, чем называла, скрывала и объясняла результаты; тему, которая всегда предполагала больше, чем об этом было известно, но принуждала исходя из этого фундаментального выбора превращать в дискурсивное знание то, что было намечено как гипотеза или как требование. Разве не могли бы мы рассуждать точно так же и о физиократической теме? Об идее, которая без всякого доказательства и до всякого ана-

[18] *Бюффон Жорж Луи Леклерк* (1707–1788) — французский естествоиспытатель, в противоположность К. Линнею отстаивал идею изменяемости видов под влиянием окружающей среды. *Дарвин Чарлз Роберт* (1809–1882) — английский естествоиспытатель, разработал эволюционную теорию развития органического мира. — *Прим. ред.*

лиза постулировала естественный характер трех земельных рент; которая, следовательно, предполагала в экономическом и политическом плане примат аграрной земельной собственности; которая исключала всякий анализ механизмов промышленного производства; но которая, напротив, предусматривала описание обращения денег внутри государства, их распределения между различными социальными категориями и тех каналов, по которым они возвращались в производство; которая в конечном итоге заставила Рикардо[19] задуматься о случаях, когда эта тройственная рента так и не появилась, и о тех условиях, при которых она могла бы сформироваться, и разоблачить тем самым произвольность физиократической темы?

Но, исходя из подобной попытки, мы вынуждены сделать два противоположных и взаимодополняющих утверждения. В первом случае одна и та же тематика артикулируется на основании двух наборов понятий, двух типов анализа, двух совершенно различных полей объектов: возможно, в своей самой общей формулировке эволюционистская идея одинакова у Бенуа де Майе, Борде или Дидро[20] и у Дарвина; однако в действительности во всех этих случаях то,

[19] *Рикардо Давид* (1772–1823) — английский экономист, один из крупнейших представителей классической буржуазной политэкономии. — *Прим. ред.*

[20] *Майе Бенуа де* (1656–1738) — французский биолог, автор книги «Теллиамед» или беседы индийского философа с французским миссионером (1748). *Борде Теофиль де* (1722–1776) — французский врач, автор статей по медицине в «Энциклопедии» Дидро-д'Аламбера. *Дидро Дени* (1713–1784) — французский философ, писатель. — *Прим. ред.*

что делает ее возможной и связной, принадлежит к совершенно различным порядкам. В XVIII веке эволюционистская идея определяется исходя из родства видов, образующих континуум, изначально установленный (прервать который могли бы лишь природные катастрофы), или постепенно образуемый течением времени. В XIX веке эволюционистская тема в меньшей степени связана с формированием непрерывной таблицы видов, чем с описанием прерывистых групп и анализом модальностей взаимодействия между организмом, все элементы которого связаны между собой, и средой, предоставляющей ему реальные условия жизни. Тема одна, но основывается она на двух типах дискурса. И наоборот, если говорить о физиократии, то выбор Кенэ[21] основывается на совершенно той же системе понятий, что и противоположное мнение, которое поддерживалось теми, кого можно назвать утилитаристами. В эту эпоху анализ богатств включал в себя относительно ограниченное и всеми признаваемое число понятий (давалось одно и то же определение денег, одно и то же объяснение цены, одним и тем же образом устанавливалась стоимость труда, затраченного на произведенную работу). Однако на основе этого единого набора понятий существовали два способа объяснения стоимости в зависимости от того, анализируют ли ее исходя из обмена товарами или из оплаты рабочего дня. Обе эти возможности, вписанные в экономическую теорию и в ее понятийные правила, привели исходя из одних и тех же элементов к двум различным выборам.

[21] *Кенэ Франсуа* (1694–1774) — французский экономист, основоположник школы физиократов. — *Прим. ред.*

Таким образом, мы, вероятно, были бы не правы, пытаясь искать принципы индивидуализации дискурса в существовании этих тем. Не надо ли скорее искать эти принципы в рассеивании тех точек выбора, которые дискурс оставляет свободными? Не открывает ли дискурс различные возможности вновь оживить уже существующие темы, породить противоположные стратегии, предоставить место несовместимым интересам, позволить, используя определенные понятия, разыгрывать различные партии? Вместо того чтобы исследовать постоянство тем, образов и мнений во времени, вместо того чтобы прослеживать диалектику их конфликтов в процессе индивидуализации совокупностей высказываний, не лучше ли было бы отметить рассеивание точек выбора и, невзирая ни на какое предпочтение, ни на какой тематический выбор, определить поле стратегических возможностей?

Итак, передо мной четыре попытки, четыре неудачи — и четыре сменяющие друг друга гипотезы. Теперь необходимо их проверить. По поводу больших групп высказываний, которые мы употребляем по привычке и которые мы обозначаем как медицина *вообще*, экономика *вообще* или грамматика *вообще*, я задался вопросом, на чем они могут основывать свое единство? Не на переполненной ли, сжатой, непрерывной, географически четко очерченной области объектов? Но передо мной, скорее, предстали лакунарные и запутанные ряды, различия, отклонения, замещения и преобразования. Может быть, они основывают свои единства на определенном и нормативном типе акта высказывания? Но ведь я обнаружил формулировки слишком различных уровней и слишком разнородных функций, чтобы они

могли соединиться и сложиться в единую фигуру и по прошествии времени создать иллюзию, что за индивидуальными произведениями существует своего рода огромный непрерывный текст. Тогда, может быть, они основывают свое единство на строго определенном алфавите понятий? Но ведь мы сталкиваемся с понятиями, различающимися по своей структуре и правилам использования, не допускающими или исключающими друг друга, не способными войти в единство логического построения. Тогда, может быть, на неизменности определенной тематики? Однако мы скорее обнаруживаем различные стратегические возможности, которые позволяют активизировать несовместимые темы или же помещать одну и ту же тему в различные совокупности. Вот почему появилась мысль описать сами эти рассеивания; выяснить, не можем ли мы установить закономерности среди тех элементов, которые наверняка не организуются ни как постепенно возводимое дедуктивное построение, ни как огромная книга, создаваемая с течением времени, ни как творчество коллективного субъекта, — то есть выяснить, не можем ли мы установить порядок в их последовательном появлении, корреляции в их одновременном существовании, позиции, точно определимые в общем пространстве, взаимодействия, связанные и определенные иерархией преобразования. Подобный анализ не пытался бы изолировать островки связности, чтобы описать их внутреннюю структуру; он не ставил бы перед собой задачу выискивать и извлекать на свет латентные конфликты; он изучал бы формы распределения. Иначе говоря, вместо того чтобы восстанавливать *цепочки умозаключений* (как это часто делают в истории наук или философии),

вместо того чтобы устанавливать *таблицы различий* (как это делают лингвисты), он описывал бы *системы рассеивания.*

В том случае когда для некоторого числа высказываний мы могли бы описать подобную систему рассеивания, в том случае когда между объектами, типами высказываний, понятиями и тематическими выборами мы могли бы определить закономерность (régularité) (порядок, корреляции, позиции и действия, преобразования), мы условимся говорить, что имеем дело с *дискурсивной формацией*, избегая тем самым таких, слишком отягощенных условиями и следствиями слов, как «наука», или «идеология», «теория», или «область объективности», — а впрочем, они и неадекватны для обозначения подобного рассеивания. Мы назовем *правилами формирования* те условия, которым подчиняются элементы такого распределения (объекты, модальности акта высказывания, понятия, тематические выборы). Правила формирования — это условия существования (но также и сосуществования, сохранения, видоизменения и исчезновения) в том или ином данном дискурсивном распределении.

Таково поле, которое теперь надо пересечь, таковы понятия, которые нужно испытать, и анализ, который нужно провести. Я знаю, опасности весьма велики. В качестве первоначального ориентира я использовал некоторые достаточно сомнительные, но зато достаточно привычные объединения — однако ничто не доказывает, что я обнаружу их в рамках моего анализа или найду принцип их разграничения и индивидуализации; я не уверен, что те дискурсивные формации, которые я выделю, определят медицину в ее всеохватывающем единстве, а эконо-

мику и грамматику — в общей траектории их исторической судьбы; я не уверен, что они не введут непредвиденных вырезов. Точно также ничто не доказывает, что подобное описание сможет дать представление о научности (или ненаучности) тех дискурсивных совокупностей, которые я принял за исходную точку и которые вначале предстают с некой презумпцией научной рациональности; ничто не доказывает, что мой анализ не расположится на совершенно ином уровне, который образует описание, несводимое к эпистемологии или истории наук. Может также случиться, что в рамках такого начинания мы так и не обратимся вновь к тем единствам, от которых, заботясь о методе, мы временно отказались: тогда мы будем вынуждены лишить произведения возможных ассоциаций, пренебречь влияниями и традициями, окончательно отвергнуть вопрос об истоке, допустить исчезновение властного присутствия авторов. И возможно, что так исчезнет все, что, собственно, и составляло историю идей. В общем опасность заключается в том, чтобы вместо того чтобы обосновать все уже существующее, вместо того чтобы четко обвести линии, ранее лишь намеченные, вместо того чтобы удовлетвориться этим возвратом и этим окончательным подтверждением, вместо того чтобы завершить тот счастливый круг, который после тысячи уловок и неясностей возвещает, наконец, что все спасено, — мы не оказались вынуждены без всяких привычных гарантий покинуть знакомые ландшафты и отправиться в те земли, карту которых мы не успели еще составить, отправиться к тем пределам, предвидеть которые весьма непросто. Все то, что до сих пор обеспечивало безопасность историка и сопровождало его вплоть до самого конца (судьба

рациональности и телеология наук, долгая непрерывная работа мысли, пробуждение и прогресс сознания, его постоянное самовозобновление, неоконченное, но непрерывное движение обобщений, возвращение к всегда открытому истоку и, наконец, историко-трансцендентальная тематика) — не рискует ли все это исчезнуть, освобождая для анализа незаполненное безразличное пространство без внутреннего содержания и без обещаний?

## III. *Формирование объектов*

Теперь необходимо систематизировать обнаруженные направления и выяснить, можем ли мы наполнить содержанием такое, едва намеченное понятие, как «правила формирования». Возьмем сначала формирование объектов. И чтобы легче было его анализировать, рассмотрим, например, дискурс психопаталогии, начиная с XIX века. Это разрыв в хронологии, который мы легко можем допустить в первом приближении. На него указывает достаточно большое число признаков. Выделим только два из них: это применение в начале XIX века нового способа изоляции и помещения душевнобольного в психиатрическую лечебницу и возможность проследить развитие некоторых понятий того времени вплоть до эпохи Эскироля, Хейнрота[22] или Пинеля (паранойя ведет свое начало от мономании, понятие уровня умственного развития — от первоначально-

[22] *Хейнрот Иоганн Христиан* (1773–1843) — немецкий врач, автор книг по философии и медицине. — *Прим. ред.*

го понятия слабоумия, общий паралич — от хронического энцефалита, невроз характера — от тихого помешательства). Однако если мы хотим еще больше углубиться в прошлое, мы тотчас теряем следы, нити перепутаются и проекция взглядов Дю Лоренса или даже Ван Свитена на патологию Крепелина или Блейлера[23] дает только случайные совпадения. Итак, объекты, с которыми на протяжении этого периода имела дело психопатология, весьма многочисленны и по большей части являются совершенно новыми, но они также достаточно неустойчивы и изменчивы, а некоторые из них обречены на скорое исчезновение: мы видели, как наряду с моторными возбуждениями, галлюцинациями и речевыми расстройствами (которые и прежде рассматривались как проявления безумия, хотя распознавались, разграничивались, описывались и анализировались по-иному) появились объекты, принадлежащие к регистрам, которые до сих пор не использовались: легкие отклонения поведения, аберрации и сексуальные расстройства, случаи внушения и гипноза, повреждения центральной нервной системы, дефицит интеллектуальной или моторной адаптации, преступность. И в каждом из этих регистров были названы, отграничены, проанализированы, а затем очищены, заново определены, оспорены и отброшены многочисленные объекты. Можем ли мы установить то правило, которому подчинялось их появ-

[23] *Лоренс Андре дю* (1558–1609) — французский медик, личный врач Генриха IV. *Ван Свитен Герард* (1700–1772) — нидерландский врач. *Крепелин Эмиль* (1856–1926) — немецкий психиатр, создал современную классификацию психических болезней, построенную по нозологическому принципу. — *Прим. ред.*

ление? Можем ли мы узнать, в соответствии с какой не-дедуктивной системой именно эти объекты смогли расположиться рядом и следовать друг за другом, образуя в результате раздробленное — лакунарное в некоторых своих точках или избыточное в других точках — поле психопатологии? Каким был режим их существования в качестве объектов дискурса?

*а*) Вероятно, сначала необходимо выделить первые *поверхности* их *возникновения*: показать, где могут внезапно появиться, чтобы вслед за тем быть обозначенными и проанализированными, те индивидуальные различия, которые в зависимости от степени рационализации, понятийных кодов и типов теории получат статус болезни, расстройства, аномалии, деменции, невроза или психоза, дегенерации и т. д. Для различных обществ, в различные эпохи и в различных формах дискурса эти поверхности возникновения являются различными. Если оставаться в пределах психопатологии XIX века, то вполне вероятно, что они были образованы семьей, ближайшей социальной группой, трудовой средой, религиозной общиной (все они нормативны и чувствительны к отклонениям, все они имеют определенные пределы терпимости и порог, за которым неизбежно наступает исключение, все они имеют свой способ обозначения и неприятия безумия, все они перекладывают на медицину если не ответственность за лечение безумия и исцеление от него, то по крайней мере необходимость дать ему объяснение). Эти поверхности возникновения, хотя они и организованы особым образом, не являются новыми для XIX века. Напротив, вероятно, именно в эту эпоху начинают действовать новые поверх-

7 Зак. 3653

ности появления: искусство со своей собственной нормативностью, сексуальность (ее отклонения относительно привычных запретов впервые становятся для психиатрического дискурса объектом точки отсчета, описания и анализа); это система наказаний (если в предшествующие эпохи безумие тщательно отделялось от преступного поведения и служило поводом для оправдания, то теперь преступность — особенно после знаменитых «мономаний убийства» — сама становится формой отклонения, более или менее родственной безумию). Здесь, в этих полях первичной дифференциации, в дистанциях, прерывностях и порогах, в них проявляющихся, психиатрический дискурс находит возможность отграничить свою область, определить то, о чем он говорит, и придать этому статус объекта — то есть выделить все это, дать всему этому имя и описать.

*b*) Кроме того следует, по-видимому, описать *инстанции разграничения*: медицина (понимаемая как регламентированный социальный институт, как совокупность индивидов, образующих медицинский персонал, как знание и практика, как компетентность, признанная общественным мнением, судебными органами и администрацией) стала в XIX веке главной инстанцией, выделяющей, обозначающей, называющей и утверждающей в обществе безумие в качестве объекта. Но не одна медицина имела здесь решающее значение; помимо нее свою роль сыграли: уголовное право (с определением случаев возможного оправдания, случаев освобождения от ответственности, смягчающих обстоятельств и с применением таких понятий, как преступление, совершенное в состоянии аффекта, наследственность, социальная опасность); влияние церкви (в той сте-

пени, в какой она утверждается как основная инстанция, разграничивающая мистическое и патологическое, духовное и телесное, сверхъестественное и аномальное, а также в той степени, в какой она направляет сознание скорее на познание индивидов, чем на классификацию действий и обстоятельств с точки зрения религиозной нравственности); литературная и художественная критика (которая на протяжении XIX века все меньше и меньше рассматривает произведение как объект вкуса, о котором должно быть вынесено суждение, но все больше и больше как язык, который необходимо интерпретировать, и в котором необходимо распознать процесс самовыражения автора).

*с*) Наконец, следует проанализировать *решетки спецификации*: речь идет о системе, в соответствии с которой мы разделяем, противопоставляем, сближаем, перегруппировываем, классифицируем, выводим друг из друга различные виды «безумия» как объекты психиатрического дискурса (в XIX веке такими решетками дифференциации были: душа, как группа иерархизированных, примыкающих к ней и в большей или меньшей степени взаимопроникающих способностей; тело, как трехмерный объем органов, связанных в соответствии со схемами зависимости и коммуникации; жизнь и история индивидов, как линейная последовательность фаз, путаница следов, совокупность возможных реактиваций и циклических повторений; нейро-психологические корреляции, как системы взаимных проекций и как поле круговой причинности).

Само по себе такое описание еще недостаточно. И по двум причинам. Плоскости возникновения, которые мы только что выделили, все эти инстанции

разграничения или формы спецификации, несмотря на всю свою защищенность и завершенность, не дают объектов, которые вслед за тем психопатологический дискурс должен был бы лишь инвентаризировать, классифицировать и назвать, отобрать и, наконец, покрыть сетью слов и предложений: не семьи — с их нормами, запретами и порогами чувствительности — определяют сумасшествие и предлагают «больных» анализу или решению психиатров; не сама по себе юриспруденция указывает психиатрии на параноидальный психоз, скрывающийся за тем или иным убийством, или подозревает невроз в сексуальном правонарушении. Дискурс — это нечто совершенно иное, нежели та среда, где, как на простой поверхности для записи, складываются и наслаиваются друг на друга установленные заранее объекты. Но только что приведенный перечень недостаточен и по другой причине. Одна за другой им устанавливаются многочисленные плоскости дифференциации, где могут появляться объекты дискурса. Но каковы отношения между ними? Почему именно этот перечень, а не какой-либо другой? Какую определенную и замкнутую совокупность намереваемся мы очертить таким образом? И как можно говорить о «системе формирования», если нам известен только один ряд различных и разнородных детерминаций, не имеющих ни связей, ни четко определенных отношений?

Фактически оба ряда вопросов отсылают к одной и той же точке. И чтобы определить ее, попробуем еще больше ограничить предыдущий пример. Мы видим, как в той области, с которой в XIX веке имела дело психопатология, очень быстро (уже начиная с Эскироля) возникает целый ряд объектов,

относящихся к регистру преступности и правонарушений: убийства (и самоубийства), преступления, совершенные в состоянии аффекта, сексуальные правонарушения, некоторые формы воровства, бродяжничество, а вслед за ними появляются такие объекты, как наследственность, неврогенная среда, агрессивное поведение или самонаказание, перверсия, преступные влечения, подверженность внушению и т. д. Было бы не вполне адекватно говорить о том, что здесь мы имеем дело с последствиями некого открытия: с тем, что в один прекрасный день какой-нибудь психиатр обнаружил сходство между криминальными формами поведения и поведением патологическим; с выявлением у некоторых правонарушителей классических симптомов помешательства. Такие факты находятся за рамками данного исследования: действительно, проблема состоит в том, чтобы узнать, благодаря чему они сделались возможными и каким образом за этими «открытиями» могли последовать другие, которые их продолжили, скорректировали, видоизменили, а иногда и полностью опровергли. Точно так же было бы неуместным приписать появление этих новых объектов нормам, присущим буржуазному обществу XIX века, усиленному полицейскому и уголовному надзору, созданию нового уголовного законодательства, введению и учету смягчающих обстоятельств, росту преступности. Вероятно, все эти процессы действительно происходили, но одни они не могли создать объектов для психиатрического дискурса; продолжая описание на этом уровне, мы на этот раз оказались бы за пределами того, что ищем.

Если в какую-то определенную эпоху в нашем обществе правонарушитель рассматривался с точки

зрения психологии и патологии, если трансгрессивное поведение смогло породить целый ряд объектов знания, то произошло это потому, что в психиатрическом дискурсе была использована совокупность четко определенных отношений. Это отношение между такими плоскостями спецификации, как категории уголовного права и степени ограниченной ответственности, и плоскостями психологической характеризации (приобретенные, врожденные или наследственные способности, склонности, степени развития или регресса, виды реакции на среду, типы характеров). Отношение между инстанцией медицинского решения и инстанцией решения юридического (отношение, по правде говоря, сложное, поскольку медицинское решение безоговорочно признает юридическую инстанцию в том, что касается определения преступления, установления его обстоятельств и санкций, которых оно заслуживает, но сохраняет за собой анализ его генезиса и право давать оценку предусмотренной ответственности). Отношение между фильтром, образованным судебным допросом, полицейскими документами, расследованием и всем аппаратом юридической информации, и фильтром, образованным медицинской анкетой, клиническими обследованиями, исследованиями прошлого больного и биографическими рассказами. Отношение между семейными, сексуальными, уголовными нормами поведения индивидов и той картиной патологических симптомов и болезней, признаками которых они являются. Отношение между терапевтическим ограничением свободы в больничной среде (с ее особыми порогами, критериями выздоровления, способом разграничения нормального и патологического) и карательным

ограничением свободы в тюрьме (с ее системой наказания и воспитания, с ее критериями хорошего поведения, исправления и освобождения). Вот те отношения, которые при создании психиатрического дискурса позволили сформировать целую совокупность различных объектов.

Обобщим вышесказанное: в XIX веке дискурс психиатрии характеризуется не столько существованием каких-то привилегированных объектов, сколько теми способами, посредством которых он их формирует и которые при этом существуют в весьма рассеянном виде. Такое формирование объектов обеспечивается совокупностью отношений, установленных между инстанциями возникновения, разграничения и спецификации. Таким образом, мы будем говорить, что дискурсивная формация определена (по крайней мере, в отношении своих объектов) в том случае, если подобная совокупность может быть установлена; если возможно показать, как любой объект рассматриваемого дискурса находит там свое место и закон, в соответствии с которым он возникает; если мы можем показать, что дискурсивная формация одновременно или последовательно способна порождать взаимоисключающие объекты, и при этом никак не видоизменяться.

Отсюда несколько замечаний и выводов.

1. Условия для того, чтобы появился объект дискурса, исторические условия для того, чтобы о нем можно было «что-нибудь сказать» и чтобы многие могли о нем сказать нечто различное, условия, необходимые для того, чтобы он вписался в область родства с другими объектами, чтобы он мог установить с ними отношения сходства, соседства, отда-

ленности, различия и преобразования, — эти условия, как мы видим, многочисленны и громоздки. Это значит, что нельзя говорить о чем угодно в какой угодно период времени; что нелегко сказать что-то новое; что совершенно недостаточно просто открыть глаза, обратить внимание или что-то осознать для того, чтобы перед нами тотчас высветились новые объекты. Но эта трудность не только негативна; не надо связывать ее с каким-то препятствием, способным, вероятно, лишь ослеплять, стеснять, мешать открытию, скрывать чистоту очевидности или безмолвное упорство самих вещей; зарождающийся объект не пребывает в ожидании приказа, который его освободит и позволит воплотиться в видимую и болтливую объективность; он не существует прежде себя самого, удерживаемый на границе света каким-то препятствием. Он существует при позитивных условиях, формируемых сложным пучком связей.

2. Эти отношения установлены между социальными институтами, экономическими и социальными процессами, формами поведения, системами норм, технологиями, типами классификации, способами характеризации; эти отношения не присутствуют в объекте; они не проявляются в процессе его анализа; они не прорисовывают его канву, его имманентную рациональность, ту идеальную нервюру, которая полностью или частично проявляется, когда мы мыслим этот объект в истинности его понятия. Они определяют не его внутреннее строение, а то, что позволяет ему появиться, расположиться рядом с другими объектами, занять по отношению к ним определенное место, определить свое

отличие, свою несводимость, а в известных случаях свою разнородность по отношению к ним, короче говоря, быть помещенным в поле взаимодействий внешнего характера (champ d'extériorité).

3. Прежде всего, эти отношения отличаются от тех отношений, которые мы могли бы назвать «первичными» и которые независимо от любого дискурса и от любого объекта дискурса могут быть описаны как отношения, существующие между социальными институтами, технологиями, социальными формами и т. д. В конечном счете, хорошо известно, что в XIX веке между буржуазной семьей и функционированием судебных инстанций и юридических категорий существуют связи, которые можно анализировать сами по себе. Однако они не всегда совпадают с отношениями, формирующими объекты: отношения зависимости, которые мы можем приписать к этому первичному уровню, не обязательно выражаются в установлении отношений, делающих возможными объекты дискурса. Но, кроме того, нужно различать вторичные связи, которые мы можем обнаружить уже сформулированными в самом дискурсе: например, то, что психиатры XIX века могли сказать о связях между семьей и преступностью, не воспроизводит, как это хорошо известно, соотношения реальных зависимостей; но оно не воспроизводит также и отношений, которые делают возможными и поддерживают объекты психиатрического дискурса. Таким образом, открывается целое сочлененное пространство возможных описаний: система *первичных*, или *реальных, отношений*, система *вторичных*, или *рефлексивных, отношений* и система *отношений*, которые мы можем назвать собственно

*дискурсивными*. Проблема заключается в том, чтобы выявить специфичность этих последних и их взаимоотношения с двумя другими.

4. Мы видим, что дискурсивные отношения не являются внутренними для дискурса: они не связывают между собой понятия или слова; они не устанавливают между предложениями или суждениями дедуктивного или риторического построения. Но, однако, это и не внешние для дискурса отношения, которые ограничивали бы его или предписывали бы ему определенные формы, или же в некоторых обстоятельствах принуждали бы его что-то высказывать. В каком-то смысле они находятся на границе дискурса: они преподносят ему объекты, о которых он может говорить или, скорее (поскольку этот образ преподнесения предполагает, что объекты сформированы с одной стороны, а дискурс — с другой), они детерминируют пучок связей, которые дискурс должен установить, чтобы иметь затем возможность говорить о тех или иных объектах, чтобы иметь возможность их обсуждать, называть, анализировать, классифицировать, объяснять и т. д. Эти отношения характеризуют не тот язык, который использует дискурс, не обстоятельства, при которых он разворачивается, но сам дискурс как практику.

Теперь мы можем завершить анализ и оценить, в чем он реализовал, а в чем даже видоизменил свой первоначальный проект.

В отношении тех совокупных фигур, которые настойчиво, но не вполне отчетливо представали как психопатология *вообще*, экономика *вообще*, грамматика *вообще*, медицина *вообще*, мы задались во-

просом, какое же единство могло их сформировать: не являются ли они лишь позднейшей реконструкцией, произведенной на основании отдельных произведений, последовательных теорий, понятий или тем, одни из которых были отброшены, другие сохранены по традиции, иные преданы забвению, а затем вновь извлечены на свет? Не являются ли они лишь рядом связанных между собой начинаний?

Прежде мы искали единство дискурса в направлении объектов, их распределения, их различий, их близости или удаленности друг от друга, короче говоря, в направлении всего того, что дано говорящему субъекту: и в итоге мы возвратились к установлению отношений, которые характеризуют саму дискурсивную практику; и мы обнаруживаем, таким образом, не конфигурацию или форму, а совокупность *правил*, которые имманентны некой практике и которые определяют эту практику в ее специфичности. С другой стороны, в качестве ориентира мы воспользовались таким «единством» как психопатология *вообще*: если бы мы захотели зафиксировать дату ее рождения и ее точную область, то, вероятно, надо было бы обнаружить момент появления самого этого слова, определить, к какому виду анализа оно могло применяться и каким образом произошло ее размежевание с неврологией, с одной стороны, и с психологией — с другой. Нам же как раз удалось показать единство другого типа, которое, очевидно, имеет иные даты, иную поверхность или иные сочленения, но которое может дать представление о совокупности объектов, для которых термин «психопатология» был лишь рефлексивной, вторичной и классификационной рубрикой. Наконец, психопатология предстает как дисциплина

постоянно обновляемая, постоянно отмеченная открытиями, критикой, исправленными ошибками, тогда как определенная нами система формирования остается стабильной. Но договоримся: не объекты остаются неизменными, и не область, которую они формируют, и даже не точка их возникновения или способ их характеризации; неизменным остается установление отношений между поверхностями, где они могут появляться, где они могут разграничиваться, где они могут анализироваться и уточняться.

И мы это видим: в описаниях, теорию которых я только что попытался создать, речь не идет об интерпретации дискурса, для того чтобы сделать из него историю референта. В выбранном примере мы не стараемся узнать, кто был безумен в ту или иную эпоху, в чем заключалось его безумие, были ли его умственные расстройства идентичны тем, с которыми мы имеем дело сегодня. Мы не задаемся вопросом, были ли колдуны нераспознанными и преследуемыми сумасшедшими или уже в какую-то другую эпоху правомерно ли было рассматривать мистический или эстетический опыт как медицинский случай. Мы не стремимся воспроизвести, чем могло быть само безумие, таким, каким оно представало, вероятно, с самого начала, в своем первичном, основополагающем, неясном и едва выраженном опыте[24], и таким, каким оно было позднее организовано (истолковано, деформировано, переиначено, а возможно, и подавлено) дискурсами с их двусмысленными, зачастую изворотливыми манипуляция-

[24] Это написано вопреки теме, эксплицитно представленной в «Истории безумия», и многократно, довольно необычным образом, присутствующей во Введении.

ми. Надо думать, что подобная история референта возможна; мы с самого начала не исключаем допустимости усилия, направленного на очищение и высвобождение из текста таких «додискурсивных» опытов. Но здесь речь идет не о том, чтобы нейтрализовать дискурс, превратить его в знак чего-то иного и пройти сквозь его толщу, чтобы добраться до чего-то безмолвного, что пребывает вне его пределов; как раз наоборот, речь идет о том, чтобы сохранить дискурс в его плотности, о том, чтобы заставить его проявиться во всей присущей ему сложности. Одним словом, мы просто-напросто хотим обойтись без «вещей». «Де-презентифицировать» их. Устранить их богатую, тяжеловесную и непосредственную полноту, из которой мы привыкли делать первичный закон дискурса, расходящегося с ними, вероятно, только в силу заблуждения, забвения, иллюзии, невежества, или в силу инерции верований и традиций, или же в силу, возможно, неосознанного, желания не видеть и не говорить. Заменить загадочное богатство «вещей», существующих до дискурса, на закономерное формирование только в нем вырисовывающихся объектов. Определить эти *объекты*, не ссылаясь *на сущность вещей*, но соотнося их с совокупностью правил, позволяющих сформировать их как объекты дискурса и, таким образом, определяющих условия их исторического появления. Создать историю дискурсивных объектов, которая не погружала бы их на общую глубину изначальной почвы, а разворачивала бы *nexus*[25] закономерностей, управляющих их рассеиванием.

[25] *Nexus* (*лат.*) — связывание, соединение, сплетение. — *Прим. перев.*

Тем не менее отказаться от «самих вещей» не обязательно значит обратиться к лингвистическому анализу значения. Когда мы описываем формирование объектов дискурса, мы пытаемся отметить установление отношений, характеризующих дискурсивную практику, мы не определяем ни лексическую организацию, ни членения семантического поля: мы не задаемся вопросом, какой смысл придавался в определенную эпоху словам «меланхолия» или «тихое помешательство», ни каковы различия, существующие в понятиях психоза и невроза. И конечно, не потому, что подобные анализы рассматривались бы здесь как неправомерные или невозможные, а потому, что они неуместны, когда речь идет, например, о выяснении того, каким образом преступность могла стать объектом медицинской экспертизы или какое-то сексуальное отклонение превратиться в возможный объект психиатрического дискурса. Анализ лексического содержания определяет либо элементы значения, которыми в определенную эпоху располагают говорящие субъекты, либо семантическую структуру, которая появляется на поверхности уже произнесенных дискурсов; но он не затрагивает дискурсивную практику как место, где формируется и де-формируется, появляется и исчезает перепутанная — одновременно многослойная и лакунарная — множественность объектов.

Комментаторов не подвела их проницательность: в анализе, которым я занимаюсь, *слова* отсутствуют столь же преднамеренно, как и сами *вещи*; описания словаря в нем не больше, чем обращений к живой полноте опыта. Мы не возвращаемся в пространство, расположенное по эту сторону дискурса, — туда, где еще ничего не было сказано и где вещи едва про-

ступают в неясном свете; мы не выходим за пределы дискурса в поисках форм, которые он разместил и оставил позади себя; мы удерживаемся, мы пытаемся удержаться на уровне самого дискурса. Поскольку иногда все же нужно расставить все точки над «i» в том, что касается слишком заметных отсутствий, отмечу, что во всех этих исследованиях, в которых я столь мало продвинулся, мне хотелось бы показать, что «дискурсы», такие, какими мы можем их услышать или прочитать, когда они существуют в форме текста, не являются, как можно было бы ожидать, всего лишь точкой пересечения вещей и слов: неясной канвой вещей и явной, видимой и красочной цепочкой слов; я хотел бы показать, что дискурс — это не тонкая поверхность соприкосновения или столкновения между некой реальностью и неким языком, сложение лексики и опыта; я хотел бы показать на конкретных примерах, что, анализируя дискурсы как таковые, мы видим, как ослабевают внешне столь тесные объятия слов и вещей и как высвобождается совокупность правил, присущих дискурсивной практике. Эти правила определяют отнюдь не безмолвное существование реальности, отнюдь не каноническое использование словаря, они определяют режим существования объектов. «Слова и вещи» — это название определенной проблемы, и название весьма серьезное; но это ироническое название для занятия, которое изменяет ее форму, перераспределяет ее данные и, в конце концов, обнаруживает совершенно иную задачу. Задачу, которая не заключается — больше не заключается — в рассмотрении дискурсов как совокупностей знаков (означающих элементов, отсылающих к содержаниям или представлениям), а заключается в

рассмотрении их как практик, систематически формирующих те объекты, о которых они говорят. Конечно, дискурсы составлены из знаков; но то, что сами они делают, — это больше, чем использование этих знаков для обозначения вещей. И это то *больше*, которое делает их несводимыми ни к языку, ни к речи. Вот это самое «больше» и нужно показать и описать.

## IV. *Формирование модальностей высказывания*

Качественные описания, биографические рассказы, выделение, интерпретация и сопоставление симптомов, заключения по аналогии, дедукция, статистические оценки, экспериментальные верификации и множество других форм высказываний — вот что мы можем обнаружить в XIX веке в дискурсе врачей. Какова связь между ними, какова их потребность друг в друге? Почему эти высказывания, а не другие? По-видимому, необходимо найти закон для всех этих различных актов высказывания и место, откуда они происходят.

*а*) Первый вопрос: кто говорит? Кто в совокупности всех говорящих индивидов уполномочен использовать этот язык? Кто является его носителем? Кто использует его единичность, его авторитет, и от кого этот язык получает взамен если не свою гарантию, то, по крайней мере, свою презумпцию истинности? Каков статус индивидов, которые имеют, причем только они одни, регламентированное или

традиционное, юридически определенное или спонтанно допускаемое право на подобный дискурс? Статус врача включает в себя критерии компетентности и знания; он включает в себя социальные институты, системы, педагогические нормы; он также включает в себя узаконенные условия, дающие право — одновременно устанавливая его пределы, — на практику и на экспериментирование со знанием. Этот статус включает в себя также систему дифференциации и отношений (разделение компетенции, иерархическое подчинение, функциональную дополнительность, затребование и передачу информации, обмен информацией) с другими индивидами или другими группами, обладающими своим собственным статусом (с политической властью и ее представителями, с судебной властью, с различными профессиональными корпорациями, с религиозными объединениями, а в случае необходимости и со священнослужителями). Он содержит также некоторые моменты, определяющие деятельность врача по отношению к обществу в целом (роль, которая признается за врачом, в зависимости от того, обращается ли к нему частное лицо, или же исполнения которой с большей или меньшей степенью принуждения требует от него общество; роль, которая признается за ним в зависимости от того, осуществляет ли он свою профессиональную деятельность или же на него возложена определенная функция; это те права на вмешательство и принятия решения, которые признаются за ним в этих различных случаях; это то, что требуется от врача как от наблюдателя, хранителя и гаранта здоровья населения, группы, семьи, индивида; это та доля, которая им изымается из общественного богатства или из частных богатств; это та форма эксплицит-

ного или имплицитного контракта, который он заключает либо с группой, где он практикует, либо с властью, доверившей ему некую задачу, либо с клиентом, который попросил у него совета, лечения, исцеления). В целом при любой форме общества и цивилизации статус врача достаточно своеобразен: он почти всегда является узнаваемым и незаменимым лицом. Медицинское слово не может исходить от кого угодно; его ценность, его действенность, сами его терапевтические возможности и вообще его существование как медицинского слова неотделимы от лица-носителя определенного статуса, имеющего право его артикулировать, отстаивая за ним власть предотвращать страдание и смерть. Но также хорошо известно, что в западной цивилизации статус врача глубоко изменился в конце XVIII — начале XIX века, когда здоровье населения стало одной из экономических норм, востребованных индустриальными обществами.

*b*) Необходимо также описать те институциональные *местоположения*, откуда врач ведет свою речь и где она находит свое законное происхождение (origine légitime) и свою точку применения (свои специфические объекты и инструменты верификации). Такими местоположениями для наших обществ являются: больница — место постоянного, кодированного, систематического наблюдения, которое обеспечивается дифференцированным и иерархизированным медицинским персоналом и которое поэтому способно формировать количественно определимое поле частотности; частная практика, предлагающая область более случайных, более лакунарных, гораздо менее многочисленных наблюдений, но которые иногда позволяют делать

при лучшем знании среды и прошлого больного констатации более широкого хронологического охвата; лаборатория — давно отделившееся от больницы автономное пространство, где устанавливаются некоторые истины общего порядка, касающиеся человеческого тела, жизни, болезни, повреждениий, которые предоставляют определенные сведения для постановки диагнозов, определенные симптомы эволюции болезни, определенные критерии выздоровления и которые допускают терапевтическое экспериментирование; наконец, то, что можно было бы назвать «библиотекой» или документальным полем: пространство, которое содержит не только книги или научные сочинения, традиционно признаваемые необходимыми, но также множество напечатанных и обнародованных отчетов и наблюдений, массу статистической информации (посвященной вопросам социальной среды, климата, эпидемий, процента смертности, частоты заболеваний, очагов инфекции, профессиональных заболеваний), которые могут быть предоставлены врачу административными органами, другими врачами, социологами, географами. И здесь также эти различные «местоположения» медицинского дискурса коренным образом видоизменились в XIX веке: значимость документа постоянно возрастает (настолько же при этом уменьшая авторитет книги или традиции); больница, которая для дискурса о болезнях была лишь вспомогательным местом, по значимости и ценности уступавшим частной практике (где в XVIII веке болезни, предоставленные естественному развитию, должны были обнаруживать свою истинную природу), становится в XIX веке местом систематических и однородных наблюдений, широкомасштабных сопоставлений, местом уста-

новления частотностей и вероятностей, аннулирования индивидуальных вариантов, — короче говоря, больница перестает быть местом возникновения единичных болезней, проявляющих свои основные характеристики под взглядом врача, и становится местом возникновения усредненного процесса со своими значимыми ориентирами, границами и возможностями эволюции. Точно также повседневная медицинская практика слилась в XIX веке в одно целое с лабораторией как местом такого дискурса, который имеет те же экспериментальные требования, что и физика, химия или биология.

*c*) Позиции субъекта определяются в равной степени и тем положением, которое он может занимать по отношению к разным областям или группам объектов; он является субъектом, задающим вопросы в соответствии с определенной сеткой эксплицитных или имплицитных вопросов, и выслушивающим ответы в соответствии с определенной программой информации; он является субъектом, наблюдающим в соответствии с таблицей характерных признаков и делающим отметки в соответствии с определенным типом описания; он находится на оптимальной перцептивной дистанции, границы которой определяют мельчайшую существенную информацию; он прибегает к посредничеству инструментов, которые видоизменяют масштаб информации, перемещают субъекта относительно усредненного или непосредственного перцептивного уровня, обеспечивают его переход от поверхностного к глубинному уровню, заставляют его перемещаться во внутреннем пространстве тела — от явных симптомов к органам, от органов к тканям и, в конце концов, от тканей к клеткам. К этим пер-

цептивным положениям необходимо добавить те позиции, которые субъект может занимать в сети информации (в теоретическом обучении или в больничной практике; в системе устной коммуникации или в письменной документации; он может передавать или получать наблюдения, отчеты, статистические данные, общие теоретические суждения, проекты или решения). В начале XIX века были по-новому определены различные положения, которые может занимать субъект медицинского дискурса, что определялось организацией совершенно иного перцептивного поля (расположенного в глубине, выявляемого через посредство инструментов, развернутого при помощи хирургических методик или методов аутопсии, сосредоточенного вокруг очагов патологии), введением новых систем регистрации, нотации, описания, классификации, сведе́ния в числовые ряды и статистики, а также введением новых форм обучения, распространения информации, новых форм связей с другими теоретическими областями (с науками или с философией) и появлением других социальных институтов (будь они административного, политического или экономического порядка).

Поскольку в клиническом дискурсе использован целый пучок отношений, то врач поочередно является и лицом, которое полновластно и непосредственно задает свои вопросы, и наблюдающим оком, и прикасающимся пальцем, и орудием расшифровки симптомов, и местом интеграции уже сделанных описаний, и лабораторным техником. Это отношения между больничным пространством, являющимся одновременно местом, где оказывается помощь,

местом точного и систематического наблюдения, местом частично проверенной, а частично экспериментальной терапии и целой группой методик и кодов восприятия человеческого тела, как оно определено патологической анатомией; это отношения между полем непосредственных наблюдений и областью уже полученной информации; это отношения между ролью врача как терапевта, педагога, посредника в распространении медицинских знаний и его ролью официального лица, отвечающего за общественное здоровье в социальном пространстве. Клиническая медицина, понимаемая как обновление точек зрения, содержаний, форм и самого стиля описания, использования индуктивных или вероятностных умозаключений, типов определения причинности, короче говоря, как обновление модальности акта высказывания — так понимаемая клиническая медицина не должна восприниматься ни как результат новой методики наблюдения — методики аутопсии, применявшейся уже задолго до XIX века; ни как результат исследования патогенных причин, обнаруживающихся в глубинах организма — уже в середине XVIII века этим занимался Морганьи[26]; ни как следствие появления того нового социального института, каким была больничная клиника, — они уже целые десятилетия существовали в Австрии и в Италии; ни как результат введения Биша понятия ткани в его «Трактате о мембранах»[27]. Клиническая медицина должна восприниматься как соединение

[26] *Морганьи Джованни Баттиста* (1682–1771) — итальянский врач и анатом, один из основоположников патологической анатомии. — *Прим. ред.*

[27] Полное название этой работы Биша (1800) — «Трактат о мембранах и оболочках». — *Прим. перев.*

в медицинском дискурсе определенного числа отдельных элементов, одни из которых затрагивали статус врачей, другие — то институциональное и специальное пространство, где врачи осуществляли свои высказывания, третьи — их положение субъектов, которые воспринимают, наблюдают, описывают, обучают и т. д. Можно сказать, что это соединение различных элементов (из которых одни были новыми, а другие существовали и прежде) осуществлено клиническим дискурсом: именно он, как практика, устанавливает между всеми этими элементами систему отношений, которая не является ни «реально» данной, ни заранее созданной. И если клинический дискурс обладает единством, если модальности акта высказывания, которые он использует или порождает, являются не просто сопоставленными в ряду исторических случайностей, то это потому, что он постоянно использует этот пучок отношений.

Еще одно замечание. После того как мы констатировали несходность типов актов высказывания в клиническом дискурсе, мы не пытались ее уменьшить, выявляя формальные структуры, категории, виды логической последовательности, типы умозаключений и индукции, формы анализа и синтеза, которые могли быть использованы в каком-либо дискурсе; мы не стремились выявить ту рациональную организацию, которая способна придать таким высказываниям, как высказывания медицины, то, что они несут в себе от внутренне им присущей необходимости. Мы также не хотели связать с основополагающим актом или с конституирующим сознанием тот общий горизонт рациональности, на котором постепенно обозначались успехи медицины, ее усилия сравняться с точными науками, укрепление ее мето-

дов наблюдения, медленное и трудное изживание населяющих ее образов или фантазмов, очищение ее системы умозаключения. Наконец, мы не пытались описать ни эмпирический генезис, ни разные составляющие медицинского типа мышления: как смещался интерес врачей, влияние каких теоретических и экспериментальных моделей они испытывали, какая философия или какая этическая тематика определяли атмосферу, в которой происходила их рефлексия, на какие вопросы, на какие требования они должны были отвечать, какие усилия им пришлось предпринять, чтобы освободиться от традиционных предрассудков, какими путями продвигались они к никогда не завершаемой, никогда не достижимой унификации и связности их знания. Короче говоря, мы не относим различные модальности акта высказывания к единству субъекта — идет ли речь о субъекте, взятом в качестве чистой основополагающей инстанции рациональности, или о субъекте, взятом в качестве эмпирической функции синтеза. Здесь нет ни «познавания», ни «познаний».

В предложенном здесь анализе различные модальности акта высказывания не отсылают к *синтезу* или к унифицирующей *функции некоего* субъекта, а демонстрируют свое рассеивание[28]. Это рассеивание в различных статусах, в различных местоположениях, в различных позициях, которые может занять или получить субъект, когда он производит дискурс; это рассеивание в прерывности плоскостей, откуда он говорит. И если эти плоскости объединены систе-

[28] По этой причине выражение «медицинский взгляд», употребленное в «Рождении клиники», было не слишком удачным.

мой связей, то она устанавливается не синтетической деятельностью самотождественного, немого и предшествующего всякому слову сознания, она устанавливается специфичностью дискурсивной практики. Итак, мы откажемся видеть в дискурсе феномен выражения (expression) — вербальный перевод синтеза, осуществленного в другом месте; скорее, мы будем искать в нем поле закономерности для различных позиций субъективности. Дискурс, понятый таким образом, не является величественно развернутым проявлением субъекта, который мыслит, познает и производит его: напротив, это совокупность, где могут детерминироваться рассеивание субъекта и его прерывность по отношению к самому себе. Дискурс является пространством взаимодействий внешнего характера, где разворачивается сеть отдельных местоположений. Мы только что показали, что строй присущих дискурсивной формации объектов не нужно определять ни через «слова», ни через «вещи»; точно также теперь нужно признать, что порядок ее актов высказывания не нужно определять ни через обращение к трансцендентальному субъекту, ни через обращение к психологической субъективности.

## V. *Формирование понятий*

Возможно, семейство понятий, возникающее в трудах Линнея (но также, конечно, и семейство понятий, которое мы находим у Рикардо или в грамматике Пор-Рояля), может организовываться в связную совокупность. Возможно, мы могли бы восстановить то дедуктивное построение, которое оно формирует.

В любом случае стоит попытаться это проделать — да это и было уже неоднократно проделано. Зато если мы берем более крупный масштаб и в качестве ориентиров выбираем такие дисциплины, как грамматика или экономика, или исследование живой природы, оказывается, что взаимодействие понятий не подчиняется столь строгим условиям: их история — это не возведение здания камень за камнем. Следует ли оставить это рассеивание в его кажущемся беспорядке? Следует ли видеть в нем последовательность понятийных систем, каждая из которых имеет свою собственную организацию и каждая из которых артикулируется либо на основе постоянства проблем, либо на основе непрерывности традиции, либо на основе механизма влияний? Нельзя ли обнаружить закон, который давал бы объяснение последовательному или одновременному возникновению разрозненных понятий? Нельзя ли обнаружить в их совпадениях какую-то систему, которая не обуславливалась бы логическими схемами? Вместо того чтобы стремиться переместить понятия в виртуальное дедуктивное построение, следовало бы описать организацию поля высказываний, в котором эти понятия появляются и циркулируют.

*a*) Прежде всего, эта организация содержит в себе формы *последовательности*. И среди них — различные *упорядоченности рядов высказываний* (будь то порядок выводов, последовательных импликаций и доказательных рассуждений; или порядок описаний, схемы обобщения или нарастающей спецификации, которым они подчиняются, пространственные распределения, через которые они проходят; или порядок повествований и тот способ, каким со-

бытия, происходящие во времени, распределены в линейной последовательности высказываний); разные *типы зависимости* высказываний (которые не всегда являются тождественными и совпадающими с видимыми последовательностями ряда высказываний: так обстоит дело с такими зависимостями, как гипотеза — верификация, утверждение — критика, общий закон — частное применение); разные риторические *схемы*, в соответствии с которыми мы можем *комбинировать* группы высказываний (каким образом соединяются друг с другом описания, дедукции и определения, последовательность которых характеризует построение текста). Возьмем, например, случай Естественной истории в классическую эпоху: она использует другие понятия, чем те, которые использовались в XVI веке; многие прежние понятия (род, вид, признаки) применяются по-новому, другие появляются впервые (как понятие структуры), а некоторые (как понятие организма) сформируются позднее. Но что именно в XVII веке было изменено и с тех пор будет управлять появлением и рекуррентностью понятий во всей Естественной истории, так это общее расположение высказываний и их постановка в ряд в детерминированных совокупностях; это способ перезаписывать то, что мы наблюдаем, и по ходу высказываний восстанавливать путь восприятия; это связь и изменение субординаций между процессами описания, артикулирования при помощи отличительных признаков, характеризации и классификации; это взаимная позиция частных наблюдений и общих принципов; это система зависимости между тем, что мы узнали, что увидели, что выводим, что допускаем как вероятное, что постулируем. В XVII и XVIII веках Естественная история — это не про-

сто форма познания, которая дала новое определение понятиям «род» или «признак» или ввела такие новые понятия, как «естественная классификация» или «млекопитающее»; прежде всего, это совокупность правил построения высказываний в ряды, это обязательная совокупность схем зависимостей, порядка и последовательностей, где распределяются рекуррентные элементы, которые могут расцениваться как понятия.

*b*) Конфигурация поля высказывания содержит также формы *сосуществования*. Сначала они очерчивают *поле присутствия* (под этим нужно понимать все, уже где-то сформулированные высказывания, которые воспроизведены в каком-либо дискурсе в качестве признанной истины, точного описания, обоснованного или необходимо допущенного умозаключения; под этим необходимо также понимать те высказывания, которые критикуются, обсуждаются и оцениваются, а также и те, которые отбрасываются или исключаются); в этом поле присутствия установленные связи могут относиться к порядку экспериментальной верификации, или установления логической валидности или простого повторения, или использования, оправданного традицией и авторитетом, или комментария, или поиска скрытых значений, или же анализа ошибок; эти связи могут быть эксплицитными (иногда даже сформулированными в специализированных типах высказываний: ссылки, критические обсуждения) или имплицитными и представленными как обыкновенные высказывания. И здесь также легко констатировать, что поле присутствия Естественной истории в классическую эпоху подчиняется иным формам, иным критериям выбора и иным принци-

пам исключения, чем в ту эпоху, когда Альдрованди[29] объединял в одном и том же тексте о чудовищах все то, что могло быть когда-то увидено, замечено, рассказано, тысячу раз передано из уст в уста и даже придумано поэтами. Кроме того, мы можем описать — отличное от поля присутствия — *поле сосуществований* (здесь речь идет о высказываниях, которые затрагивают совершенно иные области объектов и принадлежат к совершенно различным типам дискурса, но тем не менее действуют среди изучаемых высказываний либо потому, что они служат подтверждением по аналогии, либо потому, что они служат общим принципом и принятыми посылками для умозаключения, либо потому, что они служат моделями, которые мы можем перенести на иное содержание, либо, наконец, потому, что они действуют как высшая инстанция,.с которой необходимо сопоставить и которой необходимо подчинить по крайней мере некоторые из утверждаемых высказываний): так, поле сосуществований Естественной истории для эпохи Линнея и Бюффона определяется некоторым числом связей с космологией, с историей земли, с философией, с теологией, со Священным Писанием и библейской экзегезой, с математикой (как с наукой о порядке в самой общей форме), и все перечисленные связи противопоставляют это поле как дискурсу натуралистов XVI века, так и дискурсу биологов XIX века. Наконец, поле высказывания предполагает то, что можно было бы назвать *областью памяти* (речь идет о высказываниях, которые больше не признаются и не обсуждаются и которые, следовательно, больше

[29] *Альдрованди Улисс* (1522–1605) — итальянский врач и естествоиспытатель. — *Прим. ред.*

не определяют ни всю совокупность истин, ни область валидности, но с которыми устанавливаются отношения родства, генезиса, преобразования, исторической непрерывности и прерывности): так, начиная с Турнефора[30], поле памяти Естественной истории предстает чрезвычайно узким и бедным по своим формам, когда мы сравниваем его со столь широким, столь кумулятивным, столь специфицированным полем памяти, которое начиная с XIX века приобрела биология; и наоборот, оно кажется гораздо лучше определенным и лучше артикулированным, чем поле памяти, окружавшее в эпоху Возрождения историю растений и животных, поскольку в то время оно едва отличалось от поля присутствия; оно имело одинаковые с ним протяженность и форму и предполагало те же самые связи.

с) Наконец, мы можем определить *процедуры вмешательства*, которые с полным правом могут быть применены к высказываниям. В действительности, не для всех дискурсивных формаций эти процедуры одинаковы; каждая формация может быть специфицирована теми процедурами, которые в ней использованы (и только этими процедурами), связями, возникающими между ними и создаваемыми таким образом совокупностями. Эти процедуры могут возникать: в *техниках переложения* (как, например, тех, которые позволили натуралистам классического века переложить линейные описания в классификационные таблицы, имеющие иные законы и иную конфигурацию, чем списки и группы

[30] *Турнефор Жозеф Питтон де* (1656–1708) — французский ботаник и путешественник. Разработал систематизацию растений, основанную на строении венчика. — *Прим. ред.*

родства, составленные в Средние века или эпоху Возрождения); в *методах транскрипции* высказываний (артикулированных в естественном языке) в соответствии с более или менее формализованным и искусственным языком (мы находим его замысел, и даже до некоторой степени его реализацию у Линнея и Адансона[31]); в *способах перевода* количественных высказываний в качественные формулировки и наоборот (установление отношения между чисто перцептивными описаниями и измерениями); в средствах, использованных для увеличения *аппроксимации* высказываний и совершенствования их точности (начиная с Турнефора, структурный анализ на основе формы, числа, величины и расположения элементов позволил более значительную и, что важнее, более постоянную аппроксимацию дескриптивных высказываний); в том способе, каким заново *разграничивают* — расширяя или сужая — область валидности высказываний (акт высказывания, касающийся структурных характеристик, был сужен в период от Турнефора до Линнея, а затем вновь расширен в период от Бюффона до Жюсье[32]); в способе, которым *переносят* определенный тип высказывания из одного поля применения в другое (как перенос характеризации растений на таксономию животных; или перенос описания поверхностных черт на внутренние элементы организма); в методах *систематизации* уже существующих суждений, поскольку они были

[31] *Адансон Мишель* (1727–1806) — французский ботаник. В труде «Семейства растений» (1763) впервые применил математические методы в систематике видов. — *Прим. ред.*

[32] *Жюсье Бернар* (1699–1777) — французский ботаник, один из реформаторов систематики растений. — *Прим. ред.*

сформулированы прежде, но в обособленном друг от друга виде; или же в методах перераспределения уже связанных друг с другом высказываний, которые перестраивают в новую систематическую совокупность (так, Адансон использует естественные характеризации, которые могли быть выполнены как до него, так и им самим, в совокупности искусственных описаний, предварительную схему которых он построил при помощи абстрактной комбинаторики).

Эти элементы, анализ которых мы предлагаем, достаточно разнородны. Одни образуют правила формального построения, другие — риторические приемы; одни определяют внутреннюю конфигурацию текста, другие — формы отношений и взаимодействия между различными текстами; одни являются характеристиками четко определенной эпохи, другие имеют давнее происхождение (origine) и чрезвычайно большой хронологический охват. Но что принадлежит только дискурсивной формации и позволяет отграничить группу специфичных для нее, хотя и разрозненных понятий, — это тот способ, которым эти различные элементы связываются друг с другом: например, тот способ, каким упорядоченность описаний или рассказов связана с техниками переложения; или способ, каким поле памяти связано с формами иерархии и субординации, управляющими высказываниями какого-либо текста; или тот способ, каким связаны формы аппроксимации и развития высказываний и формы критики, комментариев и интерпретации уже сформулированных высказываний, и т. д. Этот пучок отношений и образует систему формирования понятий.

Описание подобной системы, по-видимому, непригодно для прямого и непосредственного описания самих понятий. Речь идет не о том, чтобы создать их исчерпывающий перечень, установить их возможные общие черты, предпринять их классификацию, измерить их внутреннюю связность или проверить их взаимную совместимость; мы не берем в качестве объекта анализа понятийное построение отдельного текста, творчества отдельного автора или какой-либо науки в определенный момент времени. Мы держимся на расстоянии по отношению к этому очевидному набору понятий и пытаемся определить, по каким схемам (построение в ряд, одновременное объединение, линейное или взаимное видоизменение) высказывания могут быть связаны друг с другом в определенном типе дискурса; таким образом, мы пытаемся установить, как рекуррентные элементы высказываний могут вновь появляться, разъединяться, перестраиваться, преобладать в распространении или детерминации, включаться в новые логические структуры и, наоборот, приобретать новые семантические содержания и создавать между ними частные объединения. Эти схемы позволяют описать не законы внутреннего построения понятий, не их поступательный и индивидуальный генезис в разуме человека, а их анонимное рассеивание по текстам, книгам и произведениям. Рассеивание, которое характеризует определенный тип дискурса и которое определяет среди понятий формы дедукции, деривации, связности, а также несовместимости, перекрещивания, замещения, исключения, взаимного искажения, перемещения и т. д. Таким образом, подобный анализ в каком-то смысле на *допонятийном* уровне затрагивает то поле, где могут со-

существовать понятия, и те правила, которым подчиняется это поле.

Чтобы уточнить, что здесь нужно понимать под словом «допонятийный», я вновь воспользуюсь примером четырех «теоретических схем», рассмотренных в «Словах и вещах» и характеризующих в XVII и XVIII веках Всеобщую грамматику. Эти четыре схемы — атрибуция, сочленение, обозначение и деривация — не обозначают понятия, действительно используемые классическими грамматистами; они также не позволяют воспроизвести поверх различных трудов по грамматике что-то вроде более общей, более абстрактной, более бедной системы, которая тем самым обнаружила бы глубинную совместимость этих различных, внешне противоположных систем. Они позволяют описать:

1. Каким образом могут упорядочиваться и развертываться различные грамматические анализы и какие формы последовательности возможны между анализами имени существительного, анализами глагола и анализами прилагательного; между анализами, относящимися к фонетике, и анализами, относящимися к синтаксису; между анализами, относящимися к праязыку и анализами, дающими основания для искусственного языка? Эти различные возможные порядки заданы отношениями зависимости, которые мы можем выделить между теориями атрибуции, сочленения, обозначения и деривации.

2. Каким образом всеобщая грамматика определяет для себя область валидности (на основании каких критериев можно спорить об истинности или ложности суждения); каким образом она создает

для себя область *нормативности* (по каким критериям мы исключаем некоторые высказывания как не соответствующие этому дискурсу, или как несущественные и маргинальные, или как ненаучные); каким образом она создает для себя область *актуальности* (включающую найденные решения, определяющую существующие проблемы, распределяющую по местам вышедшие из употребления понятия и утверждения).

3. Какие отношения всеобщая грамматика поддерживает с Матезисом (с картезианской и посткартезианской алгеброй, с проектом всеобщей науки о порядке), с философским анализом представления и теорией знаков, с Естественной историей, с проблемами характеризации и таксономии, с анализом богатств и проблемами произвольно устанавливаемых знаков меры и обмена: выделяя эти отношения, мы можем определить пути, которые обеспечивают между областями циркуляцию, перенос, видоизменение понятий, искажение их формы или изменение зоны их применения. Сеть, образованная всеми четырьмя теоретическими сегментами, не определяет логического построения всех понятий, используемых авторами грамматик; она очерчивает закономерное пространство их формирования.

4. Каким образом стали одновременно или последовательно возможны (в форме альтернативного выбора, видоизменения или подмены) различные концепции глагола «быть», связки, глагольной основы и окончания (для теоретической схемы *атрибуции*); различные концепции фонетических элементов, алфавита, имени существительного и при-

лагательного (для теоретической схемы *сочленения*); различные понятия имени собственного и имени нарицательного, указательного местоимения, именного корня, слога или выражающего значение звука (для теоретического сегмента *обозначения*); различные понятия праязыка и производного языка, метафоры и фигуры, поэтического языка (для теоретического сегмента *деривации*).

Выделенный таким образом «допонятийный» уровень не отсылает ни к горизонту идеальности, ни к эмпирическому генезису абстракций. Этот уровень — не горизонт идеальности, утвержденный, открытый или установленный неким основополагающим действием, и именно в этой исходной точке он, вероятно, избегает всякого хронологического включения. Этот уровень, располагающийся на границах истории, не является априорным уровнем, неисчерпаемым по своей сути, отстраненным, поскольку, вероятно, избегает всякого начала и всякого воссоздания собственного генезиса, и вместе с тем отстоящим во времени, поскольку он, вероятно, никогда не может быть современным самому себе в пределах какой-либо эксплицитной целостности. Действительно, мы ставим вопрос на уровне самого дискурса, который является уже не внешним толкованием понятий, а местом их возникновения; мы не связываем константы дискурса с идеальными структурами понятия, а описываем понятийную сеть, исходя из внутренне присущих дискурсу закономерностей; мы не подчиняем многообразие (multiplicité) актов высказывания связности понятий, а ее, в свою очередь, — безмолвной сосредоточенности метаисторической идеальности; мы выстраива-

ем обратную последовательность (série inverse): мы помещаем ясные ориентиры непротиворечивости в запутанную сеть совместимости и несовместимости понятий; и мы соотносим это переплетение с правилами, характеризующими дискурсивную практику. Тем самым уже не нужно обращаться к темам бесконечно удаленного во времени истока и неисчерпаемого горизонта: в практике дискурса организация совокупности правил, даже если она не образует события, место которого определить столь же легко, как появление той или иной формулировки или открытия, может быть тем не менее определена в области истории; и если данная совокупность неисчерпаема, то причина этого состоит в том, что вполне поддающаяся описанию система, которую она образует, объясняет очень широкий набор понятий и весьма значительное число преобразований, затрагивающих одновременно и эти понятия, и их отношения. Описанное таким образом «допонятийное» не очерчивает того горизонта, который появлялся бы из глубины истории и сохранялся бы в ней, а, напротив, на самом «поверхностном» уровне (на уровне дискурсов) оказывается совокупностью правил, которые там действительно применяются.

Мы видим, что речь не идет также и об установлении генезиса абстракций, пытающегося обнаружить ряд операций, которые позволили их конституировать: глобальные интуиции, открытие частных случаев, устранение мнимых тем, столкновения с теоретическими или техническими препятствиями, последовательные заимствования из традиционных моделей, определение адекватной формальной структуры и т. д. В предлагаемом здесь анализе правила формирования находятся не в «ментальности»

или сознании индивидов, а в самом дискурсе и, следовательно, в соответствии с некой единообразной анонимностью они предписываются всем индивидам, намеревающимся говорить в этом дискурсивном поле. С другой стороны, мы не признаем их универсально пригодными для любых областей; мы всегда описываем их в определенных дискурсивных полях и с самого начала не признаем за ними бесконечных возможностей распространения. Самое большее, что мы можем сделать, это путем систематического сравнения сопоставить правила формирования понятий, существующие для различных территорий: именно так мы пытались выделить тождества и различия, которые эти совокупности правил могли представлять в классическую эпоху во Всеобщей грамматике, в Естественной истории и в Анализе богатств. В каждой из этих областей совокупности правил, которые должны характеризовать единичную и четко индивидуализированную дискурсивную формацию, являются достаточно специфичными; но они представляют и достаточно аналогий для того, чтобы можно было увидеть, как эти различные формации образуют более обширное дискурсивное объединение, находящееся на более высоком уровне. Во всяком случае, какова бы не была их общность (totalité), правила формирования понятий не являются результатом осуществленных индивидами действий, которые были помещены в историю и отложились в толще коллективных привычек; они не образуют схему, лишенную всей той смутной работы, в ходе которой сквозь иллюзии, предубеждения, заблуждения и традиции и возникают, вероятно, понятия. Допонятийное поле позволяет появиться дискурсивным закономерностям и

принуждениям, сделавшим возможным разнородное многообразие понятий и, сверх того, изобилие тех тем, верований и представлений, к которым охотно обращаются, когда создают историю идей.

Мы видели, что для анализа правил формирования объектов не нужно было ни укоренять их в вещах, ни соотносить их с областью слов; для анализа формирования типов высказываний не нужно было соотносить их ни с познающим субъектом, ни с психологией индивида. Точно так же для анализа формирования понятий не нужно соотносить их ни с горизонтом *идеальности*, ни с эмпирическим движением *идей*.

## VI. *Формирование стратегий*

Такие дискурсы, как экономика, медицина, грамматика, наука о живых существах, порождают определенные организации понятий, определенные перегруппирования объектов, определенные типы актов высказывания, которые в зависимости от степени связности, строгости и устойчивости формируют темы или теории: в грамматике XVIII века — тему праязыка, из которого, вероятно, происходят все остальные языки и память о котором, иногда поддающуюся расшифровке, они, по-видимому, несут в себе; в филологии XIX века — теорию родства, более близкого или более отдаленного, между всеми индоевропейскими языками и существования архаического наречия, послужившего, вероятно, общей для них исходной точкой; в XVIII веке — тему эволюции видов, развивающей во времени непре-

рывность существования природы и объясняющей существующие лакуны таксономической таблицы; у Физиократов — теорию обращения богатств, создаваемых сельскохозяйственным производителем. Эти темы и теории, независимо от их формального уровня, мы будем условно называть «стратегиями». Проблема заключается в том, чтобы узнать, каким образом они распределяются в истории. Может быть, это необходимость связывает их воедино, делает неизбежными, определяет их очередность и превращает их в последовательные решения одной и той же проблемы? Или все дело в случайных встречах между идеями, имеющими различное происхождение (origine), между влияниями, открытиями, общим характером размышлений и теоретическими моделями, которые терпение или гениальность индивидов, вероятно, выстраивает в более или менее четко организованные совокупности? Важно только одно: чтобы можно было обнаружить между ними закономерность (régularité) и чтобы тем самым можно было определить общую систему их формирования.

Что касается анализа этих стратегий, то здесь мне достаточно трудно входить в детали. Причина этого проста: в различных дискурсивных областях, инвентаризация которых была мною осуществлена, возможно, в значительной степени, наугад, а в самом вначале и без достаточного методологического контроля, речь всякий раз шла о том, чтобы описать дискурсивную формацию во всех ее измерениях и в соответствии с ее собственными характеристиками: таким образом, всякий раз было необходимо определить правила формирования объектов, модальностей высказывания, понятий и теоретических выбо-

ров. Но оказалось, что основная трудность анализа и то, что требовало наибольшего внимания, каждый раз были различны. В «Истории безумия» я имел дело с дискурсивной формацией, точки теоретических выборов которой достаточно легко было выделить, понятийные системы которой были относительно немногочисленны и несложны и, наконец, режим высказываний которой был достаточно однороден и монотонен; но зато проблема заключалась в возникновении целой совокупности весьма сложных и запутанных объектов; речь шла о том, чтобы прежде всего описать формирование этих объектов для выделения совокупности психиатрического дискурса во всей ее специфичности. В «Рождении клиники» исследование главным образом было сосредоточено на том, каким образом с конца XVIII века и до начала XIX века видоизменялись формы акта высказывания медицинского дискурса; таким образом, анализ в меньшей степени касался формирования понятийных систем или формирования теоретических выборов, чем статуса, институционального расположения, ситуации и способов включенности субъекта, создающего дискурс. Наконец, в «Словах и вещах» исследование в основном касалось таких понятийных сетей и правил их формирования (тождественных или различных), которые мы могли выделить во Всеобщей грамматике, Естественной истории и Анализе богатств. Что касается стратегических выборов, то их место и импликации были указаны (будь то, например, в отношении Линнея и Бюффона или Физиократов и Утилитаристов), но определение их положения оставалось обобщенным и анализ не задерживался на их формировании. Скажем, что анализ теоретических вы-

боров остается еще незавершенным вплоть до последующего исследования, в котором он сможет оказаться в центре внимания.

А пока можно лишь указать только направления исследования. Их можно было бы резюмировать следующим образом:

1. Определить возможные *точки дифракции* дискурса. В первую очередь они характеризуются как *точки несовместимости*: в одной и той же дискурсивной формации два объекта, или два типа акта высказывания, или два понятия могут появиться, не имея возможности — в силу явного противоречия или непоследовательности — войти в один и тот же ряд высказываний. Затем они характеризуются как *точки эквивалентности*: это два несовместимых элемента, сформированных одним и тем же способом на основании одних и тех же правил; условия их появления тождественны; они располагаются на одном уровне; и вместо того чтобы образовывать простой недостаток связности, они формируют некую альтернативу: даже если хронологически они и не появляются одновременно, даже если они не получили одинаковой значимости и не были равным образом представлены в популяции наличных высказываний, — все равно они предстают в форме «или... или...». Наконец, они характеризуются как *точки сцепления определенной систематизации*: исходя из каждого из этих элементов, одновременно эквивалентных и несовместимых, были выведены связные ряды объектов, форм высказывания, понятий (возможно, с новыми точками несовместимости в каждом ряду). Говоря другими словами, рассеивания, исследованные на предыдущих уровнях, образуют не просто расхождения, нетожде-

ственности, прерывистые ряды, лакуны: иногда они формируют дискурсивные под-совокупности — те самые, которым обычно придают решающее значение, как если бы они были тем непосредственно данным единством и тем первичным материалом, из которого создаются более широкие дискурсивные совокупности («теории», «концепции», «темы»). Например, в анализе, подобном этому, мы не учитываем, что Анализ богатств в XVIII веке — это результирующая (образованная путем одновременного сложения или хронологической последовательностью) большого числа различных концепций денег, обмена предметами потребления, образования стоимости и цен или земельной ренты; мы не учитываем, что этот анализ, вероятно, был создан из идей Кантильона, пришедших на смену идеям Петти, из опыта Лоу, поочередно осмысленного разными теоретиками, или из физиократической системы, противоположной утилитаристским концепциям. Скорее, мы описываем его как единство распределения, которое открывает поле возможных предпочтений и позволяет различным и несовместимым построениям возникать одно из другого, располагаясь друг подле друга или последовательно.

2. Но на деле реализованы не все возможности: конечно же, существуют частичные совокупности, локальные совместимости, связные построения, которые могли бы возникнуть, но так и не проявились. Для того чтобы объяснить те (и только те) выборы, которые действительно были осуществлены из числа всех возможных, которые могли бы быть реализованы, необходимо описать специфические инстанции решения. Среди них главной оказывается та роль, которую изучаемый дискурс иг-

рает по отношению к современным ему и соседствующим с ним дискурсам. Следовательно, нужно изучить *устройство дискурсивной констелляции*, к которой он принадлежит. В самом деле, он может играть роль формальной системы, приложениями которой к разным семантическим полям являются, вероятно, другие дискурсы; и наоборот, он может играть роль конкретной модели, которую необходимо соотнести с другими дискурсами более высокого уровня абстракции (таким образом, в XVII и XVIII веках Всеобщая грамматика появляется как частная модель представления и общей теории знаков). Изучаемый дискурс может также находиться в отношении аналогии, оппозиции или комплементарности с некоторыми другими дискурсами (например, в классическую эпоху существует отношение аналогии между Анализом богатств и Естественной историей: для представления потребности и желания Анализ богатств является тем же самым, чем для представления восприятий и суждений является Естественная история; мы также можем отметить, что Естественная история и Всеобщая грамматика находятся в оппозиции друг к другу как теория естественных признаков и теория конвенциональных знаков; в свою очередь, обе они находятся в оппозиции к анализу богатств как изучение качественных знаков к изучению количественных знаков меры; наконец, каждая из них разрабатывает одну из трех комплементарных ролей знака представления: обозначать, классифицировать, обменивать). Наконец, мы можем описать отношения взаимного ограничения, существующие между несколькими дискурсами, так как каждый из них присваивает себе отличительные признаки своей единичности за счет дифференциации своей об-

ласти, своих методов, своих инструментов и своей сферы применения (это относится и к психиатрии, и к органной медицине, которые до конца XVIII века практически не различались, и лишь начиная с этого момента намечается расхождение, характеризующее каждую из них). Весь этот набор отношений образует принцип детерминации, допускающий или исключающий некоторое число высказываний внутри данного дискурса: существуют понятийные систематизации, цепочки высказываний, группы и организации объектов, которые, вероятно, были бы возможны (и отсутствие которых ничто не может оправдать на уровне их собственных правил формирования), но которые исключены дискурсивной констелляцией более высокого уровня и имеющей более широкое распространение. Таким образом, дискурсивная формация занимает не весь возможный объем, который открывают ей *de jure* системы формирования ее объектов, ее актов высказывания и понятий; она в высшей степени лакунарна в силу системы формирования ее стратегических выборов. Отсюда тот факт, что любая данная дискурсивная формация, вновь взятая, размещенная и проинтерпретированная в новой констелляции, может проявлять новые возможности (так, в современном распределении научных дискурсов Грамматика Пор-Рояля или Таксономия Линнея могут высвобождать те элементы, которые по отношению к ним являются одновременно и внутренне им присущими, и невысказанными); однако в этом случае речь идет не о безмолвном содержании, которое оставалось бы имплицитным, которое было бы выражено, не будучи высказанным, и под явными высказываниями образовывало бы нечто вроде более фундамен-

тального под-дискурса, наконец-то вновь выходящего на свет; речь идет о видоизменении в самом принципе исключения и возможности выборов, о видоизменении, вызванном включенностью в новую дискурсивную констелляцию.

3. Детерминация реально осуществленных теоретических выборов зависит также и от другой инстанции. Прежде всего, эта инстанция характеризуется *функцией*, которую изучаемый дискурс должен осуществлять в поле *недискурсивных практик*. Так, Всеобщая грамматика сыграла определенную роль в педагогической практике; гораздо более явным и значительным образом анализ богатств сыграл свою роль не только в политических и экономических решениях правительств, но и в повседневных, едва концептуализированных, едва только получивших теоретическое осмысление практиках нарождающегося капитализма, и в социальной и политической борьбе, характерной для классической эпохи. Эта инстанция предполагает также *порядок и процессы присвоения* дискурса, ибо в наших обществах (и, вероятно, во многих других) право собственности на дискурс — воспринимаемое одновременно как право говорить, как компетентность в понимании, как узаконенный и непосредственный доступ к корпусу уже сформулированных высказываний и, наконец, как способность облекать этот дискурс в решения, в социальные институты или в практики, закреплено на деле (иногда даже регламентированным образом) за точно определенной группой индивидов; в буржуазных обществах, которые были известны уже с XVI века, экономический дискурс никогда не был общим для всех (так же как дискурс медицинский или дискурс литературный,

хотя и несколько по-иному). Наконец, эта инстанция характеризуется *возможными позициями желания по отношению к дискурсу*: действительно, дискурс может быть местом мизансцены, наполненной фантазмами, средой символизации, формой запрета, инструментом производного удовлетворения (эта возможность находиться в отношении с желанием является не просто фактом поэтического, прозаического или воображаемого осуществления дискурса: дискурсы о богатстве, о языке, о природе, о безумии, о жизни и смерти и, возможно, многие другие, значительно более абстрактные, могут занимать по отношению к желанию строго детерминированные позиции). В любом случае анализ этой инстанции должен показать, что ни отношение дискурса к желанию, ни процессы его присвоения, ни его роль среди недискурсивных практик не являются внешними для его единства, для его характеризации и законов его формирования. Как представляется, вовсе не разрушительные элементы, наслаиваясь на чистую, нейтральную, вневременну́ю и безмолвную форму дискурса, оттесняют его и заставляют звучать на его месте некий травестированный дискурс — это делают как раз формирующие элементы.

Дискурсивная формация будет индивидуализирована в том случае, если мы сможем определить систему формирования различных стратегий, которые в ней разворачиваются; говоря другими словами, если мы сможем показать, каким образом все они выводятся из одного и того же набора связей (несмотря на их, иногда крайнее, разнообразие, несмотря на их рассеивание во времени). Например, в XVII

и XVIII веках анализ богатств характеризуется системой, которая смогла одновременно сформировать меркантилизм Кольбера и «неомеркантилизм» Кантильона, стратегию Лоу и стратегию Пари-Дюверне[33], предпочтения физиократов и предпочтения утилитаристов. И мы определим эту систему, если сможем описать, каким образом точки дифракции экономического дискурса выводятся друг из друга, воздействуют друг на друга и предусматривают друг друга (каким образом из решения, связанного с понятием стоимости, выводится точка выбора, связанная с ценами); каким образом сделанные выборы зависят от общей констелляции, в которой фигурирует экономический дискурс (выбор в пользу монеты-знака связан с местом, занимаемым анализом богатств наряду с теорией языка, анализом представлений, Матезисом и наукой о порядке); каким образом эти выборы связаны с функцией, которую занимает экономический дискурс в практике нарождающегося капитализма, с процессом присвоения, объектом которого он является для буржуазии, с ролью, которую он может играть в реализации интересов и желаний. В классическую эпоху экономический дискурс определяется некоторым постоянным способом установления отношений между

[33] *Кольбер Жан Батист* (1619–1683) — министр финансов Франции с 1665 года. Кольбертизм — одна из разновидностей меркантилизма. *Кантильон Ричард* (1680–1734) — банкир, экономист и демограф, первым предпринял попытку представить кругооборот промышленного капитала в форме наглядной схемы. *Лоу Джон* (1671–1729) — шотландский финансист. *Пари-Дюверне Жозеф* (1684–1777) — французский финансист, будучи министром финансов проводил последовательное реформирование финансовой системы королевства. — *Прим. ред.*

внутренними для дискурса возможностями систематизации, другими внешними для него дискурсами и всем недискурсивным полем практик, присвоения, интересов и желаний.

Надо заметить, что описанные таким образом стратегии не закрепляются по эту сторону дискурса в немой глубине выбора, в одно и то же время и предварительного и основополагающего. Все эти объединения высказываний, которые мы должны описать, не являются ни выражением некоего вúдения мира, которое было, вероятно, разменяно на слова, ни лицемерным толкованием интереса, скрывающегося под видом теории: в классическую эпоху естественная история — это нечто иное, чем столкновение в той неопределенности, которая предшествует явной истории, между (линнеевским) видением статичного, упорядоченного, подразделенного и мудро подчиненного классификационной сетке с самого момента своего появления универсума и еще немного смутным восприятием природы — наследницы времени с бременем ее случайностей, открытой для возможностей эволюции; точно так же анализ богатств — это нечто иное, нежели конфликт интересов между буржуазией, ставшей земельной собственницей, выражающей свои экономические или политические притязания через физиократов, и торговой буржуазией, добивающейся протекционистских или либеральных мер при посредничестве утилитаристов. Ни Анализ богатств, ни Естественная история, если мы задаем им вопрос на уровне их существования, их единства, их перманентности и их преобразований, не могут рассматриваться как сумма этих различных предпочтений. Наоборот, эти предпочтения должны быть описаны как сис-

тематически различные способы трактовать объекты дискурса (разграничивать их, перегруппировать или разделять их, соединять или выводить их друг из друга), располагать формы акта высказывания (выбирать их, расставлять их по местам, выстраивать ряды, составлять из них большие риторические единства) и манипулировать понятиями (давать им правила применения, вводить их в региональные связности и создавать таким образом понятийные построения). Эти предпочтения не являются зародышами дискурса (где они были бы заранее детерминированы и предвосхищены в квазимикроскопической форме); это упорядоченные (и как таковые поддающиеся описанию) способы применения возможностей дискурса.

Однако эти стратегии также не должны анализироваться как вторичные элементы, которые накладывались бы на дискурсивную рациональность, вероятно, независимую от них *de facto*. Не существует (или, по крайней мере, нельзя допустить этого для исторического описания, возможности которого мы здесь намечаем) какого-то идеального дискурса, одновременно окончательного и вневременного, который был бы извращен, опрокинут, подавлен и оттеснен в возможно весьма отдаленное будущее внешними по происхождению выборами; например, мы не должны полагать, что он покоится на природе или устройстве двух наложенных друг на друга и перепутанных дискурсов, один из которых — медленно развивающийся, аккумулирующий свои приобретения и постепенно сам себя дополняющий (т. е. дискурс подлинный, но существующий в своей чистоте только в телеологических пределах истории), а другой — всегда разрушенный, всегда возобновленный, суще-

ствующий в непрерывном разрыве с самим собой, составленный из разнородных фрагментов (дискурс, выражающий частное мнение, — тот, который история в своем движении отбрасывает в прошлое). Не существует точной естественной таксономии, кроме как в фиксизме; без предпочтений и иллюзий торговой буржуазии не существует подлинной экономики обмена и выгоды. Классическая таксономия или анализ богатств в том виде, в каком они действительно существовали и конституировали исторические фигуры, включает в себя в сочлененной, но неразъединимой системе объекты, акты высказывания, понятия *и* теоретические выборы. И как формирование объектов не нужно было связывать ни со словами, ни с вещами, как формирование актов высказывания не нужно было связывать ни с чистой формой познания, ни с психологическим субъектом, а формирование понятий — ни со структурой идеальности, ни с последовательностью идей, точно так же не нужно связывать формирование теоретических выборов ни с основополагающим *замыслом*, ни с вторичным набором *мнений*.

## VII. *Замечания и следствия*

Теперь необходимо вернуться к кое-каким замечаниям, разбросанным в предыдущих анализах, ответить на некоторые из вопросов, которые они ставят и, прежде всего, рассмотреть возражение, угроза выдвижения которого предстает со всей очевидностью, поскольку тотчас же обнаруживается парадокс нашего начинания.

С самого начала я поставил под сомнение те предустановленные единства, в соответствии с которыми мы традиционно членим неопределенную, однообразную, увеличивающуюся в объеме область дискурса. Речь шла вовсе не о том, чтобы оспорить всякую ценность этих единств или попытаться запретить их применение; наоборот, нужно было показать, что для своего точного определения эти единства требуют теоретической разработки. Однако — и именно в этом все предшествующие анализы представляются весьма проблематичными — была ли необходимость в том, чтобы на эти, действительно несколько ненадежные единства накладывать другую категорию единств, менее наглядных, более абстрактных и, наверняка, гораздо более проблематичных? Даже в том случае, когда их исторические границы и специфичность их организации достаточно легко ощутимы (свидетельство тому Всеобщая грамматика или Естественная история), эти дискурсивные формации ставят гораздо более сложные проблемы, связанные с выделением единств, чем это имеет место в случае с книгой или творчеством автора. Таким образом, ради чего приниматься за столь неопределенные перегруппирования в тот самый момент, когда мы ставим под сомнение даже те из них, которые казались наиболее очевидными? Какую новую область надеемся мы обнаружить? Найти какие отношения, пребывавшие до сих пор неясными или имплицитными? Какие преобразования, еще не затронутые историками? Короче, какую дескриптивную эффективность можем мы закрепить за этими новыми анализами? Дать ответ на все эти вопросы я и попытаюсь в дальнейшем. Но уже сейчас необходи-

мо ответить на вопрос, являющийся исходным для предстоящих анализов и завершающим для анализов предшествующих: действительно ли мы вправе говорить как о единствах о тех дискурсивных формациях, которые я попытался определить? Способен ли вырез, который мы здесь предлагаем, индивидуализировать совокупности? И какова природа единства, обнаруженного или построенного таким образом?

Мы исходили из следующего утверждения: при рассмотрении единства такого дискурса, как дискурс клинической медицины, политической экономии или естественной истории, мы имеем дело с рассеиванием элементов. Однако само это рассеивание — с его лакунами, прорывами, переплетениями, с его наложениями, несовместимостями, с его заменами и подменами — может быть описано в его единичности только в том случае, если мы способны определить специфические правила, в соответствии с которыми были сформированы объекты, акты высказывания, понятия и теоретические предпочтения: если единство существует, то оно вовсе не находится в видимой и горизонтальной связности сформированных элементов; оно пребывает именно по эту сторону, в системе, которая делает возможным их формирование и управляет им. Но на каком основании мы можем говорить о единствах и системах? Как можно утверждать, что мы вполне индивидуализировали дискурсивные совокупности? Как можно это говорить, если мы весьма смело ввели — за внешне неустранимым многообразием объектов, актов высказывания, понятий и выборов — массу элементов, ничуть не менее многочисленных, не менее рассеянных, но ко всему еще и гораздо более раз-

нородных по отношению друг к другу? Как можно это говорить, если мы разместили все эти элементы по четырем отдельным группам, способ сочленения которых почти не был определен? И в каком смысле можем мы говорить, что все эти элементы, обнаруженные за объектами, актами высказывания, понятиями и дискурсивными стратегиями, подтверждают существование совокупностей, поддающихся индивидуализации в не меньшей степени, чем творчество автора или книги?

1. Мы уже видели и, вероятно, нет необходимости к этому возвращаться, что, когда мы говорим о системе формирования, мы подразумеваем не только соположение рядов, сосуществование или взаимодействие разнородных элементов (социальных институтов, технологий, социальных групп, типов перцептивной организации, отношений между различными дискурсами), но и установление отношений между ними — в четко определенной форме — через дискурсивную практику. Но как, в свою очередь, обстоит дело с этими четырьмя пучками отношений? Каким образом могут они определить для всех этих элементов единую систему формирования?

Дело в том, что определенные таким образом различные уровни не являются независимыми друг от друга. Мы показали, что стратегические выборы не возникают непосредственно из ви́дения мира или из преобладания интересов, вероятно, присущих тому или иному говорящему субъекту; мы показали, что сама их возможность детерминирована точками дивергенции в наборе понятий; мы показали также, что понятия вовсе не были сформированы непо-

средственно на нечеткой, смутной и живой основе идей, но сформировались исходя из форм сосуществования между высказываниями. Что же касается модальностей актов высказывания, то мы видели, что они были описаны исходя из той позиции, которую занимает субъект по отношению к области объектов, о которых он говорит. Таким образом, существует вертикальная система зависимостей: не все позиции субъекта, не все типы сосуществования между высказываниями, не все дискурсивные стратегии являются одинаково возможными, но лишь те, которые разрешены предшествующими уровнями; например, если дана система формирования, которая управляет в XVIII веке объектами естественной истории (как некими индивидуальностями–носителями признаков и в силу этого поддающимися классификации, как структурными элементами, восприимчивыми к вариациям, как поверхностями, которые можно увидеть и проанализировать, как полями непрерывных и закономерных различий), то некоторые модальности акта высказывания исключаются (например, расшифровка знаков), а другие, наоборот, предполагаются (например, описание в соответствии с определенным кодом). Точно так же если даны различные позиции, которые может занимать субъект, производящий дискурс (как субъект, наблюдающий без посредничества инструментов, как субъект, выделяющий из воспринимаемого множества вещей лишь элементы структуры, или как субъект, транскрибирующий эти элементы в кодифицированный словарь, и т. д.), то среди высказываний обнаруживается определенное число сосуществований, которые должны быть исключены (как, например, ученая ре-

активация уже-сказанного или экзегетический комментарий к сакрализованному тексту), а другие сосуществования, наоборот, оказываются возможными или необходимыми (как интеграция полностью или частично аналогичных высказываний в классификационную таблицу). Таким образом, уровни несвободны относительно друг друга и не разворачиваются в соответствии с безграничной автономией: от первичной дифференциации объектов до формирования дискурсивных стратегий существует целая иерархия отношений.

Но и в обратном направлении отношения устанавливаются точно так же. Нижние уровни не являются независимыми от высших для них уровней. В осуществляющих их высказываниях теоретические выборы исключают или предусматривают формирование некоторых понятий, то есть некоторых форм сосуществования между высказываниями: так, в текстах физиократов мы найдем иные способы интеграции количественных данных и измерений, чем в анализах, выполненных утилитаристами. Это вовсе не означает, что предпочтение физиократов может видоизменить совокупность правил, обеспечивающих формирование экономических понятий в XVIII веке, однако оно может задействовать или исключить те или иные из этих правил и, следовательно, выявить некоторые понятия (как, например, понятие простого продукта), которые не могли бы появиться ни в каком ином месте. Сам по себе теоретический выбор не направлял формирование понятий; он делал это через посредство специфических правил формирования понятий и через те взаимоотношения, которые он поддерживает с этим уровнем.

2. Эти системы формирования не должны приниматься за неподвижные блоки, статичные формы, вероятно, извне навязавшие себя дискурсу и раз навсегда определившие все его признаки и возможности. Это вовсе не принуждения, будто бы имеющие свое происхождение в мыслях людей или наборе их представлений; но это также и не детерминации, сформированные на уровне социальных институтов, или общественных либо же экономических отношений, которые начинали бы насильственно транскрибироваться на поверхности дискурсов. Эти системы, как мы уже подчеркивали, находятся в самом дискурсе или, скорее (поскольку речь идет не о его внутреннем характере и не о том, что может в нем содержаться, а о его специфическом существовании и его условиях), на его границе, на той грани, где определяются специфические правила, заставляющие его существовать в таком виде. Таким образом, под системой формирования нужно понимать сложный пучок отношений, функционирующих в качестве правил: он предписывает, между какими элементами в дискурсивной практике должны существовать отношения, чтобы она отсылала к тому или иному объекту, использовала бы тот или иной акт высказывания, применяла бы то или иное понятие, организовывала бы ту или иную стратегию. Итак, определить систему формирования в ее своеобразной индивидуальности — значит охарактеризовать дискурс или группу высказываний через закономерность (régularité) какой-то определенной практики.

Совокупность правил для дискурсивной практики, то есть система формирования, не чужда времени. Она не сводит все, что может появиться на про-

тяжении векового ряда высказываний, в одну изначальную точку, которая одновременно была бы началом, истоком, фундаментом и системой аксиом, и исходя из которой перипетии реальной истории только лишь разворачивались бы совершенно неизбежным образом. Она только очерчивает систему правил, которая должна применяться для того, чтобы преобразовался такой-то объект, появился такой-то новый акт высказывания, выработалось бы, подверглось метаморфозе или было бы привнесено то или иное новое понятие, была бы видоизменена такая-то стратегия — и тем не менее она не перестает принадлежать тому же самому дискурсу; она также очерчивает систему правил, которая должна применяться для того, чтобы некое изменение в других дискурсах (в других практиках, в социальных институтах, в общественных отношениях, в экономических процессах) могло бы транскрибироваться внутри данного дискурса, образуя тем самым новый объект, создавая новую стратегию, давая место новым актам высказывания или новым понятиям. Таким образом, дискурсивная формация не играет роль фигуры, останавливающей время и замораживающей его на десятилетия или на века; она определяет закономерность (régularité), присущую временны́м процессам; она устанавливает принцип сочленения между рядом дискурсивных событий и другими рядами событий, преобразований, мутаций и процессов. Это вовсе не вневременная форма, а схема связи между несколькими временны́ми рядами.

Эта подвижность системы формирования проявляется двояким образом. И прежде всего, на уровне связанных между собой элементов: в действи-

тельности эти элементы могут претерпевать некоторое число внутренне им присущих мутаций, являющихся составной частью дискурсивной практики, но это не искажает общую форму ее закономерности. Так, на всем протяжении XIX века уголовное право, демографическое давление, потребность в рабочей силе, формы социальной помощи, юридический статус и условия принудительного помещения в психиатрическую лечебницу не переставали видоизменяться; однако дискурсивная практика психиатрии продолжала устанавливать между этими элементами одну и ту же совокупность связей, в результате чего эта система сохранила признаки своей индивидуальности; при одних и тех же законах формирования появляются новые объекты (новые типы индивидов и новые классы поведения характеризуются как патологические), используются новые модальности акта высказывания (количественные показатели и статистические подсчеты), вырисовываются новые понятия (такие, как понятия дегенерации, перверсии, невроза) и, конечно же, могут быть возведены новые теоретические сооружения. Но и наоборот, дискурсивные практики видоизменяют те области, которые они связывают. Хотя они и устанавливают специфические отношения, которые могут быть проанализированы лишь на их собственном уровне, эти отношения имеют последствия не только в самом дискурсе: они также вписываются в те элементы, которые сочленяют друг с другом. Например, больничная сфера не осталась неизменной, после того как клинический дискурс связал ее с лабораторией: право выписывать рецепты, статус, который приобретает внутри нее врач, его функция контро-

ля, уровень анализа, который можно в ней проводить, — все это оказалось неизбежным образом видоизменено.

3. То, что мы описываем как «системы формирования», не образует завершающего уровня дискурсов, если под этим выражением понимать тексты (или устную речь) в том виде, в каком они воплощаются в своей лексике, синтаксисе, логических структурах или в своей риторической организации. Данный анализ остается по эту сторону того очевидного уровня, который является уровнем законченного построения: определяя принцип распределения объектов в дискурсе, этот анализ не объясняет ни всех их взаимозависимостей, ни их тонкой структуры, ни их внутренних подразделений; стремясь найти закон рассеивания понятий, он не объясняет ни всех процессов их разработки, ни всех дедуктивных цепочек, в которых эти понятия могут фигурировать; если он изучает модальности высказывания, то он не ставит под вопрос ни стиль, ни соединение предложений; короче говоря, он лишь отмечает пунктиром окончательное расположение *текста*. Но необходимо ясно договориться: если анализ и остается в стороне от этой последней конструкции, то не для того, чтобы отвернуться от дискурса и воззвать к немой работе мысли; и не для того, чтобы отвернуться от систематического и извлечь на свет «живой» беспорядок проб, попыток, ошибок и возобновлений.

Как раз в этом анализ дискурсивных формаций и противостоит многим привычным описаниям. Действительно, обычно полагают, что дискурсы и их

систематическая упорядоченность являются всего лишь конечным состоянием, результатом в последней инстанции долгой извилистой подготовки, где используются язык и мысль, эмпирический опыт и категории, пережитое и идеальные необходимости, случайное совпадение событий и набор формальных принуждений. За видимым фасадом системы мы предполагаем богатую неопределенность беспорядка; а под тонкой поверхностью дискурса — все возможные формы лишь отчасти проявляющего себя становления: нечто «досистематическое», не принадлежащее к порядку системы, нечто «додискурсивное», зависящее от присущей ему немоты. Возможно, дискурс и система возникают — причем одновременно — только на гребне этой беспредельной сдержанности. Однако здесь анализируются отнюдь не конечные состояния дискурса; здесь анализируются системы, которые делают возможными последние систематические формы; *предтерминальные закономерности*, по отношению к которым конечное состояние скорее определяется через свои варианты, а вовсе не представляет собой места рождения системы. Анализ формирований обнаруживает за завершенной системой не само кипение жизни, жизни еще не плененной, а необъятную толщу систематичностей, плотную совокупность разносторонних связей. И кроме того, хотя эти связи и не составляют непосредственную канву текста, по своей природе они не чужды дискурсу. Мы вполне можем квалифицировать их как «додискурсивные», но только при том условии, что мы признаем, что это додискурсивное является еще и дискурсивным, то есть, что эти отношения не специфицируют мысль, или сознание, или совокупность представ-

лений, которые задним числом и не всегда обязательно были бы транскрибированы в дискурс, но что они характеризуют некоторые уровни дискурса и определяют правила, актуализируемые дискурсом как своеобразной практикой. Итак, мы не стремимся перейти от текста к мысли, от разговоров к молчанию, от внешнего к внутреннему, от пространственного рассеивания к чистому средоточию мгновения, от поверхностей множественности к глубинному единству. Мы остаемся в измерении дискурса.

# III
# Высказывание и архив

## I. *Определение высказывания*

Теперь я полагаю, что мы готовы пойти на риск; что ради артикуляции огромной поверхности дискурсов мы согласились допустить эти несколько странные и далекие от нас фигуры, названные мною дискурсивными формациями; что мы отложили в сторону, — конечно, не навсегда, а только на время и из методологических соображений, — традиционные единства книги и творчества автора; что мы уже не принимаем в качестве принципа единства законы построения дискурса (с вытекающей из них формальной организацией) или ситуацию говорящего субъекта (с характеризующими ее контекстом и психологическим ядром); что мы уже не связываем дискурс ни с первичной почвой опыта, ни с априорной инстанцией познания, но внутри него самого ставим перед ним вопрос о правилах его формирования. Я полагаю, что мы готовы предпринять эти продолжительные расследования, касающиеся системы возникновения объектов, появления и распределения способов высказывания, размещения и рассеивания понятий, развертывания стратегических выборов. Я полагаю, что мы согласимся построить некоторые единства, тоже абстрактные и проблематичные, вместо того чтобы принимать те

единства, которые были даны, если и не с неоспоримой очевидностью, то, по крайней мере, с квазиперцептивной привычностью.

Но о чем, в сущности, я говорил до сих пор? Каков был объект моего расследования? Что я намеревался описать? Это были «высказывания», данные одновременно как в прерывности, освобождающей их от тех форм, в которых с такой легкостью мы соглашались их принять, так и в общем, неограниченном, внешне бесформенном поле дискурса. Однако что касается предварительного определения высказывания, то я поостерегся его давать. И по мере продвижения, даже ради того чтобы оправдать наивность моего начинания, я не пытался дать такого определения. Более того — и в этом, вероятно, состоит наказание за подобную беспечность — я спрашиваю себя, не изменил ли я по пути свою установку; не подменил ли я первоначальный горизонт другим исследованием; говорил ли я все еще о высказываниях, когда анализировал «объекты» или «понятия», а тем более «стратегии»; в какой мере группы высказываний определяют те четыре совокупности правил, через которые я охарактеризовал дискурсивную формацию? И наконец, я охотно допускаю что, вместо того чтобы понемногу сужать столь расплывчатое значение слова «дискурс», я умножал его смыслы: я имел в виду то общую область всех высказываний, то поддающуюся индивидуализации группу высказываний, то установленную практику, объясняющую определенное число высказываний. Что же касается самого этого слова «дискурс», которое должно было бы служить границей и как бы оболочкой термина «высказывание», то разве я не изменял его, по мере того как смещал свой анализ

или точку его приложения, по мере того как терял из виду само высказывание?

Итак, вот задача, которая стоит передо мной в настоящий момент: вернуться к сути определения высказывания. И посмотреть, достаточно ли эффективно применяется это определение в предыдущих описаниях, действительно ли о высказывании идет речь в анализе дискурсивных формаций.

Я неоднократно использовал термин «высказывание», либо говоря о «популяции высказываний» (словно речь шла об индивидах или единичных событиях), либо противопоставляя его (подобно тому, как часть отличается от целого) тем совокупностям, которые станут дискурсами. На первый взгляд высказывание предстает как последний, неразложимый элемент, поддающийся вычленению и способный входить в отношения с другими подобными ему элементами. Это точка без площади, но точка, которая может быть выделена на плоскостях перераспределений и в специфических формах группирований. Это узелок, возникающий на поверхности ткани, конституирующим элементом которой он является. Это атом дискурса.

И здесь тотчас же возникает проблема: если высказывание действительно является элементарным единством дискурса, то из чего же оно состоит? Каковы его отличительные черты? Какие границы должны мы за ним признать? Тождественно оно или нетождественно тому единству, которое логики обозначили термином суждение (proposition), тому единству, которое специалисты по грамматике характеризуют как предложение, или же тому единству, которое «аналитики» пытаются выделить под названием *speech act*? Какое место занимает оно среди всех тех единств, ко-

торые были уже обнаружены исследованием речи, но теория которых зачастую далека от завершенности (поскольку так сложны поднимаемые ими проблемы и так трудно в большинстве случаев строго их разграничить)?

Я не думаю, чтобы необходимым и достаточным условием для существования высказывания было бы наличие определенной пропозициональной структуры и что можно было бы говорить о высказывании всякий раз — и только в том случае, — когда имеется суждение. Действительно, можно иметь два совершенно разных высказывания, принадлежащих к совершенно различным дискурсивным объединениям, там, где мы находим только одно суждение, допускающее только одно единственное истинностное значение, подчиняющееся одной-единственной совокупности законов построения и предполагающее одни и те же возможности использования. «Никто не слышал» и «Это правда, что никто не слышал» — неразличимы с точки зрения логики и не могут рассматриваться как два различных суждения. Однако как высказывания эти две формулировки не являются ни эквивалентными, ни взаимозаменяемыми. Они не могут оказаться на одном и том же месте в плоскости дискурса, ни принадлежать точно к одной и той же группе высказываний. Если мы находим выражение «Никто не слышал» в первой строке романа, то вплоть до нового указания мы знаем, что речь идет об утверждении, сделанном либо автором, либо персонажем (вслух или в форме внутреннего монолога); если же мы обнаруживаем вторую формулировку — «Это правда, что никто не слышал», — то в этом случае мы обязательно находимся в потоке высказываний, образующих внутренний монолог, не-

мой спор, пререкание с самим собой или какой-то фрагмент диалога, совокупность вопросов и ответов. И здесь и там — одна и та же пропозициональная структура, но признаки высказывания совершенно различны. Напротив, сложные и удвоенные пропозициональные формы или, наоборот, фрагментарные и незаконченные суждения могут существовать там, где мы явно имеем дело с простым, полным и автономным высказыванием (даже если оно является частью целой совокупности других высказываний): возьмем хорошо известный пример — «Нынешний король Франции лыс» (который может быть проанализирован с точки зрения логики только в том случае, если под единой формой высказывания мы обнаружим два отдельных суждения, каждое из которых само по себе может быть истинным или ложным); или же пример такого суждения как, «Я лгу», которое может быть истинным только по отношению к утверждению нижестоящего уровня. Критерии, позволяющие определить тождественность суждения, различить несколько суждений в единстве одной формулировки, охарактеризовать его автономность или завершенность, не пригодны для описания своеобразного единства высказывания.

А как обстоит дело с предложением? Не следует ли допустить эквивалентность между предложением и высказыванием? Повсюду, где есть грамматически изолируемое предложение, мы можем признать существование независимого высказывания; и наоборот, мы уже не можем говорить о высказывании, когда, опускаясь ниже уровня самого предложения, мы добираемся до уровня его составляющих. Бесполезно было бы возражать против этой эквивалентности, утверждая, что некоторые высказывания

могут быть составлены, помимо канонической формы субъект–связка–предикат, из простой именной синтагмы («Этот человек!»), или наречия («Прекрасно»), или личного местоимения («Вы!»). Ведь и те, кто занимаются грамматикой, признают в подобных формулировках независимые предложения, даже если из схемы субъект–предикат они были получены путем ряда преобразований. Более того, они придают статус «приемлемых» предложений неправильно построенным совокупностям лингвистических элементов, если только они поддаются интерпретации; и наоборот, они придают поддающимся интерпретации совокупностям статус грамматически правильных предложений только при условии их корректного формирования. При столь широком, — и в некотором смысле столь растяжимом — определении предложения трудно понять, как отличить предложения, которые, как представляются, не являются высказываниями, или высказывания, которые, видимо, не являются предложениями.

Однако такого рода эквивалентность является далеко не полной, и относительно легко привести примеры высказываний, не соответствующих лингвистической структуре предложений. Когда мы находим в латинской грамматике ряд расположенных в колонку слов — *amo, amas, amat*, то мы имеем дело не с предложением, а с высказыванием различных личных флексий настоящего времени изъявительного наклонения глагола *amare*. Возможно, мы взяли спорный пример; возможно, скажут, что здесь речь идет о простом способе оформления, указывающем на то, что это высказывание является эллиптическим, неполным предложением, достаточно необычно расположенным в пространстве, и что читать его

нужно так: «Настоящее время изъявительного наклонения глагола *amare* для первого лица есть *amo* и т. д.». Во всяком случае, другие примеры менее двусмысленны: классификационная таблица ботанических видов составлена из высказываний, а не построена из предложений («Genera Plantarum» Линнея — это целая книга из высказываний, где можно обнаружить очень ограниченное число предложений); генеалогическое дерево, бухгалтерская книга, подведение торгового баланса — все это высказывания: а где же предложения? Можно пойти еще дальше: уравнение *n*-й степени или алгебраическая формула закона преломления тоже должны рассматриваться как высказывания; и если они обладают весьма строгой грамматической правильностью (поскольку они составлены из символов, смысл которых определен правилами употребления и последовательность которых управляется законами построения), то речь здесь идет о других критериях, чем те, которые позволяют в естественном языке определить приемлемое или поддающееся интерпретации предложение. Наконец, график, кривая роста, возрастная пирамида, зона распространения образуют высказывания: что же касается предложений, которыми могут сопровождаться эти высказывания, то они являются их интерпретацией или комментарием, но не их эквивалентом. Доказательством этому служит тот факт, что во многих случаях только бесконечное число предложений могло бы быть эквивалентным всем тем элементам, которые эксплицитно сформулированы в подобных высказываниях. Итак, в целом представляется невозможным определить высказывание через грамматические признаки предложения.

Остается последняя возможность и на первый взгляд наиболее правдоподобная из всех. Нельзя ли сказать, что высказывание существует везде, где можно признать и изолировать акт формулировки — что-то наподобие «*speech act*», того «иллокутивного» акта, о котором говорят английские аналитики? Понятно, что под этим мы не имеем в виду материального акта, заключающегося в проговаривании (вслух или про себя) или написании (от руки или на машинке); мы также не имеем в виду намерения говорящего индивида (того факта, что он хотел бы убедить нас, желал бы подчинить себе, стремился найти решение или желал бы дать о себе знать); мы также не пытаемся указать на возможные результаты того, что он сказал (убедил ли он нас или вызвал недоверие, был ли он выслушан и были ли выполнены его требования, была ли услышана его просьба); мы описываем операцию, осуществленную самой формулой в момент ее возникновения: обещание, приказ, постановление, договор, обязательство, констатация. Иллокутивный акт — это не то, что произошло прежде самого момента высказывания (в уме автора или в смене его намерений); это отнюдь не то, что могло произойти после самого высказывания в его исчезающем следе и в вызванных им последствиях; это именно то, что произошло в силу самого факта высказывания, причем именно этого высказывания (и никакого иного) и во вполне определенных обстоятельствах. Таким образом, мы можем предположить, что индивидуализация высказываний зависит от тех же критериев, что и выделение актов формулировки: по всей видимости, каждый такой акт воплощается в высказывании, а каждое высказывание содержит в себе один из этих актов. Они

как бы существуют за счет друг друга и в точном взаимосоответствии.

Однако подобная корреляция не выдерживает пристального рассмотрения. Дело в том, что зачастую для осуществления одного *«speech act»* необходимо больше одного высказывания: клятва, молитва, договор, обещание, доказательство требуют в большинстве случаев определенного числа различных формул или отдельных предложений: было бы весьма трудно оспорить статус высказывания за каждым из них под тем предлогом, что все они пронизаны одним и тем же иллокутивным актом. Возможно, на это возразят, что в этом случае сам акт не остается единым на протяжении всего ряда высказываний; что в молитве столько же ограниченных, последовательных и расположенных рядом друг с другом актов молитвы, сколько и просьб, сформулированных различными высказываниями; и что в обещании столько же отдельных обязательств, сколько и эпизодов, поддающихся индивидуализации в отдельных высказываниях. Однако мы не могли бы удовлетвориться таким ответом, прежде всего потому, что акт формулировки уже не служил бы для определения высказывания, а, наоборот, должен был бы определяться через него — а ведь именно высказывание создает проблему и требует критериев индивидуализации. Кроме того, некоторые иллокутивные акты могут рассматриваться как завершенные в своем своеобразном единстве только в том случае, если при этом артикулируются несколько высказываний, каждое из которых находится на соответствующем ему месте. Следовательно, эти акты образованы рядом или суммой высказываний, их необходимым последовательным расположением;

нельзя считать, что они целиком представлены в самом маленьком из высказываний и что они возобновляются с каждым из них. И здесь снова мы не смогли бы установить взаимооднозначного соответствия между совокупностью высказываний и совокупностью иллокутивных актов.

Таким образом, когда мы хотим индивидуализировать высказывания, мы не можем безоговорочно принять ни одну из моделей, заимствованных из грамматики, логики или «Анализа»[1]. Мы замечаем, что во всех трех случаях предложенные критерии слишком многочисленны и тяжеловесны, что они не оставляют за высказыванием всего его объема и что если иногда высказывание и принимает описанные формы и полностью им соответствует, то точно так же бывает, что оно им не подчиняется: мы находим высказывания без обязательной пропозициональной структуры; мы находим высказывания там, где не можем признать предложения; мы находим высказываний больше, чем можем выделить *«speech acts»*. Все это происходит так, словно высказывание было бы более тонким, менее отягощенным детерминациями, слабее структурированным, а также более вездесущим, чем все эти фигуры; как если бы его признаки были менее многочисленными и менее трудными для объединения, но как если бы именно из-за этого оно отвергало любую возможность описания. И все это усугубляется тем, что мы плохо понимаем, на каком уровне его расположить и какой метод к нему приме-

[1] Возможно, в данном случае речь идет об аналитической философии языка (Л. Витгенштейн) и формах лингвистического анализа в том виде, в каком они сложились в теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль). — *Прим. ред.*

нить: для всех только что упомянутых анализов высказывание всегда было лишь опорой или случайной субстанцией; в логическом анализе высказывание — это то, что «остается» после того, как мы выделили и определили структуру суждения; для грамматического анализа — это ряд лингвистических элементов, в котором мы можем признать или не признать форму предложения; для анализа речевых актов высказывание предстает в качестве видимого воплощения, в котором проявляются эти акты. По отношению ко всем этим дескриптивным подходам высказывание играет роль остаточного элемента, простого факта, не относящегося к делу материала.

Надо ли, в конечном итоге, признать, что высказывание не может иметь никаких собственных признаков и что оно не поддается адекватному определению, поскольку для любых анализов речи оно является лишь внешней материей, исходя из которой они определяли свой собственный объект? Надо ли признать, что любой ряд знаков, фигур, графизмов или следов — какова бы ни была его организация или вероятность — достаточен для конституирования высказывания; и что дело грамматики решать, идет ли речь о предложении или нет, дело логики определять, содержит ли этот ряд пропозициональную форму или нет, дело Анализа уточнять, какой именно речевой акт может его пронизывать? Следовало бы в этом случае допустить, что высказывание появляется всякий раз, как появляется несколько расположенных рядом знаков и — почему бы и нет? — как только появляется один и только один знак? По-видимому, порог высказывания — это порог существования знаков. Однако и здесь не все так просто, и смысл, который нужно вложить в такое выраже-

ние, как «существование знаков», требует прояснения. Что мы хотим сказать, когда говорим, что существуют знаки, и что для *существования* высказывания достаточно того, чтобы *существовали* знаки?

Ведь вполне очевидно, что высказывания не существуют в том же смысле, в каком существует язык, а вместе с ним и совокупность знаков, определенных через их оппозициональные признаки и правила использования; действительно, язык никогда не бывает дан в себе самом и в своей целостности; вероятно, он может быть дан лишь косвенным образом и только через описание, которое приняло бы его за свой объект; знаки, образующие его элементы, суть формы, которые заставляют высказывания признавать себя, и управляют ими изнутри. Если бы не было высказываний, не существовало бы и языка; но никакое определенное высказывание не является необходимым для существования языка (и на месте любого высказывания мы всегда можем предположить другое высказывание, которое нисколько не видоизменило бы язык). Язык существует лишь в качестве системы построения для возможных высказываний; но, с другой стороны, он существует только как объект описания (более или менее исчерпывающего), созданного на основе совокупности реальных высказываний. Язык и высказывание находятся на разных уровнях существования; и мы не можем говорить, что существуют высказывания в том же смысле, как мы говорим, что существуют языки. Но тогда достаточно ли для образования высказывания того, чтобы знаки какого-либо языка были произведены (артикулированы, нарисованы, изготовлены, начертаны) тем или иным способом, чтобы они появились в некий момент времени и в некой точке пространства, чтобы произ-

несший их голос или оформивший их жест придали им измерения материального существования? Разве буквы алфавита, случайно написанные мною на листке бумаги как пример того, что не является высказыванием, или свинцовые литеры, используемые для печатания книг, — а мы не можем отрицать их материальность, занимающую место в пространстве и обладающую объемом, — разве эти зримые, осязаемые знаки могут с точки зрения здравого смысла рассматриваться как высказывания?

Однако при более близком рассмотрении эти два примера (свинцовые литеры и написанные мною знаки) не являются полностью совпадающими. Пригоршня типографского шрифта, которую я могу держать в руке, или же буквы клавиатуры пишущей машинки не образуют высказываний: в лучшем случае это инструменты, с помощью которых мы можем написать высказывания. И наоборот, те буквы, которые я просто так, как они приходят мне на ум, произвольно пишу на листе бумаги, чтобы показать, что в своем беспорядке они не могут конституировать высказывания — что же тогда они такое, какую фигуру они образуют? Что это, как не таблица букв, выбранных наугад, как не высказывание алфавитного ряда, не имеющего иного закона, кроме случайности? Точно так же таблица случайных чисел, которую иногда используют в статистике, — это последовательность числовых символов, не связанных между собой никакой синтаксической структурой; однако такая таблица является высказыванием: высказыванием совокупности цифр, полученных при помощи методов, исключающих все, что могло бы увеличить вероятность следующих за ними результатов. Сузим пример еще больше: клавиатура пишущей машинки не является

высказыванием, но сам ряд букв A, Z, E, R, T, приведенный в учебнике машинописи, является высказыванием алфавитного порядка, принятого для французских пишущих машинок. Таким образом, перед нами несколько негативных следствий: для формирования высказывания не требуется правильной лингвистической конструкции (оно может быть образовано из ряда с минимальной вероятностью); но точно так же, чтобы высказывание появилось и начало существовать, недостаточно просто материальной воплощенности лингвистических элементов, недостаточно просто возникновения знаков во времени и пространстве. Итак, высказывание существует и не так, как язык (хотя оно составлено из знаков, которые в своей индивидуальности поддаются описанию только внутри естественной или искусственной лингвистической системы), и не так, как какие-либо данные в восприятии объекты (хотя высказывание всегда наделено некоторой материальностью, и мы всегда можем расположить его в соответствии с пространственно-временными координатами).

Еще не настало время дать ответ на главный вопрос о высказывании, но уже теперь мы можем очертить проблему: высказывание — это единство иного рода, нежели предложение, суждение или речевой акт; следовательно, оно зависит от иных критериев; но это также и не то единство, каким мог бы быть материальный объект, обладающий своими границами и своей независимостью. В своем особенном способе существования (ни полностью лингвистическом, ни исключительно материальном) высказывание необходимо для того, чтобы мы могли сказать, существует или нет предложение, суждение или речевой акт; и чтобы мы могли сказать, является ли

предложение корректным (или приемлемым, или поддающимся интерпретации), является ли суждение правомерным и правильно образованным, является ли речевой акт соответствующим требованиям и вполне ли он был осуществлен. Не нужно искать в высказывании ни длительного, ни краткого, ни хорошо, ни слабо структурированного единства, взятого вместе с другими единствами в логическом, грамматическом или речевом *nexus*'е. Это, скорее всего, не один элемент среди других элементов, не вырез, на который можно указать на определенном уровне анализа; скорее всего, речь идет о некой функции, действующей вертикально относительно этих различных единств и позволяющей сказать о ряде знаков, присутствуют ли в нем эти единства или нет. Таким образом, высказывание — это не структура (то есть совокупность отношений между изменяющимися элементами, допускающая таким образом возможно бесконечное число конкретных моделей); высказывание — это функция существования, которая полностью принадлежит знакам и исходя из которой, путем анализа или благодаря интуиции, мы можем впоследствии решить, есть ли в них смысл, в соответствии с каким правилом они возникают друг за другом или располагаются в ряд, знаком чего они являются и какого рода акт осуществляется через их формулировку (устную или письменную). Итак, не надо удивляться, если мы не смогли найти для высказывания структурных критериев единства; дело в том, что само по себе высказывание вовсе не является единством, а представляет собой функцию, которая пересекает область возможных единств и структур и которая показывает их — вместе с их конкретным содержанием — во времени и пространстве.

Именно эту функцию как таковую и необходимо теперь описать, то есть описать ее в ее условиях, в правилах, которые ее контролируют, и в том поле, в котором она осуществляется.

## II. *Функция высказывания*

Итак, бесполезно искать высказывание среди группирований знаков, образующих единства. Высказывание — это не синтагма, не правило построения, не каноническая форма последовательности и перестановки; высказывание — это то, что вызывает к существованию такие совокупности знаков и позволяет этим правилам или этим формам актуализироваться. Но если оно и вызывает их к существованию, то совершенно особым образом, который нельзя было бы спутать ни с существованием знаков как элементов какого-либо языка, ни с материальным существованием меток, которые занимают некий участок и сохраняются более или менее продолжительное время. Теперь следует задать вопрос об этом особом способе существования, характерном для любого ряда знаков, если только этот ряд является высказыванием.

*а*) Давайте вновь вернемся к примеру знаков, оформленных или очерченных в четко определенной материальности и объединенных произвольным или не произвольным, но в любом случае не грамматическим, способом. Такова клавиатура пишущей машинки, такова горсть типографского шрифта. Для того чтобы знаки, представленные таким образом (в том самом порядке, в каком они следуют друг за дру-

гом, не образуя никакого слова), конституировали высказывание, достаточно, чтобы я написал их на листе бумаги: это будет высказывание букв алфавита в порядке, облегчающем процесс печатания, или высказывание случайной группы букв. Итак, что же оказалось необходимым, чтобы появилось высказывание? Что нового может иметь вторая совокупность по сравнению с первой? Может быть, удвоение, тот факт, что вторая совокупность является копией? Вероятно, нет, поскольку клавиатуры всех пишущих машинок воспроизводят определенную модель и тем не менее не являются высказываниями. Вторжение субъекта? Этот ответ, по-видимому, вдвойне неудовлетворителен, ибо недостаточно по инициативе индивида произвести повторение какого-то ряда, чтобы тем самым этот ряд преобразовался в высказывание; и во всяком случае, проблема заключается не в причине или источнике удвоения, а в своеобразном отношении между двумя этими тождественными рядами. Действительно, второй ряд является высказыванием не только в силу того факта, что мы можем установить взаимооднозначное соответствие с каждым из его элементов из первого ряда (это соответствие характеризует либо факт удвоения, если речь идет просто о копии, либо точность высказывания, если мы уже преодолели порог акта высказывания; но определить этот порог и сам факт высказывания такое соответствие не позволяет). Ряд знаков станет высказыванием только при условии, что он связан с «чем-то иным» (которое может быть до странности ему подобно и как в выбранном примере квазитождественным) той специфической связью, которая касается его самого, а вовсе не его причины или его элементов.

Возможно скажут, что в этой связи нет ничего загадочного; что, напротив, она хорошо известна, что она постоянно была объектом анализа: что речь идет о связи между означающим и означаемым и о связи имени с тем, что оно называет; о связи между предложением и его смыслом; или о связи между суждением и его референтом. Однако, я полагаю, можно показать, что отношение между высказыванием и тем, что высказывается, не совпадает ни с одной из этих связей.

Высказывание, даже если оно сводится к именной синтагме («Корабль!»), даже если оно сводится к имени собственному («Пьер!»), имеет иную связь с тем, что оно высказывает, чем связь имени существительного с тем, что оно называет, или с тем, что оно обозначает. Имя существительное — это лингвистический элемент, который может занимать различные позиции в грамматических совокупностях: его смысл определяется через правила его употребления (идет ли речь об индивидах, которые надлежащим образом могут быть через него названы, или о синтаксических структурах, в которые оно может корректно входить); имя существительное определяется своей возможностью рекуррентности. Высказывание существует вне всякой возможности повторного появления, и связь, которую оно поддерживает с тем, что высказывает, не тождественна совокупности правил употребления. Речь идет о единичной связи, и если в этих условиях вновь появляется тождественная формулировка, то это, конечно, те же самые слова, которые уже были использованы, по сути, те же самые имена, в целом это то же самое предложение, но это не обязательно то же самое высказывание.

Не нужно также смешивать связь между высказыванием и тем, что оно высказывает, со связью между суждением и его референтом. Как известно, логики говорят, что такое суждение, как «Золотая гора находится в Калифорнии», не может быть верифицировано, поскольку не имеет референта: таким образом, его отрицание не более и не менее истинно, чем его утверждение. Возможно ли точно так же сказать, что высказывание ни к чему не относится, если суждение, которое оно образует, не имеет референта? Скорее, надо было бы утверждать обратное. И вместо того чтобы говорить, что отсутствие референта влечет за собой отсутствие коррелята для высказывания, следует сказать, что именно коррелят высказывания — то есть то, с чем оно соотносится, то, что через него вводится, и не только то, что было сказано, но и то, о чем оно говорит, его «тема» — позволяет сказать, есть ли у суждения референт: именно высказыванию предоставлено окончательное право судить об этом. Действительно, предположим, что формулировка «Золотая гора находится в Калифорнии» помещена не в учебнике географии и не в рассказе о путешествии, а в романе или в каком-то фантастическом произведении; в этом случае мы можем признать за ней значение истины или заблуждения (в зависимости от того, допускает ли тот воображаемый мир, к которому она принадлежит, подобную геологическую и географическую фантазию). Для того чтобы иметь возможность сказать, есть ли у суждения референт, необходимо знать, с чем соотносится высказывание, каково его пространство корреляций. Высказывание «Нынешний король Франции лыс» оказывается лишенным референта, только если мы предпола-

12 Зак. 3653

гаем, что оно соотносится с миром сегодняшней исторической реальности. Отношение между суждением и референтом не может служить моделью и законом для связи между высказыванием и тем, что оно высказывает. Эта связь не только находится на ином уровне, чем отношение суждение–референт, но и возникает как предшествующая ему.

Наконец, она также не совпадает и с той связью, которая может существовать между предложением и его смыслом. Расхождение между двумя этими формами связи становится очевидным на примере тех широко известных предложений, которые, несмотря на свою абсолютно корректную грамматическую структуру, не имеют смысла (как, например, «Бесцветные зеленые идеи яростно спят»). Фактически вывод о том, что такое предложение не имеет смысла, предполагает, что мы уже исключили некоторое число возможностей: мы допускаем, что речь идет не о пересказе сна, не о поэтическом тексте, не о зашифрованном послании или словах человека, находящегося под воздействием наркотиков, а о некотором типе высказывания, которое каким-то определенным образом должно быть связано с видимой реальностью. Только внутри определенного и стабилизированного отношения высказывания может быть указана связь предложения с его смыслом. К тому же такие предложения, даже если мы берем их на том уровне высказывания, где они не имеют смысла, не лишены корреляций в качестве высказываний, и прежде всего тех корреляций, которые позволяют, например, утверждать, что идеи никогда не бывают ни цветными, ни бесцветными и, следовательно, делать из этого вывод, что предложение не имеет смысла (и эти корреляции

относятся к тому плану реальности, где идеи невидимы, а цвета воспринимаются зрением, и т. д.); с другой стороны, тех корреляций, которые позволяют рассматривать данное предложение как построение с синтаксически правильной организацией, но лишенное смысла (и эти корреляции принадлежат к плану языка, его законов и свойств). Даже если предложение бессмысленно, оно все равно с чем-то соотносится в качестве высказывания.

Как же тогда определить то отношение, которое полноправно характеризовало бы высказывание — отношение, которое, как кажется, имплицитно предполагается предложением или суждением и которое является для них предварительным? Как выделить его самого из тех смысловых связей или истинностных значений, с которыми его обычно смешивают? Высказывание, каким бы оно ни было, даже таким простым, каким его себе представляют, не имеет своим *коррелятом* отдельный объект или индивида, который был бы обозначен конкретным словом предложения: в случае такого высказывания, как «Золотая гора находится в Калифорнии», его *коррелятом* не является то реальное или воображаемое, возможное или абсурдное образование, которое обозначено синтагмой, выступающей в функции субъекта. Но *коррелят* высказывания — это также и не положение вещей или отношение, пригодное для верификации суждения (в выбранном примере это было бы пространственное включение некой горы в определенный район). Напротив, то, что мы можем определить как *коррелят* высказывания, — это совокупность областей, где могут появиться такие объекты и где могут быть определены такие отношения: например, это будет область материальных объек-

тов, обладающих некоторым числом физических свойств, которые могут быть констатированы, и отношениями воспринимаемой величины, или же наоборот, это будет область вымышленных объектов, наделенных произвольными свойствами (даже если они и обладают некоторым постоянством и некоторой связностью), не предполагающих инстанции экспериментальных или перцептивных верификаций; это будет область пространственных и географических локализаций с координатами, дистанциями, отношениями соседства и включения или наоборот, область символического сближения и скрытого родства; это будет область объектов, существующих в то же самое мгновение и в том же временно́м масштабе, в которых формулируется высказывание; или же это будет область объектов, принадлежащих к совершенно иному настоящему — настоящему, указанному и образованному самим высказыванием, а не к тому настоящему, к которому принадлежит также и само высказывание. Высказывание не имеет перед собой (в своеобразном tête-a-tête) *коррелята* — или отсутствия *коррелята*, подобно тому, как у суждения есть референт (или его нет), как имя собственное называет индивида (или не называет никого). Оно, скорее, связано с «системой отсылок» (référentiel), образованной не «вещами», «фактами», «реалиями» или «существами», а законами возможности, правилами существования объектов, которые там названы, обозначены или описаны, и отношений, которые оказываются там подтвержденными или отвергнутыми. Система отсылок высказывания формирует место, условие, поле возникновения, инстанцию дифференциации индивидов или объектов, положения вещей и отношения, введенные самим

высказыванием; она определяет возможности появления и разграничения того, что придает предложению его смысл, а суждению — его истинностное значение. Эта совокупность характеризует *уровень высказывания* формулировки в противоположность ее грамматическому и логическому уровням: через связь с этими различными областями возможности высказывание превращает синтагму, или ряд символов, в предложение, которому мы можем — или не можем — приписать смысл; превращает синтагму в суждение, которое может получить — или не получить — значение истины.

В любом случае мы видим, что описание этого уровня высказывания не может осуществиться ни через формальный анализ, ни через исследование семантики, ни через верификацию, а только через анализ связей между высказыванием и пространствами дифференциации, где само высказывание выявляет различия.

*b*) Кроме того, высказывание отличается от любого ряда лингвистических элементов тем, что поддерживает с субъектом некую детерминированную связь. Связь, природу которой необходимо уточнить, и, главное, которую нужно выделить из тех отношений, с которыми ее можно было бы спутать.

Действительно, нельзя сводить субъекта высказывания к тем грамматическим элементам, выраженным в первом лице, которые присутствуют внутри этого предложения. Прежде всего потому, что субъект высказывания не находится внутри лингвистической синтагмы; затем потому, что высказывание, которое не содержит в себе указания на первое лицо, тем не менее имеет субъекта; наконец, и

главным образом, потому, что все высказывания, имеющие фиксированную грамматическую форму (будь это форма первого или второго лица), не устанавливают с субъектом высказывания связи одного и того же типа. Легко понять, что это отношение различно в высказываниях типа «Наступает вечер» и «Всякое следствие имеет причину»; что же касается высказывания типа «Давно уже я привык укладываться рано», то связь с высказывающим субъектом будет различной, если мы слышим его произнесенным в разговоре или если мы читаем его в первой строке книги, которая называется «В поисках утраченного времени»[2].

Не является ли этот внешний для предложения субъект просто-напросто тем реальным индивидом, который его произнес или написал? Как известно, нет знаков, если нет кого-то, кто мог бы их изречь, во всяком случае, они не существуют без некоего источника. Для того чтобы существовал ряд знаков — в соответствии с системой причинно-следственных отношений, — конечно, нужен «автор» или производящая инстанция. Но этот автор не тождественен субъекту высказывания; и отношение производства, которое он поддерживает с формулировкой, не совпадает с отношением, которое объединяет высказывающего субъекта с тем, что он высказывает. Не будем брать случай совокупности материально оформленных или написанных знаков, это было бы слишком просто: их производство, конечно же, пред-

[2] Речь идет о цикле романов Марселя Пруста (1871–1922) «В поисках утраченного времени». Фуко приводит цитату из первого романа «По направлению к Свану» (перевод Н. М. Любимова). — *Прим. ред.*

полагает автора, но, однако, здесь нет ни высказывания, ни субъекта высказывания. Чтобы показать диссоциацию между источником знаков и субъектом высказывания, мы могли бы также привести в качестве примера случай, когда третье лицо читает текст или актер исполняет свою роль. Но это крайние случаи. В целом, как представляется, по крайней мере на первый взгляд, субъектом высказывания является именно тот, кто с целью обозначения произвел различные элементы высказывания. Однако все не так просто. Понятно, что в романе автор формулировки — это тот реальный индивид, имя которого фигурирует на обложке книги (но возникает еще и проблема отрывков в форме диалога и предложений, связанных с размышлениями персонажа; возникает также проблема текстов, опубликованных под псевдонимом: известны все трудности, которые эти раздвоения создают для сторонников интерпретативного анализа, когда они хотят целиком приписать эти формулировки автору текста, тому, что он хотел сказать, или тому, что он думал, — короче говоря, тому огромному, немому, неявному и единообразному дискурсу, над которым они надстраивают всю эту пирамиду различных уровней). Но даже помимо этих инстанций формулировки, которые нетождественны индивиду-автору, высказывания романа имеют разных субъектов, когда они предоставляют, словно извне, исторические и пространственные ориентиры рассказанной истории; когда они описывают вещи, как их увидел бы анонимный, невидимый и равнодушный индивид, волшебным образом перемешанный с персонажами произведения; или когда высказывания, словно при помощи внутренней и непосредственной расшифровки, передают вербальную вер-

сию того, что безмолвно испытывает персонаж. Эти высказывания, даже если бы у них был один и тот же автор, даже если бы он не приписывал их никому другому, кроме себя, даже если бы он не изобретал дополнительных посредников между самим собой и текстом, который мы читаем, — не предполагают для высказывающего субъекта одних и тех же признаков; они не предусматривают одной и той же связи между этим субъектом и тем, что он в данный момент высказывает.

Возможно скажут, что столь часто упоминаемый пример отрывка из романа не имеет доказательной ценности; или, скорее, что он ставит под сомнение саму сущность литературы, а не статус субъекта высказывания в целом. По-видимому, свойством литературы является то, что автор в ней отсутствует, прячется, передает свои полномочия или разделяется; но из этой диссоциации не следовало бы делать обобщающего вывода о том, что субъект высказывания — по своей природе, статусу, функции, тождественности — во всем отличен от автора формулировки. Однако этот сдвиг не ограничивается одной только литературой. Он представляется абсолютно всеобщим, поскольку субъект высказывания является детерминированной функцией, но такой, которая может меняться от высказывания к высказыванию; поскольку это пустая функция, которая в известной степени может быть присвоена любыми индивидами, когда они начинают формулировать высказывание, а также поскольку один и тот же индивид может в одном ряду высказываний поочередно занимать различные позиции и играть роль различных субъектов. Возьмем, например, математический трактат. В том месте предисловия, где объясняется, почему и при каких

обстоятельствах он был написан, ответ на какую, еще нерешенную задачу он стремился найти или какую педагогическую цель он преследовал, какие методы, после каких проб и ошибок он использовал, позиция субъекта высказывания может быть занята только автором или авторами формулировки: действительно, условия индивидуализации субъекта являются здесь очень строгими, очень многочисленными и допускают в этом случае только одного возможного субъекта. И наоборот, если в самом тексте этого труда мы обнаруживаем такое суждение, как «Если две величины равны третьей, то они равны между собой», то субъект высказывания — это позиция, позиция абсолютно нейтральная, безразличная ко времени, пространству и обстоятельствам, тождественная в любой лингвистической системе и в любом коде письменности или символизации, позиция, которую, высказывая это суждение, может занять любой индивид. С другой стороны, предложения типа «Мы уже доказали, что ...» для того чтобы быть высказанными, уже заключают в себе точные контекстуальные условия, которые не предусматривались предыдущей формулировкой: теперь позиция фиксируется внутри некой области, образованной конечной совокупностью высказываний; она локализована в ряде событий высказывания, которые уже должны были быть произведены; она установлена во времени доказательства, предыдущие моменты которого никогда не исчезают и которые, следовательно, не нужно ни возобновлять, ни повторять в той же самой форме, чтобы вновь вернуть их в настоящее время (достаточно одного упоминания, чтобы реактивировать их в их изначальной валидности); она детерминирована предварительным существо-

ванием определенного числа конкретных операций, которые, возможно, не были проделаны одним и тем же индивидом (тем, который говорит в данный момент), но которые по праву принадлежат высказывающему субъекту, находятся в его распоряжении и которые он может вновь использовать, как только ему это понадобится. Субъекта такого высказывания мы определим через совокупность этих реквизитов и возможностей; и мы не будем описывать его как индивида, который, вероятно, на самом деле и осуществил операции, жил во времени, лишенном забвения и разрывов, который, возможно, включил в горизонт своего сознания всю совокупность истинных суждений и сохраняет в живом настоящем своей мысли ее возможное новое появление (для индивидов, как высказывающих субъектов, это лишь психологический и «пережитый» аспект их позиции).

Точно таким же образом мы могли бы описать, какова специфическая позиция высказывающего субъекта в предложениях типа «Мы называем прямой любую совокупность точек, которая...» или «Возьмем конечную совокупность каких-либо элементов»; в обоих случаях позиция субъекта связана с существованием некой операции, одновременно детерминированной и актуальной; в обоих случаях субъект высказывания является также и субъектом совершаемой операции (субъект, устанавливающий определение, является также и субъектом, который его высказывает; субъект, утверждающий это существование, также и в то же самое время является субъектом, который осуществляет это высказывание); наконец, в обоих случаях через эту операцию и через высказывание, в котором она воплощается, субъект соединяет свои будущие высказывания и опера-

ции (в качестве высказывающего субъекта он воспринимает это высказывание как свой собственный закон). Существует, однако, и различие. В первом случае то, что было высказано, является языковой условностью — условностью того языка, которым пользуется высказывающий субъект и внутри которого он определяется: следовательно, и высказывающий субъект, и то, что высказано, находятся на одном уровне (тогда как при формальном анализе такое высказывание предполагает разницу уровней, свойственную метаязыку). Во втором случае, наоборот, высказывающий субъект создает вне себя объект, принадлежащий к уже определенной области, законы возможности которого были уже провозглашены и признаки которого предшествуют акту высказывания, его утверждающему. Мы только что видели, что, когда речь идет об утверждении истинного суждения, позиция высказывающего субъекта не всегда тождественна; теперь мы видим, что она также неодинакова, когда речь идет об осуществлении операции в самом высказывании.

Итак, не нужно воспринимать субъекта высказывания как тождественного автору формулировки. Они не тождественны ни субстанциально, ни функционально. Действительно, субъект высказывания не является причиной, источником или исходной точкой того феномена, каким является письменная или устная артикуляция предложения; он не представляет собой и того намерения придать значение, которое, безмолвно предшествуя словам, упорядочивает их в качестве видимого воплощения своей интуиции; он не является постоянным, неподвижным и самотождественным средоточием ряда операций, которые высказывания поочередно проявля-

ли бы на поверхности дискурса. Он является детерминированным и пустым местом, которое действительно может быть занято различными индивидами; но вместо того чтобы быть раз навсегда определенным и сохраняться в таковом качестве на всем протяжении текста, книги или произведения, это место изменяется или, скорее, является достаточно изменчивым, чтобы иметь возможность сохранять свою тождественность во многих предложениях либо видоизменяться вместе с каждым из них. Оно является тем измерением, которое характеризует любую формулировку как высказывание. Оно является одной из тех характерных черт, которые полностью принадлежат функции высказывания и позволяют ее описать. Если суждение, предложение или совокупность знаков могут быть названы «высказанными», то не потому, что однажды нашелся кто-то, кто их изрек или оставил где-нибудь их постепенно исчезающий след, а потому, что в них может быть установлена позиция субъекта. Описание формулировки как высказывания состоит не в анализе отношений между автором и тем, что он сказал (или хотел сказать, или сказал, сам того не желая), а в определении той позиции, которую может и должен занять любой индивид, чтобы стать субъектом этого формулирования.

*c*) Третий признак функции высказывания: она не может осуществиться без существования ассоциированной области. Это делает из высказывания нечто иное и нечто большее, чем простое объединение знаков, для существования которого необходима, вероятно, только материальная опора, то есть поверхность записи, звуковая субстанция, материя,

которая может быть обработана, оттиск, оставленный следом. Но также, и прежде всего, все это отличает высказывание от предложения или суждения.

Пусть дана совокупность слов или символов. Чтобы решить, образуют ли они грамматическое единство, такое как предложение или логическое единство, такое как суждение, необходимо и достаточно определить, в соответствии с какими правилами была построена эта совокупность. Совокупность «Пьер ходил на карьер» образует предложение, а совокупность «Карьер Пьер на ходил» предложения не образует. Совокупность A + B = C + D образует суждение, а совокупность A B C + = D суждения не образует. Только рассмотрение элементов и их распределения со ссылкой на систему языка — естественную или искусственную — позволяет провести различие между тем, что является суждением и тем, что суждением не является, между тем, что является предложением, и тем, что является простым нагромождением слов. Более того, этого рассмотрения достаточно, чтобы определить, к какому типу грамматической структуры принадлежит предложение, о котором идет речь (здесь это утвердительное предложение, в прошедшем времени, с именным подлежащим и т. д.), или какому типу суждения соответствует рассматриваемый ряд знаков (здесь — равенство двух сложений). В предельном случае мы можем представить предложение или суждение, которое определяется «только через самого себя», без какого-либо другого предложения или суждения, служащего ему контекстом, без какой-либо другой совокупности ассоциированных суждений или предложений: тот факт, что они, вероятно, бесполезны и неприменимы в таком виде, не мешает тому, чтобы

в них можно было бы распознать предложения или суждения в их своеобразии.

Очевидно, можно привести некоторые возражения. Например, сказать, что суждение может быть установлено и индивидуализировано как таковое только при условии, что известна система аксиом, которым оно подчиняется: разве эти определения, эти правила, эти условности письменной фиксации не формируют ассоциированного поля, которое невозможно отделить от суждения (так же как и правила грамматики, имплицитно входящие в компетенцию субъекта, необходимы, чтобы можно было бы распознать предложение, причем предложение определенного типа)? Однако необходимо отметить, что такая совокупность — актуальная или потенциальная — принадлежит к иному уровню, чем суждение или предложение; она относится к их элементам, к их возможному сцеплению и распределению. Она не ассоциирована с ними: она ими предполагается. Также можно возразить, что многие (не тавтологические) суждения не могут быть верифицированы, исходя только из правил их построения, и чтобы решить, истинны они или ложны, необходимо обращение к референту, но суждение остается суждением, безотносительно того, является ли оно истинным или ложным, и ответ на вопрос, является ли оно суждением или нет, не решается обращением к референту. Точно так же дело обстоит и с предложением: во многих случаях предложения могут иметь смысл только в контексте (либо потому, что они включают в себя «дейктические» элементы, отсылающие к конкретной ситуации; либо потому, что они содержат местоимения первого или второго лица, обозначающие говорящего субъекта и

его собеседников; либо потому, что они используют другие местоимения или связующие частицы, отсылающие к предыдущим или последующим предложениям). Но даже если его смысл не может быть законченным, это не мешает предложению быть грамматически полным и автономным. Конечно, не до конца ясно, что «означает» такая совокупность знаков, как «А это я скажу вам завтра»; во всяком случае, мы не можем ни датировать этот следующий день, ни назвать собеседников, ни догадаться, о чем пойдет речь. И тем не менее речь идет о предложении, имеющем четкие границы, которые соответствуют правилам построения французского языка. Наконец, можно возразить, что иногда без контекста сложно определить структуру предложения («Я никогда не узнаю о его смерти» может означать: «В том случае, если он уже умер, мне никогда не станет это известно» или же: «Я никогда не буду извещен о его смерти»). Но здесь речь идет о двусмысленности, которая прекрасно поддается определению, одновременные возможности которой мы легко можем перечислить и которая является составной частью собственной структуры предложения. В общем, можно сказать, что предложение или суждение — даже изолированное, даже оторванное от проясняющего его естественного контекста, даже освобожденное или отъединенное от всех тех элементов, к которым имплицитно или эксплицитно оно может отсылать, — всегда остается предложением или суждением, и его всегда можно распознать как таковое.

Наоборот, функция высказывания — показывающая тем самым, что она не является простым построением из предварительно заданных элементов, — не может осуществляться в отдельно взятом

предложении или суждении. Недостаточно произнести какое-то предложение, недостаточно даже произнести его в определенном отношении к полю объектов или в определенном отношении к субъекту, чтобы появилось высказанное, то есть чтобы можно было говорить о высказывании, нужно соотнести это предложение со всем примыкающим к нему полем. Или, скорее, поскольку речь здесь идет не о некоем дополнительном отношении, которое накладывается поверх других отношений, невозможно произнести предложение, невозможно довести его до уровня высказывания, не используя при этом коллатеральное пространство. Высказывание всегда имеет края, заполненные другими высказываниями. Эти края отличаются от того, что обычно понимают под «контекстом» — реальным или вербальным, — то есть от совокупности ситуативных или речевых элементов, мотивирующих формулировку и определяющих ее смысл. И они отличаются от него, поскольку делают его возможным: контекстуальное отношение между отдельным предложением и окружающими его предложениями является различным, когда, например, мы имеем дело с романом или с физическим трактатом; точно так же различно и отношение между формулировкой и объективной средой, когда речь идет о разговоре или об экспериментальном отчете. Лишь на основе более общего отношения между формулировками, на основе целой вербальной сети может определиться эффект контекста. Эти края также не тождественны различным текстам и различным предложениям, которые могут быть в голове у говорящего субъекта; и здесь вновь они оказываются более протяженными, чем такое психологическое окружение. В ка-

кой-то степени они его детерминируют, поскольку в соответствии с позицией, статусом и ролью одной формулировки среди всех других формулировок — в зависимости от того, вписывается ли она в поле литературы или должна исчезнуть как не имеющее значения замечание, в зависимости от того, входит ли она в рассказ или участвует в проведении доказательства, — способ присутствия других высказываний в сознании субъекта будет различным: то есть в каждом из этих случаев используются другой уровень и другая форма лингвистического опыта, вербальной памяти, мысленного воскрешения уже сказанного. Психологический ореол формулировки на расстоянии управляется расположением поля высказывания.

Ассоциированное поле, которое делает из предложения или ряда знаков высказывание, а также позволяет им иметь определенный контекст и специфическое репрезентативное содержание, создает сложную канву. Прежде всего, оно конституируется рядом других формулировок, внутрь которых вписывается высказывание и образует там некий элемент (это череда реплик, создающих разговор, построение доказательства, с одной стороны ограниченного своими допущениями, а с другой — своим заключением, последовательность утверждений, создающих рассказ). Это поле образовано также совокупностью формулировок, к которым (имплицитно или эксплицитно) отсылает высказывание для того, чтобы либо их повторить, либо их изменить или приспособить, либо противопоставить себя им или в свою очередь говорить о них. Не существует высказывания, которое так или иначе не реактуализировало бы другие высказывания (привычные элементы в

13 Зак. 3653

рассказе, суждения, уже принятые в каком-то доказательстве, расхожие фразы в разговоре). Оно образовано также и совокупностью формулировок, высказывание которых подготавливает дальнейшую возможную ситуацию и которые могут стать его следствием, его естественным продолжением или ответом на него (так, приказ открывает для высказывания другие возможности, чем аксиоматические суждения или начало рассказа). Наконец, это поле образовано совокупностью формулировок, чей статус разделяется рассматриваемым высказыванием, среди которых оно располагается без учета линейного порядка, вместе с которыми оно исчезнет или, наоборот, будет переоценено, сохранено, сакрализовано и предложено будущему дискурсу в качестве возможного объекта (высказывание неотделимо от статуса, который оно может получить, — такого, например, как «литература», или такого, как быстро забывающееся, несущественное замечание, или такого, как раз и навсегда установленная научная истина, или пророческие слова и т. д.). В целом можно сказать, что последовательность лингвистических элементов является высказыванием только в том случае, когда она погружена в поле высказывания, в котором она предстает тогда как единичный элемент.

Высказывание — это не прямая проекция определенной ситуации или совокупности представлений на плоскость речи. Это не простое использование говорящим субъектом определенного числа лингвистических элементов и правил. С самого начала, с самого своего возникновения, оно выкраивается на фоне поля высказывания, в котором у него есть свое место и статус и которое обеспечивает ему возможные отношения с прошлым и открывает ему вероят-

ное будущее. Таким образом, всякое высказывание оказывается специфицированным: нет высказывания вообще, высказывания свободного, нейтрального и независимого, но есть только такое высказывание, которое составляет часть ряда или совокупности, играет определенную роль среди других высказываний, опирается на них и от них отличается. Высказывание всегда включается в череду других высказываний, в которой занимает свое место, каким бы незначительным и ничтожным оно ни было. Если для своего осуществления грамматическая конструкция нуждается только в элементах и правилах; если в предельном случае можно было бы представить себе язык (искусственный, конечно), пригодный для построения лишь одного-единственного предложения; если даны список символов и правила построения и преобразования формальной системы, то представляется возможным совершенно точно определить первое суждение такого языка: в случае же высказывания все обстоит иначе. Нет высказывания, которое не предполагало бы других высказываний; нет ни одного высказывания, вокруг которого не было бы поля сосуществований, эффектов ряда и последовательности, распределения функций и ролей. О высказывании можно говорить постольку, поскольку предложение (или суждение) фигурирует в определенной точке и обладает детерминированной позицией в превосходящей его череде высказываний.

На этом фоне сосуществования высказываний, на автономном и поддающемся описанию уровне, выделяются грамматические связи между предложениями, логические связи между суждениями, металингвистические связи между языком-объектом

и языком, определяющим правила этого языка-объекта, риторические связи между группами (или элементами) предложений. Конечно, допустимо анализировать все эти связи, не принимая за предмет рассмотрения само поле высказывания, то есть ту область сосуществования, где осуществляется функция высказывания. Но существовать и быть доступными анализу эти связи могут лишь постольку, поскольку эти предложения были «высказаны»; или, другими словами, поскольку они разворачиваются в поле высказывания, которое позволяет им следовать друг за другом, располагаться в определенном порядке, сосуществовать и играть определенную роль по отношению к другим предложениям. Высказывание вовсе не является принципом индивидуализации означающих совокупностей (значащим «атомом», тем минимумом, начиная с которого появляется смысл), высказывание — это то, что помещает эти значащие единства в некое пространство, где они множатся и накапливаются.

*d*) Наконец, для того чтобы последовательность лингвистических элементов могла быть рассмотрена и проанализирована как высказывание, нужно, чтобы она отвечала четвертому условию: она должна обладать материальным существованием. Разве можно было бы говорить о высказывании, если бы его не произнес голос, если бы некая поверхность не несла его знаков, если бы оно не воплотилось в некой ощутимой среде и если бы оно уже не оставило следа — пусть только на какие-то мгновения — в памяти или в пространстве? Разве можно было бы говорить о высказывании как об идеальной и безмолвной фигуре? Высказывание всегда дано через

материальную толщу, даже если она скрыта, даже если, едва появившись, она обречена исчезнуть. И дело не только в том, что высказывание нуждается в этой материальности; она не дана ему в дополнение сразу после того, как были четко зафиксированы все его детерминации: она сама его частично создает. Составленное из одних и тех же слов, наделенное совершенно одним и тем же смыслом, сохраняемое в своей синтаксической и семантической тождественности, предложение образует разные высказывания, если оно произнесено кем-то во время разговора или напечатано в романе; или если оно было написано когда-то давно, много столетий тому назад, и теперь появляется вновь в устной формулировке. Координаты и материальный статус высказывания входят в число его внутренне присущих признаков. Это очевидно. Или почти что очевидно. Ибо как только мы хоть чуть-чуть к этому приглядимся, все начинает путаться и количество проблем увеличивается. Конечно, мы испытываем искушение сказать, что если высказывание, хотя бы отчасти, характеризуется своим материальным статусом и если его тождественность восприимчива к видоизменению этого статуса, то так же обстоит дело и с предложениями или суждениями: действительно, материальность знаков не совсем безразлична грамматике или даже логике. Известны теоретические проблемы, которые ставит перед логикой материальное постоянство используемых символов (как определить тождественность символа в различных субстанциях, в которых он может воплощаться, и как определить вариации формы, которые он допускает? Как распознать символ и удостовериться, что он не изменился, если его следует определить

как «конкретное физическое тело»?); известны также и проблемы, которые ставит перед логикой само понятие следования символов (Что значит предшествовать и следовать? Идти «до» и «после»? В каком пространстве располагается подобная упорядоченность?) Еще лучше известны отношения между материальностью и языком: роль письменности и алфавита, тот факт, что в письменной речи и устной речи, в газете и книге, в письме и объявлении используются разный синтаксис и разная лексика; более того, существуют последовательности слов, которые, фигурируя в броских газетных заголовках, формируют вполне индивидуализированные и вполне допустимые предложения, но, однако, в разговоре они никогда не были бы восприняты как осмысленные предложения. Однако в высказывании материальность играет гораздо более значительную роль: она является не просто принципом вариации, видоизменением критериев узнаваемости или детерминацией лингвистических под-совокупностей. Она является составляющей самого высказывания: необходимо, чтобы высказывание имело субстанцию, опору, место и дату. И когда эти реквизиты видоизменяются, то и само высказывание меняет свою тождественность. И сразу возникает множество вопросов: одно и то же предложение, повторенное вслух или про себя, формирует одно высказывание или несколько? Каждое ли прочтение выученного наизусть текста порождает новое высказывание, или нужно считать, что повторяется одно и то же высказывание? Предложение, точно переведенное на иностранный язык, — это два различных высказывания или одно-единственное высказывание? А сколько возможно насчитать высказываний в коллективном чтении наизусть — на

молитве или на уроке? Как установить тождественность высказывания во всех этих разнообразных обстоятельствах, повторениях, транскрипциях? Проблема, вероятно, затемняется еще и тем, что здесь часто смешивают различные уровни. Прежде всего, нужно исключить многообразие актов высказывания. Будем считать, что акт высказывания существует всегда, когда совокупность знаков оказывается высказанной. Каждая из этих артикуляций имеет свою пространственно-временну́ю индивидуальность. Два человека могут одновременно говорить одно и то же: поскольку их двое, будет два различных акта высказывания. Один и тот же субъект может несколько раз повторить одно и то же предложение: ровно столько же будет и различающихся во времени, актов высказывания. Акт высказывания — это событие, которое не повторяется: оно обладает такой пространственной и временно́й единичностью, которая не может быть редуцирована. Однако эта единичность не затрагивает известного числа констант — грамматических, семантических, логических, — при помощи которых, нейтрализуя момент акта высказывания и индивидуализирующие его координаты, можно распознать общую форму предложения, значения и суждения. Время и место акта высказывания, так же как и материальная опора, которая им используется, становятся тогда по большей части неважными, и выделяется форма, которая может быть повторена бессчетное количество раз и которая способна породить акты высказывания самого широкого рассеивания. Однако само высказывание не может быть сведено к этому чистому событию акта высказывания, потому что, несмотря на свою материальность, высказывание может быть повторено:

у нас не возникнет затруднений установить, что одно и то же предложение, произнесенное двумя людьми, хотя и в несколько различных обстоятельствах, образует только одно высказывание. Однако, высказывание не сводится к одной лишь грамматической или логической форме, поскольку оно — в большей степени и несколько иначе, чем акт высказывания, — чувствительно к различиям материи, субстанции, времени и места. Что же представляет собой эта присущая высказыванию материальность, которая допускает некоторые единичные типы повторения? Как получается, что можно говорить об одном и том же высказывании там, где имеется несколько различных актов высказывания, тогда как следует говорить о нескольких высказываниях там, где мы можем признать тождественные формы, структуры, правила построения и цели? Что же представляет собой этот режим *материальности, возможной для повторения,* которая характеризует высказывание?

Вероятно, это не есть чувственно воспринимая, качественная материальность, данная в виде цвета, звука или твердости и разбитая на квадраты при помощи той же пространственно-временно́й разметки, что и перцептивное пространство. Возьмем очень простой пример: текст, воспроизведенный несколько раз, идущие друг за другом издания книги или, еще лучше, различные экземпляры одного и того же тиража не порождают соответствующего же количества различающихся высказываний: во всех изданиях «Цветов зла»[3] (за исключением различных

[3] Речь идет о знаменитом сборнике стихов «Цветы зла» (1857) французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867). — *Прим. ред.*

редакций и отвергнутых текстов) мы обнаруживаем один и тот же набор высказываний; однако ни шрифт, ни типографская краска, ни бумага, ни в любом случае расположение текста и местоположение знаков не являются одинаковыми: изменилась вся фактура материальности. Но в данном случае эти «небольшие» различия неспособны исказить тождественность высказывания и вызвать к существованию другое высказывание: все они нейтрализованы в общей — конечно, материальной, но также институциональной и экономической — среде «книги»: любая книга — каково бы ни было число ее экземпляров или изданий, как бы разнообразны ни были используемые ею субстанции, — это место точной эквивалентности для высказываний, она является для них инстанцией повторения без изменения тождественности. Уже на этом первом примере видно, что материальность высказывания определяется отнюдь не занятым пространством или временем формулировки, а, скорее, статусом вещи или объекта. Статусом, никогда не окончательным, но поддающимся видоизменению, относительным и всегда допускающим пересмотр: например, хорошо известно, что для историков литературы издание книги, опубликованное стараниями автора, имеет иной статус, чем посмертные издания, что высказывания имеют в нем своеобразную ценность, что они не являются одним из проявлений одной и той же совокупности, что они суть то, по отношению к чему существует и должно существовать повторение. Точно так же нельзя сказать, что существует эквивалентность между текстом конституции, завещания или религиозного откровения и всеми рукописными или печатными текстами, которые их точно

воспроизводят, в том же стиле, теми же буквами и на аналогичных материалах: с одной стороны, существуют сами высказывания, с другой — их воспроизведение. Высказывание не отождествляется с фрагментом материи; однако его тождественность меняется вместе со сложным режимом материальных установлений.

Ибо высказывание, написанное на листке бумаги или опубликованное в книге, может быть одним и тем же; произнесенное устно, напечатанное в объявлении или воспроизведенное на магнитофоне, оно также может быть одним и тем же; и наоборот, когда автор романа в своей повседневной жизни произносит какое-то предложение, а затем, в том же виде помещает его в свою рукопись, приписывая его некоему персонажу или даже позволяя его произнести тому анонимному голосу, который считается голосом автора, то нельзя сказать, что в обоих случаях речь идет об одном и том же высказывании. Таким образом, режим материальности, которому по необходимости подчиняются высказывания, относится, скорее, к порядку социального института, чем к порядку пространственно-временнóй локализации; он определяет в большей степени *возможности повторной записи и транскрипции* (а также пороги и границы), чем ограниченные и преходящие индивидуальности.

Тождественность высказывания зависит и от другой совокупности условий и границ: от тех условий и границ, что предписываются ему той совокупностью других высказываний, среди которых оно фигурирует, той областью, в которой его можно использовать или применять, той ролью или функциями, которые оно должно исполнять. Утверждения,

что земля круглая или что виды эволюционируют, образуют различные высказывания до и после Коперника[4], до и после Дарвина; и не потому, что в этих столь простых формулировках изменился смысл слов; была видоизменена сама связь этих утверждений с другими суждениями, изменились условия их использования и нового применения, изменилось само поле опыта, возможных верификаций, требующих разрешения проблем, — то есть то поле, с которым они могут быть соотнесены. Предложение «Сны реализуют желания» вполне могло повторяться на протяжении целых столетий; однако у Платона и у Фрейда это будут разные высказывания. Схемы использования, правила употребления, констелляции, в которых они могут играть определенную роль, их стратегические возможности образуют для высказываний *поле стабилизации*, которое, несмотря на все различия в акте высказывания, позволяет повторить их в их тождественности; но это же самое поле в наиболее очевидных семантических, грамматических или формальных тождествах может также определить порог, за которым уже не существует эквивалентности и нужно признать появление нового высказывания. Но, вероятно, можно пойти еще дальше: можно считать, что существует одно и то же высказывание там, где тем не менее слова, синтаксис и сам язык не являются тождественными. Будь то публичное выступление и его синхронный перевод; будь то научный текст на английском языке и его французская версия; будь то объявление в три столбца на трех различных язы-

[4] *Коперник Николай* (1473–1543) — польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. — *Прим. ред.*

ках — здесь не возникает такого же количества высказываний, сколько используется языков, а, напротив, появляется одна совокупность высказываний, представленная в различных лингвистических формах. Более того: уже существующая информация может быть вновь выражена другими словами, упрощенным синтаксисом или в условном коде; если информационное содержание и возможности его использования являются одними и теми же, то можно сказать, что и здесь и там — это одно и то же высказывание.

И здесь опять речь идет не о критерии индивидуализации высказывания, а, скорее, о его принципе варьирования: высказывание то более разнообразно, чем структура предложения (и тогда его тождественность является более тонкой, более хрупкой, легче поддающейся видоизменению, чем тождественность семантической или грамматической совокупности), то более постоянно, чем эта структура (и тогда его тождественность является более широкой, более стабильной, менее восприимчивой к вариациям). Более того: не только тождественность высказывания не может быть раз и навсегда установлена относительно тождественности предложения, но и сама она является относительной и колеблется в зависимости от употребления, которое предусматривается для высказывания, и того способа, каким с ним обращаются. Когда высказывание используют для того, чтобы выделить его грамматическую структуру, риторическую конфигурацию или коннотации, носителем которых оно является, то, очевидно, что мы не можем рассматривать его как тождественное, когда оно представлено на своем родном языке и в переводе. И наоборот, если мы хотим

включить высказывание в процедуру экспериментальной верификации, тогда текст и перевод образуют одну и ту же совокупность высказывания. Или еще пример: в определенном масштабе макроистории можно считать, что такое утверждение, как «Виды эволюционируют» формирует одно и то же высказывание у Дарвина и у Симпсона[5]; на более тонком уровне, рассматривая более ограниченные поля использования («неодарвинизм» в противоположность собственно дарвинистской системе), мы имеем дело уже с двумя различными высказываниями. Постоянство высказывания, сохранение его тождественности в единичных событиях актов высказывания, его раздвоения в тождественности форм — все это является функцией *поля использования*, в которое оно оказывается помещенным.

Мы видим, что высказывание не должно рассматриваться как событие, которое, вероятно, произошло в определенное время и в точно определенном месте и которое можно разве что оживить в памяти — и издали его поприветствовать. Но мы видим, что оно не является и той идеальной формой, которая всегда может быть актуализирована в каком-либо воплощении, в любой совокупности и при любых материальных условиях. Слишком легко повторяемое, чтобы быть полностью согласованным с пространственно-временны́ми координатами своего рождения (оно есть нечто иное, чем дата и место своего появления), слишком связанное с тем, что его окружает и поддерживает, чтобы быть столь же свободным, как чистая форма (оно есть нечто иное, чем

[5] *Симпсон Джордж* (1902–1984) — выдающийся американский палеонтолог. — *Прим. ред.*

закон построения, касающийся совокупности элементов), высказывание наделено видоизменяемой тяжеловесностью, грузом, связанным с тем полем, в котором оно расположено, устойчивостью, которая допускает различные использования, временны́м постоянством, которое не имеет инертности простого следа и не дремлет в своем собственном прошлом. В той мере, в какой акт высказывания может быть *возобновлен* или *вновь вызван* в *памяти*, в какой форма (лингвистическая или логическая) может быть *реактуализирована*, способность быть *повторенным*, но быть повторенным всегда в строгих условиях, присуща только высказыванию.

Эта открытая для повторения материальность, характеризующая функцию высказывания, показывает высказывание как специфический и парадоксальный объект, но тем не менее как объект, находящийся среди всех тех объектов, которые создают люди, которыми они манипулируют, которые они используют, видоизменяют, обменивают, комбинируют, разлагают и снова соединяют, а иногда и разрушают. Вместо того чтобы быть чем-то сказанным раз и навсегда — и затеряться в прошлом как, например, исход сражения, геологическая катастрофа или смерть короля — высказывание, в то же самое время как оно возникает во всей своей материальности, наделяется статусом, входит в сети, располагается в полях использования, предлагает себя для возможных перенесений и видоизменений, интегрируется в операции и стратегии, в которых либо сохраняется, либо исчезает его тождественность. Таким образом, высказывание циркулирует, служит для чего-либо, скрывается из вида, позволяет или мешает

реализоваться желаниям, покоряется или сопротивляется чьим-либо интересам, вступает в сферу споров и борьбы и становится объектом присвоения или соперничества.

## III. *Описание высказываний*

Теперь фронт анализа значительно смещается. Прежде я хотел вернуться к тому определению высказывания, которое в самом начале было оставлено недоработанным. Все происходило и обо всем говорилось так, словно высказывание было легко устанавливаемым единством, возможности и законы группирования которого следовало описать. Однако, возвращаясь к своим мыслям, я заметил, что не могу определить высказывание как единство лингвистического типа (которое находится на более высоком уровне по отношению к фонеме и слову, но на более низком по отношению к тексту). Я заметил, что, скорее, имел дело с функцией высказывания, которая вводит в действие различные единства (иногда совпадающие с предложениями, иногда с суждениями, а иногда составленные из отрывков предложений, рядов или таблиц знаков, из набора эквивалентных суждений или формулировок). И вместо того чтобы придавать «смысл» таким единствам, эта функция высказывания связывает их с полем объектов; вместо того чтобы приписывать им субъекта, она открывает им совокупность возможных субъективных позиций; вместо того чтобы фиксировать их границы, она располагает их в области согласования и сосуществования; и, наконец, вместо того чтобы опреде-

лять их тождественность, она располагает их в неком пространстве, в которое они помещены, где они использованы и повторены. Короче говоря, стало ясно, что я имею дело не с атомарным высказыванием — с его смысловым результатом, происхождением (origine), пределами и индивидуальностью, — а с полем осуществления функции высказывания и с условиями, в соответствии с которыми она выявляет различные единства (которые могут быть, но необязательно, грамматического или логического порядка). Но теперь мне нужно ответить на два вопроса: как понимать изначально поставленную задачу описания высказываний? И как совместить эту теорию высказываний с анализом дискурсивных формаций, намеченным ранее и независимо от нее?

### А

1. Задача первая: установить терминологию. Если мы согласимся называть *вербальной реализацией* или лучше *лингвистической реализацией* любую совокупность знаков, действительно возникающих на основе естественного (или искусственного) языка, то мы сможем назвать *формулировкой* индивидуальный (или, в крайнем случае, коллективный) акт, выявляющий такую группу знаков в любом материале и в соответствии с определенной формой. Формулировка — это событие, которое, по крайней мере *de jure*, всегда может быть повторено в соответствии с пространственно-временны́ми координатами и всегда может быть приписано конкретному автору. В отдельных случаях формулировка сама по себе может образовывать специфический акт («перформативный» акт, как говорят английские аналити-

ки). Мы будем называть *предложением* или *суждением* те единства, которые грамматика или логика могут распознать в совокупности знаков: эти единства всегда могут быть охарактеризованы заключенными в них элементами и правилами построения, объединяющими эти элементы. По отношению к предложению или суждению вопросы происхождения (origine), времени, места и контекста являются не более чем вспомогательными; решающий вопрос — это вопрос их корректности (пусть даже и в виде «приемлемости»). Мы будем называть *высказыванием* модальность существования, присущую такой совокупности знаков, — модальность, которая позволяет ей быть чем-то иным, чем ряд следов, чем последовательность меток, оставленных на какой-либо субстанции, чем какой-либо объект, созданный человеком; модальность, которая позволяет ей находиться в отношении с областью объектов, предписывать точно определенную позицию любому возможному субъекту, быть размещенной среди других вербальных реализаций и, наконец, быть наделенной открытой для повторения материальностью. Что же касается термина «дискурс», который мы здесь употребляли и которым часто злоупотребляли, используя его в самых различных смыслах, то теперь мы можем понять причину его неоднозначности: наиболее общим и неточным образом этот термин обозначал совокупность вербальных реализаций, и тогда мы понимали под дискурсом то, что было действительно создано (иногда — все, что было создано) из совокупностей знаков. Но под этим термином мы понимали также и совокупность актов формулировки, ряд предложений или суждений. Наконец, — и это тот самый смысл, который в ре-

зультате стал основным (наряду с первым, который служит ему горизонтом), — дискурс создается совокупностью последовательностей знаков, если таковые представляют собой высказывания, то есть если мы можем приписать им особые модальности существования. И если мне удастся показать, чем я сейчас и собираюсь заняться, что закон подобного ряда — это именно то, что я до сих пор называл *дискурсивной формацией*, если мне удастся показать, что дискурсивная формация действительно является принципом рассеивания и размещения не формулировок, не предложений, не суждений, а именно высказываний (в том значении, которое я придал этому слову), то термин «дискурс» может быть установлен теперь достаточно точно: это совокупность высказываний, подчиняющихся одной и той же системе формирования. И поэтому я могу говорить о клиническом дискурсе, экономическом дискурсе, о дискурсе естественной истории, о психиатрическом дискурсе.

Мне хорошо известно, что в большинстве своем эти определения не соответствуют обычному употреблению: лингвисты придают совершенно иной смысл слову «дискурс», а логики и аналитики иначе используют термин «высказывание». Но здесь я не собираюсь переносить весь набор понятий, форму анализа или возможно уже созданную где-то теорию, в ту область, которая, как представляется, только и ждет такого освещения. Я не собираюсь использовать какую-либо модель, применяя ее, со всей присущей ей эффективностью, к новым содержаниям. И конечно, не потому, что я хотел бы оспорить ценность подобной модели или без предварительной проверки, ограничить ее значимость и властно

указать на тот предел, который она не должна преступать. Но я хотел бы выявить некую возможность описания, наметить предполагаемую ею область и определить ее границы и автономию. Эта возможность описания сочленяется с другими возможностями, но не проистекает из них.

Мы видим, в частности, что анализ высказываний не претендует на полное и исчерпывающее описание «речи» или «того, что было сказано». Среди всей той толщи, которая предполагается вербальными реализациями, анализ высказываний располагается на особом уровне, который должен быть выделен из других уровней, охарактеризован по отношению к ним и абстрагирован. В частности, он не претендует на место логического анализа суждений, грамматического анализа предложений, психологического или контекстуального анализа формулировок. Он представляет собой иной способ рассмотрения вербальных реализаций, разложения их сложности, выделения пересекающихся в них терминов и подчеркивания различных закономерностей, которым они подчиняются. Вводя понятие «высказывание» наряду с понятиями «предложение» или «суждение», мы не пытаемся ни обрести утраченную целостность (totalité), ни воскресить, повинуясь неумолчной ностальгии, полноту живого слова, богатство глагола, глубокое единство Логоса. Анализ высказываний соответствует определенному выше уровню описания.

2. Итак, высказывание — это не элементарное единство, которое можно было бы добавить к единствам, описанным грамматикой или логикой, или смешать с ними. Оно не может быть выделено наподобие предложения, суждения или акта формули-

ровки. Описать высказывание — это не значит выделить и охарактеризовать некий горизонтальный сегмент; это значит определить условия, в которых осуществилась функция, вызвавшая к существованию, и существованию специфическому, ряд знаков (необязательно грамматически или логически структурированный). В таком существовании этот ряд знаков проявляется не просто как след, а, скорее, как отношение к области объектов; не как результат индивидуального действия или операции, а, скорее, как набор позиций, возможных для субъекта; не как некая органическая целостность (totalité), автономная, замкнутая на самой себе и способная самостоятельно создавать смысл, а, скорее, как элемент в поле сосуществования; не как скоротечное событие или инертный объект, а, скорее, как открытая для повторения материальность. Описание высказываний в соответствии со своего рода вертикальным измерением, касается условий существования различных означающих совокупностей. Отсюда и парадокс: с одной стороны, описание высказываний не пытается очертить вербальные реализации для того, чтобы обнаружить за ними или под их видимой поверхностью некий скрытый элемент, тайный смысл, который в них коренится или молчаливо через них пробивается; с другой стороны, высказывание отнюдь не является непосредственно видимым, оно предстает не так очевидно, как грамматическая или логическая структура (даже если она не полностью понятна, даже если она очень сложна для прояснения). Высказывание одновременно и не видимо, и не сокрыто.

Не сокрыто по определению, поскольку характеризует модальности существования, присущие совокупности действительно созданных знаков. Ана-

лиз высказывания может относиться только к сказанному, к предложениям, которые были реально произнесены или написаны, к означающим элементам, которые были начертаны или артикулированы, а точнее, к той единичности, которая вызывает их к существованию, предлагает взгляду, прочтению, вероятной реактивации, тысяче возможных применений или преобразований, среди других вещей, но совершенно иным способом. Анализ высказываний может касаться только осуществленных вербальных реализаций, поскольку он анализирует их на уровне их собственного существования: это описание сказанного в том самом виде, как оно было сказано. Таким образом, анализ высказывания — это анализ исторический, но воздерживающийся от любой интерпретации: он не выясняет у сказанного, что же оно в себе таит, что было в нем, и вопреки ему, сказано, и каково скрываемое им не-сказанное, каково изобилие населяющих его мыслей, образов или фантазмов; наоборот, анализ высказывания выясняет, в какой форме существует сказанное, что значит для него выявиться, оставить следы и, может быть, пребывать там для нового возможного употребления; анализ высказывания выясняет, что значит для сказанного — именно для него, а ни для чего другого на его месте — появиться. С этой точки зрения мы не признаем латентного высказывания, поскольку то, что мы рассматриваем, — это потенция существующего языка.

Конечно, с этим положением нелегко согласиться. Хорошо известно — возможно, с той самой поры, как только люди начали говорить, — что часто говорится одно вместо другого, что одно и то же предложение может одновременно иметь два различных

значения, что очевидный смысл, легко признаваемый всеми, может таить в себе второй смысл, эзотерический или пророческий, который может быть обнаружен при более тщательной расшифровке или просто с эрозией времени; что под видимой формулировкой может скрываться другая, которая ею управляет, теснит ее, нарушает, предписывает только ей присущую артикуляцию, короче говоря, что так или иначе в сказанном заключается гораздо больше, чем сказано. Но в действительности такие результаты удвоения или раздвоения, такое не-сказанное, которое, несмотря ни на что, оказывается сказанным, все это не затрагивает высказывания, по крайней мере такого, как оно было здесь определено. Полисемия, допускающая герменевтику и позволяющая обнаружить другой смысл, касается предложения и используемых им семантических полей: одна и та же совокупность слов может породить многие смыслы и многие возможные конструкции. Значит, в одной и той же совокупности слов возможно существование различных переплетенных или чередующихся значений, но базирующихся на остающемся неизменном цоколе высказывания. Точно так же подавление одной вербальной реализации другой, их замещение или взаимодействие суть феномены, относящиеся к уровню формулировки (даже если они отражаются на лингвистических или логических структурах); но такое раздвоение или вытеснение не затрагивает само высказывание, поскольку оно является модальностью существования вербальной реализации в том виде, в каком она была осуществлена. Высказывание не может рассматриваться как кумулятивный результат или кристаллизация нескольких зыбких, едва артикулированных, отвер-

гающих друг друга высказываний. Высказывание не находится под влиянием тайного присутствия не-сказанного, скрытых значений или подавлений. Напротив, то, как эти скрытые элементы действуют и как они могут быть воссозданы, зависит от самой модальности высказывания: хорошо известно, что «не-сказанное», «подавленное» не являются одинаковым — ни по структуре, ни по результату, — когда речь идет о математическом или экономическом высказывании, когда речь идет об автобиографии или пересказе сновидения.

Однако ко всем этим различным модальностям *не-сказанного*, которые могут проявиться на фоне поля высказывания, следует, вероятно, добавить *нехватку*, которая находилась бы не внутри этого поля, а, скорее, являлась бы для него коррелятивной и участвовала бы в детерминации самого его существования. Действительно, в условиях возникновения высказываний всегда могут быть — и всегда, вероятно, есть — исключения, границы или лакуны, разрезающие систему их отсылок, узаконивающие один-единственный ряд модальностей, окружающие и закрывающие группы сосуществования, препятствующие некоторым формам использования. Однако не нужно смешивать, ни по статусу — ни по производимому ими результату — характерную нехватку закономерности в высказывании и тайные значения того, что в нем сформулировано.

3. Однако хотя высказывание и не сокрыто, тем не менее оно и не видимо, оно не представляется восприятию как очевидный носитель своих границ и признаков. Необходимо определенным образом изменить точку зрения и установку, чтобы суметь

распознать и рассмотреть высказывание в нем самом. Возможно, оно является тем самым слишком хорошо знакомым нечто, которое постоянно от нас ускользает. Возможно, оно подобно тем привычным прозрачностям, которые не настолько ясно нам представляются, чтобы ничего не таить в своих глубинах. Уровень высказывания вырисовывается в своей непосредственной близости.

Этому есть несколько причин. Первая уже была названа: высказывание не является единством, находящимся в одном ряду — выше или ниже — с предложениями или суждениями; оно всегда облечено в единства такого рода или даже в последовательности знаков, которые не подчиняются законам построения предложений или суждений (они могут быть списками, случайными рядами, или таблицами). Высказывание характеризует не то, что в них дается, или тот способ, каким они разграничены, а сам факт данности, и тот способ, каким они даны. Оно обладает той квазиневидимостью «есть» (il y a), которая исчезает даже в том, о чем можно сказать: «есть то-то или то-то».

Следующая причина заключается в том, что означающая структура речи всегда отсылает к чему-то другому; объекты оказываются в ней обозначенными, смысл намечен и субъект, даже если он и не присутствует, отмечен определенным количеством знаков. Речь всегда кажется наполненной понятиями «другой», «другое место», «отстоящее», «удаленное»; речь источена отсутствием. Не является ли она местом появления чего-то иного, а не самой себя, и не создается ли впечатление, что в этой ее функции рассеивается ее же собственное существование? Однако, если мы хотим описать уровень высказывания,

нужно принять во внимание само это существование, вопрошать речь, двигаясь не в том направлении, которое она указывает, а в том измерении, которое ее создает; нужно пренебречь ее способностью обозначать, называть, показывать, выявлять, быть местом пребывания смысла или истины, и вместо этого необходимо задержаться на моменте — тут же застывшем, тут же включенным во взаимодействие между означающим и означаемым, — который определяет ее единичное и ограниченное существование. То есть при рассмотрении речи необходимо на время отложить не только точку зрения означаемого (к чему мы уже привыкли), но и точку зрения означающего, для того чтобы показать, что в обоих случаях в соответствии с областями возможных объектов и субъектов, в соответствии с другими возможными формулировками и повторными использованиями имеется *факт* речи.

И наконец, последняя причина этой квази-невидимости высказывания: оно предполагается всеми другими анализами речи, но они никогда его не выявляют. Для того чтобы речь могла быть принята в качестве объекта, распределена между различными уровнями, описана и проанализирована, нужно, чтобы существовала некая «данность высказывания», всегда определенная и не бесконечная. Анализ языка всегда осуществляется на корпусе слов и текстов; интерпретация и выявление имплицитных значений всегда основываются на ограниченной группе предложений; логический анализ системы предполагает в повторном акте записи, в формальном языке некую данную совокупность суждений. Что же касается уровня высказывания, то он всякий раз оказывается нейтрализованным: либо потому,

что он определяется только как репрезентативный образец, позволяющий высвободить те структуры, которые могут неограниченно применяться; либо потому, что он скрывается в прозрачной видимости, за которой должна обнаружиться истина других слов; либо потому, что вся его ценность состоит в том, чтобы быть нейтральной субстанцией, служащей опорой формальным отношениям. И тот факт, что этот уровень всегда необходим для того, чтобы анализ мог состояться, делает его неподходящим для такого анализа. Если мы к этому добавим, что все эти описания могут осуществляться только при условии, что сами они образуют конечные совокупности высказываний, то сразу станет понятно, почему со всех сторон их окружает поле высказывания, почему они не могут от него освободиться и непосредственно принять его за тему. Рассматривать высказывания сами по себе — это не значит искать за всеми этими анализами, причем на более глубоком уровне, некую тайну или некую основу речи, вероятно, ими упущенную. Это значит попытаться сделать видимой и анализируемой ту, столь близкую прозрачность, которая является составной частью их возможности.

Уровень высказывания, не сокрытый, но и не видимый лежит на границе речи: сам он вовсе не является совокупностью признаков, которые, пусть и бессистемно, давались бы в непосредственном опыте; однако он также не является невыраженным загадочным и безмолвным остатком, который остается позади него. Он определяет модальность своего появления: скорее, свою периферию, чем внутреннюю организацию, скорее, свою поверхность, чем содержание. Но сама возможность опи-

сания этой поверхности высказывания доказывает, что «данность» речи — это не простой прорыв изначальной немоты; что слова, предложения, значения, утверждения, цепочки суждений не опираются непосредственно на изначальную тьму безмолвия; что, напротив, неожиданное появление предложения, проблеск смысла, внезапное указание обозначения всегда возникают в области осуществления функции высказывания; что между языком, таким, на каком мы читаем и какой мы слышим, но также и таким, на котором мы говорим, и отсутствием какой бы то ни было формулировки нет скопления любого рода недосказанностей, нет всяких недоговоренных предложений, всяких полувербализованных мыслей, нет того бесконечного монолога, лишь отдельные фрагменты которого появляются на поверхности; но что, напротив, прежде всего — или, во всяком случае, прежде речи (так как она зависит от них) — есть условия, в соответствии с которыми осуществляется функция высказывания. Это также доказывает, что за структурными, формальными или интерпретативными анализами речи тщетно искать область, избавленную наконец от всякой позитивности, область, где могли бы проявиться свобода субъекта, труд человека или открытие трансцендентального предназначения. Против лингвистических методов или логического анализа не следует выдвигать возражений такого рода: «Что вы делаете с самой речью во всей ее живой полноте, после того как вы столько наговорили о правилах ее построения? Что вы делаете с той свободой или с тем смыслом, предшествующим всякому обозначению, без которых не было бы понимания между индивидами в постоянно возобновляемом функ-

ционировании речи? Неужели вам неизвестно, что, как только мы выходим за пределы конечных систем, делающих возможной бесконечность дискурса, но неспособных обосновать и объяснить ее, мы обнаруживаем не что иное, как метку трансцендентности или творение человека? Известно ли вам, что вы описали лишь отдельные признаки речи, возникновение и способ существования которой остаются совершенно несводимыми в вашем анализе?» — Нужно отбросить все эти возражения, потому что даже если и верно то, что в этом заключается измерение, не принадлежащее ни логике, ни лингвистике, то тем не менее оно не является ни восстановленной трансцендентностью, ни вновь открытым путем, ведущим к недостижимому истоку, ни конституированием человеком своих собственных значений. Речь в инстанции своего появления и способа существования — это высказывание; как таковая она зависит от описания, которое не является ни трансцендентальным, ни антропологическим. Анализ высказывания не предписывает ни лингвистическому, ни логическому анализу той границы, перед которой они должны были бы отступить и признать свою беспомощность; он не проводит линию, замыкающую их область; он разворачивается в другом, их пересекающем направлении. Возможность анализа высказывания, если она установлена, должна позволить убрать трансцендентальную преграду, возводимую определенной формой философского дискурса перед любым анализом речи, и нам нужно это сделать ради самого существования речи и того основания, из которого она, вероятно, должна брать свое начало.

Теперь я должен обратиться ко второй группе вопросов: как определенное таким образом описание высказываний может сочетаться с анализом дискурсивных формаций, принципы которого я наметил выше? И наоборот: в какой мере можно говорить, что анализ дискурсивных формаций — это не что иное, как описание высказываний в том самом смысле, который я только что придал этому слову? Дать ответ на этот вопрос чрезвычайно важно, поскольку в этом пункте проект, которым я занимался столько лет, который я разрабатывал почти вслепую и общие очертания которого я пытаюсь теперь уловить, — перестав его выверять, перестав исправлять возможные ошибки или неосторожные замечания, — должен завершиться. Как уже можно было заметить, я не пытаюсь говорить здесь о том, что некогда я намеревался предпринять в том или ином конкретном анализе; о том, что было мною задумано; о препятствиях, с которыми я столкнулся; о том, от чего я вынужден был отказаться; или о тех, более или менее удовлетворительных результатах, которых я смог добиться. Я не описываю фактическую траекторию того, каким этот проект должен был бы быть и каким он будет, начиная с сегодняшнего дня. Скорее всего, я пытаюсь прояснить заложенную в нем самом возможность того описания, которое, еще недостаточно зная его рамки применения и ограничения, я уже использовал для того, чтобы определить его размеры и установить его требования. И скорее, нежели исследовать то, что я уже сказал и что мог бы еще сказать, я пытаюсь показать — в присущей этому процессу закономерности, которая

едва ли мне полностью подчиняется, — что же дало возможность сказать то, что я сказал. Однако также очевидно и то, что я не разрабатываю здесь теории в строгом смысле этого слова, — дедукции из некоторого числа аксиом, из абстрактной модели, применимой к бесконечному числу эмпирических описаний. По всей видимости, время такого построения, если оно вообще возможно, еще не пришло. Я не пытаюсь вывести анализ дискурсивных формаций из определения высказываний, которое послужило бы ему основанием; я также не вывожу природы высказываний из того, чем являются те дискурсивные формации, которые мы смогли выделить из того или иного описания. Но я пытаюсь показать, как без сдвига, без противоречия, без внутренней произвольности может быть сформирована та область, где рассматриваются высказывания, принцип их группирования, большие исторические единства, которые они могут образовывать, и методы, позволяющие их описывать. Я использую не линейную дедукцию, а, скорее, концентрические круги и перехожу то от внешних кругов к внутренним, то наоборот: начав с проблемы прерывности в дискурсе и единичности высказывания (центральная тема), я попытался проанализировать некоторые формы загадочных объединений, существующих на периферии. Однако принципы унификации, которые мне тогда открылись и которые не являются ни грамматическими, ни логическими, ни психологическими, — которые, следовательно, не могут относиться ни к предложениям, ни к суждениям, ни к представлениям, — потребовали, чтобы я вернулся к расположенной в центре проблеме высказывания; и чтобы я попытался выяснить, что нужно

понимать под высказыванием. Поэтому я буду принимать во внимание не то, что я построил строгую теоретическую модель, а то, что я выделил связную область описания; что я если и не создал ее модели, то, по крайней мере, обнаружил и предусмотрел возможность ее существования, — если мне удалось «замкнуть круг» и показать, что анализ дискурсивных формаций сосредоточен на описании высказывания в его специфичности. Короче говоря, если мне удалось показать, что как раз измерения, присущие высказыванию, участвуют в вычленении дискурсивных формаций. И сейчас речь идет не об *обосновании* теории *de jure* — даже до того, как появится возможность сделать это при случае (а я с сожалением признаю, что еще не дошел до этого), — а скорее об *установлении* возможности такого обоснования.

Рассматривая высказывание, мы обнаружили некую функцию, которая относится к совокупности знаков, но не отождествляется ни с грамматической «приемлемостью», ни с логической корректностью и для осуществления которой необходимы: 1) система отсылок (не являющаяся, строго говоря, ни фактом, ни ситуацией и даже ни объектом, а просто принципом дифференциации); 2) субъект (не говорящее сознание, не автор формулировки, а позиция, которая при определенных условиях может быть занята любыми индивидами); 3) ассоциированное поле (не являющееся ни реальным контекстом формулировки, ни ситуацией, в которой она была артикулирована, а представляющее собой область сосуществования для других высказываний); 4) материальность (являющаяся не только материалом или опорой артикуляции, но и статусом, пра-

вилами транскрипции, возможностями употребления или повторного использования). Ибо то, что мы описали под названием дискурсивной формации, строго говоря, суть группы высказываний. То есть это совокупности вербальных реализаций, не объединенных между собой грамматическими связями (синтаксическими или семантическими) на уровне *предложений*; не объединенных между собой логическими связями (формальной связностью или понятийными цепочками) на уровне *суждений*; и также не объединенных между собой психологическими связями (будь то идентичность форм сознания, постоянство менталитетов или повторение замысла) на уровне *формулировок*; но, однако, объединенных между собой на уровне *высказываний*. И это предполагает, что мы можем определить общий режим, которому подчиняются их объекты, форму рассеивания, которая упорядоченно размещает то, о чем они говорят, и систему их отсылок. Это предполагает, что мы можем определить общий режим, которому подчиняются различные способы акта высказывания, возможное распределение субъективных позиций и ту систему, которая их определяет и предписывает. Это также предполагает, что мы можем определить тот режим, который является общим для всех их ассоциированных областей, формы последовательности, одновременности и повторяемости, которые для них возможны, и систему, которая объединяет между собой все эти поля сосуществования. Наконец, это предполагает, что мы можем определить тот общий режим, которому подчиняется статус этих высказываний; тот способ, каким они институционализированы, приняты, употреблены, повторно использованы, скомбинированы между

собой; и то, как они становятся объектами присвоения, инструментами желания или интереса, элементами стратегии. Попытаться выявить то, что может быть индивидуализировано в качестве дискурсивной формации, — это значит описать высказывания, описать функцию высказывания, носителями которой они являются, проанализировать условия, в которых осуществляется эта функция, обозреть различные области, которые она предполагает, и тот способ, каким они соединяются между собой. Или же, повторяя сказанное в обратном порядке: дискурсивная формация — это общая система высказывания, которой подчиняется группа вербальных реализаций. И такая группа подчиняется не только этой системе, но и — в соответствии с другими своими измерениями — логическим, лингвистическим и психологическим системам. То, что было определено как «дискурсивная формация», членит общую плоскость сказанного на специфическом уровне высказываний. Те четыре направления, в которых мы ее анализируем (формирование объектов, формирование субъективных позиций, формирование понятий, формирование стратегических выборов), соответствуют четырем областям, в которых осуществляется функция высказывания. И если дискурсивные формации не зависят от крупных риторических единств текста или книги, если они не подчиняются строгости дедуктивного построения и не отождествляются с творчеством автора, то это потому, что они используют уровень высказывания с характеризующими его закономерностями, а не грамматический уровень предложений, или логический уровень суждений, или психологический уровень формулировки.

15 Зак. 3653

Исходя из описанного выше, мы можем теперь выдвинуть ряд положений, лежащих в основе всех этих анализов.

1. Можно сказать, что выделение дискурсивных формаций независимо от других принципов возможной унификации выявляет специфический уровень высказывания. Однако можно также сказать, что описание высказываний и способа организации уровня высказывания ведет к индивидуализации дискурсивных формаций. Оба подхода в равной степени правомерны и взаимозаменяемы. Анализ высказывания и анализ формирования приведены здесь в соответствие. Когда, наконец, настанет время обосновать теорию, тогда необходимо будет определить и дедуктивный порядок.

2. Высказывание принадлежит дискурсивной формации, как предложение принадлежит тексту, а суждение — дедуктивной совокупности. Но если закономерность (régularité) предложения определяется законами языка, а закономерность суждения — законами логики, то закономерность высказываний определяется самой дискурсивной формацией. Факт принадлежности к ней и ее закон представляют собой одно и то же; и это утверждение не носит парадоксального характера, поскольку дискурсивная формация характеризуется не принципами построения, а рассеиванием *de facto*, поскольку для высказываний она является не условием возможности, а законом сосуществования, и, наоборот, поскольку высказывания являются не взаимозаменяемыми элементами, а совокупностями, характеризуемыми своей модальностью существования.

3. Таким образом, теперь мы можем придать полный смысл ранее только намеченному определению «дискурс». Мы будем называть дискурсом совокупность высказываний, зависящих от одной и той же дискурсивной формации. Дискурс не образует риторического или формального единства, способного к бесконечному повторению, на факт появления или историческое использование которого мы могли бы указать (а в случае необходимости и объяснить его); он создан ограниченным числом высказываний, для которых мы можем определить совокупность условий существования. Дискурс, понимаемый таким образом, не является идеальной и вневременной формой, ко всему прочему имеющей, вероятно, и свою историю. Соответственно проблема заключается не в том, чтобы узнать, как и почему он мог возникнуть и сформироваться в некий момент времени; он историчен от начала до конца — это фрагмент истории, единство и прерывность в самой истории. Он ставит, скорее, проблему своих собственных границ, купюр, преобразований, специфических модусов своей темпоральности, чем своего неожиданного возникновения посреди соучастного времени.

4. И наконец, теперь можно уточнить то, что мы называем «дискурсивной практикой». Нельзя путать дискурсивную практику ни с процедурой выражения, посредством которой индивид формулирует мысль, желание или образ, ни с рациональной деятельностью, применяемой в системе вывода, ни с «компетентностью» говорящего субъекта, когда он строит грамматически правильные предложения. Дискурсивная практика — это совокупность ано-

нимных, исторических, всегда детерминированных во времени и пространстве правил, которые в данную эпоху и для данного социального, экономического, географического или лингвистического сектора, определили условия осуществления функции высказывания.

Теперь мне остается отложить на время анализ и после соотнесения дискурсивных формаций с описываемыми ими высказываниями продолжить уже в ином направлении, на этот раз с внешней стороны, поиски правомерного употребления этих понятий: что может быть обнаружено при их помощи, какое место они могут занимать среди других методов описания, в какой мере они могут видоизменить и перераспределить саму область истории идей. Но прежде чем осуществить такую переоценку ценностей и чтобы она оказалась более надежной, я задержусь еще немного в том измерении, которое только что было исследовано, и попытаюсь уточнить, чего требует и что исключает анализ поля высказывания и членящих его формаций.

## IV. *Редкость, внешний характер, накопление*

Анализ высказывания учитывает эффект редкости.

В большинстве случаев анализ дискурса находится под двойным знаком целостности и избыточности. Обычно показывают, как различные тексты отсылают друг к другу, как они организуются в единую фигуру, конвергируют с социальными институтами и практиками и являются носителями зна-

чений, которые могут быть общими для целой эпохи. Каждый рассматриваемый элемент воспринимается как выражение некой целостности, к которой он принадлежит и которая его превосходит. И таким образом, разноообразие сказанного подменяется неким огромным однородным текстом, никогда прежде не артикулированным и впервые проясняющим то, что люди «хотели сказать» не только в своих словах и текстах, в своих речах и своих произведениях, но и в социальных институтах, в практиках, технологиях, в тех объектах, которые они производят. По отношению к этому имплицитному, суверенному и общепринятому «смыслу» высказывания в своей пролиферации кажутся избыточными, поскольку отсылают только к нему одному, поскольку только он и конституирует их истинность, — это избыток означающих элементов по отношению к единственному означаемому. Однако поскольку этот первый и последний смысл проступает сквозь очевидные формулировки, поскольку он скрывается за всем, что возникает и тайным образом осуществляет его раздвоение, то, значит, каждый дискурс заключает в себе возможность сказать нечто иное, чем то, что в нем говорилось, и охватить таким образом множество смыслов — это избыточность означаемого по отношению к единственному означающему. Рассмотренный таким образом дискурс есть одновременно и полнота, и безграничное богатство.

Анализ высказываний и дискурсивных формаций открывает совершенно противоположное направление: он пытается установить принцип, в соответствии с которым могли появиться только те означающие совокупности, которые были высказа-

ны. Он стремится установить закон редкости. Эта задача имеет несколько аспектов:

— Она основывается на том принципе, что *всё* никогда не бывает сказано; по отношению к тому, что могло бы быть высказано в естественном языке, по отношению к неограниченной комбинаторике лингвистических элементов высказывания (какими бы многочисленными они ни были) всегда оказываются в недостатке. Принимая во внимание грамматику и богатство словаря, которыми мы располагаем в ту или иную эпоху, в целом относительно немногое оказывается сказанным. Таким образом, мы будем искать принцип разреженности или, по крайней мере, не-наполненности поля возможных формулировок, созданного языком. Дискурсивная формация оказывается одновременно принципом членения в переплетении дискурсов и принципом пустотности в поле речи.

— Мы изучаем высказывания на границе, отделяющей их от того, что не сказано, в той инстанции, которая приводит к их появлению, одновременно исключая остальные возможные высказывания. Речь идет не о том, чтобы заставить заговорить окружающую их немоту или обнаружить все то, что в них самих и рядом с ними давно умолкло или было принуждено к молчанию. Речь идет также и не о том, чтобы исследовать препятствия, помешавшие тому или иному открытию, задержавшие такую-то формулировку, вытеснившие такую-то форму акта высказывания, такое-то неосознаваемое значение или такую-то рациональность в процессе становления; речь идет о том, чтобы определить ограниченную систему присутствий. Таким образом, дискурсивная формация — это не разви-

вающаяся целостность с присущим ей динамизмом или с ее особой инерцией, увлекающая за собой в несформулированный дискурс то, что она уже не говорит, еще не говорит или то, что противоречит ей в данный момент. Это не бурное и сложное произрастание, это распределение лакун, пустот, отсутствий, границ и вырезов.

— Однако мы не связываем эти «исключения» с вытеснением или подавлением; мы не предполагаем, что под очевидными высказываниями что-то пребывает скрытым или остается под-лежащим. Мы анализируем высказывания не как занявшие место других высказываний, оказавшихся ниже линии возможного возникновения, а как всегда находящиеся на своем собственном месте. Мы перемещаем их в то пространство, которое, вероятно, полностью развернуто и не предполагает никакого удвоения. Под ними нет никакого текста. Следовательно — никакой избыточности. Область высказывания целиком лежит на своей собственной поверхности. Каждое высказывание занимает на ней только ему принадлежащее место. Таким образом, описание, касающееся высказывания, заключается не в том, чтобы обнаружить место какого не-сказанного оно занимает; или как мы можем свести его к безмолвному и общему для всех тексту; а в том, чтобы определить, какое единичное местоположение оно занимает, какие разветвления в системе формирований позволяют отметить его локализацию, как оно обособляется из общего рассеивания высказываний.

— Редкость высказываний, лакунарная и раздробленная форма поля высказывания и тот факт, что в целом очень немногое может быть сказано, — все это объясняет то, что высказывания подобны не

какой-то бесконечной прозрачности вроде окружающего нас воздуха, а тому, что передается и сохраняется, что имеет ценность и чем мы стремимся овладеть; тому, что мы повторяем, воспроизводим и преобразуем; тому, ради чего мы создаем заранее предусмотренные маршруты и чему даем определенный институциональный статус; тому, что мы удваиваем не только посредством копирования или перевода, но и экзегезой, комментарием и внутренним расширением смысла. Поскольку высказывания являются редкими, мы их собираем в объединяющие их целостности и множим смыслы, заключенные каждом из них.

В отличие от разного рода интерпретаций — само существование которых возможно только в силу действительной редкости высказываний, но которые, однако, не замечают ее, а, напротив, избирают в качестве темы емкое богатство того, что сказано, — анализ дискурсивных формаций обращается к самому этому феномену редкости. Он принимает ее за эксплицитный объект, пытается определить ее единичную систему и тем самым показывает возможность возникновения интерпретации. Интерпретировать — значит каким-то образом реагировать на бедность высказывания и компенсировать ее умножением смысла; то есть говорить исходя из нее, но и вопреки ей. Однако анализировать дискурсивную формацию — значит искать закон этой бедности высказывания, измерить ее и определить ее специфическую форму. То есть в некотором смысле взвесить «ценность» высказываний. Ценность, которая не определяется их истинностью, не измеряется присутствием тайного содержания, но харак-

теризует их место, их способность к циркуляции и обмену, и возможность их преобразования не только в экономике дискурсов, но вообще в управлении редкими ресурсами. Дискурс, понимаемый таким образом, перестает быть тем, чем он является для экзегетической позиции: неисчерпаемой сокровищницей, из которой всегда можно извлечь новые — и каждый раз непредвиденные — богатства; провидением, которое раз и навсегда уже изрекло и которое позволит тем, кто умеет слушать, понять оракулов, обращенных к прошлому; дискурс предстает как благо — конечное, предельное, желаемое и полезное, — имеющее кроме своих правил появления также и свои собственные условия присвоения и использования; следовательно, с момента своего существования (а не только в своих «практических применениях») он предстает как благо, исходя из которого ставится вопрос о власти; как благо, которое по своей природе есть объект борьбы, и борьбы политической.

Другая примечательная черта: анализ высказываний рассматривает высказывания в систематической форме их внешнего характера. Обычно историческое описание сказанного насквозь пронизано оппозицией внутреннего и внешнего и полностью подчинено задаче освободиться от этого внешнего характера, который, возможно, является не более чем случайностью или чисто материальной необходимостью, видимым воплощением или неточным переводом — и обратиться к самому ядру их внутреннего характера. В этом случае воссоздать историю того, что было сказано, — это значит проследить в обратном порядке процесс выражения: спуститься вдоль сохраненных во времени и рассеянных в про-

странстве высказываний к тому внутреннему тайному содержанию, которое им предшествовало, в них отложилось и в них же оказывается обнаруженным, выданным и преданным. Так оказывается высвобожденным ядро основополагающей субъективности. Той субъективности, которая всегда находится несколько в стороне от очевидной истории и обнаруживает под свершившимися событиями другую историю, более серьезную, более тайную, более фундаментальную, более близкую к первоистоку (origine), теснее связанную со своим последним горизонтом (и, следовательно, главенствующую во всех своих детерминациях). Эту другую историю, которая протекает под обычной историей, постоянно ее предвосхищает и неустанно собирает прошлое, — все это можно описать (социологически или психологически) как эволюцию ментальностей; ей вполне можно придать философский статус в абсолютной полноте Логоса или телеологии разума. Наконец, вполне можно попытаться очистить ее, прибегая к проблематике того следа, который, как представляется, до всякого слова является открытием записи и отклонением различенного времени: все вышеперечисленное и есть постоянно возобновляемая историко-трансцендентальная тема.

Именно эту тему и пытается преодолеть анализ высказывания. Для того, чтобы восстановить высказывания в их чистом рассеивании. Чтобы проанализировать высказывания в их внешнем характере, возможно парадоксальном, поскольку он не отсылает ни к какой противостоящей форме внутреннего характера. Чтобы рассмотреть высказывания в их прерывности, не испытывая при этом необходимости соотносить их — через один из тех

сдвигов, которые выводят их из обращения и делают несущественными, — с пробелом или более глубоким различием. Чтобы уловить само их вторжение в том месте и в то время, когда оно произошло. Чтобы обнаружить их событийные последствия. Вероятно, скорее, чем об их внешнем характере, следовало бы, пожалуй, говорить о «нейтральности», но само это слово слишком легко приводит нас к устранению убежденности, к исчезновению или заключению в скобки всякой позиции существования, тогда как речь идет о том, чтобы обнаружить то внешнее (le dehors), где в своей относительной редкости, в своем лакунарном соседстве, в своем развернутом пространстве размещаются события высказывания.

— Эта задача предполагает, что поле высказываний не будет описываться как «перевод» действий или процессов, происходящих где-либо еще (в мышлении людей, в их сознании или в их бессознательном, в сфере трансцендентальных образований), но что в своей эмпирической скромности оно будет восприниматься как место событий, закономерностей, соотношений, определенного рода видоизменений и систематических преобразований; короче говоря, мы будем рассматривать его не как результат или след чего-то иного, а как автономную (хотя и зависимую) практическую область, которую мы можем описать на ее собственном уровне (хотя и следовало бы артикулировать ее на чем-то ином, нежели этот уровень).

— Эта задача также предполагает, что область высказывания не будет приписываться ни индивидуальному субъекту, ни чему-то наподобие кол-

лективного сознания, ни трансцендентальной субъективности, но что мы будем описывать ее как анонимное поле, конфигурация которого определяет возможное местоположение говорящих субъектов. Не следует располагать высказывания относительно суверенной субъективности; скорее, в различных формах говорящей субъективности следует распознавать результаты, принадлежащие полю высказывания.

— Следовательно, эта задача предполагает, что в своих преобразованиях, последовательных рядах и деривациях поле высказываний не подчиняется временной природе сознания как необходимой для себя модели. Не стоит надеяться — по крайней мере, на данном уровне и при данной форме описания, — что мы сможем написать историю сказанного, которая как по своей форме, так по своей закономерности и по своей природе была бы по праву историей индивидуального или анонимного сознания, историей определенного замысла, системы намерений, совокупности устремлений. Время дискурсов — это не перевод неясного времени мысли в некую очевидную хронологию.

Таким образом, анализ высказываний происходит без ссылки на *cogito.* Этот анализ не задается вопросом о том, кто говорит, кто проявляется или скрывается в том, что говорит, кто, взяв слово, осуществляет свою суверенную свободу или кто, сам того не зная, подчиняется незаметным для него формам принуждения. Анализ высказываний действительно располагается на уровне «говорят», но под этим нельзя понимать что-то, напоминающее расхожее мнение, коллективное представление (représentation), которое бы навязывалось каждому индивиду;

в этом не нужно слышать громкий анонимный голос, который неизбежно звучал бы в дискурсе каждого; под этим нужно понимать совокупность сказанного, отношения, закономерности и преобразования, которые могут там наблюдаться; область, определенные фигуры, определенные пересечения которой указывают на единичное местоположение говорящего субъекта и могут получить имя автора. «Неважно, кто говорит», но важно то, откуда он это говорит. Он с необходимостью включен во взаимодействия внешнего характера.

Третья черта анализа высказывания: он обращается к специфическим формам накопления, которые не могут отождествляться ни с интериоризацией в форме воспоминания, ни с безразличным сбором документов. Обычно при анализе уже осуществленных дискурсов их считают подверженными неизбежной инерции: их сохранил случай или усилия людей и те иллюзии, которые они себе создали о ценности и бессмертном достоинстве своих слов. Но отныне они всего лишь графизмы, сваленные в пыли библиотек, погруженные в глубокий сон, в который они не переставали впадать с той самой минуты, как только были произнесены, как были забыты и как их очевидный смысл затерялся во времени. Самое большее, на что они могут рассчитывать, — это то, что их счастливо подхватят при новом прочтении; то, что они смогут предстать там как носители меток, отсылающих к инстанции их высказывания; и что, как только эти метки будут расшифрованы, они смогут высвободить посредством пронизывающей время памяти погребенные значения, мысли, желания и фантазмы. Эти четыре термина: чтение — след — расшифровка — память (какое

бы предпочтение не отдавали одному из них и какое бы метафорическое растяжение, позволяющее ему вобрать в себя три других, ему не приписывалось) определяют систему, обычно позволяющую вырвать прошлый дискурс из его инерции и обнаружить на мгновение что-то из его утраченной живости.

Однако подлинное значение анализа высказывания заключается не в том, чтобы пробудить тексты от их нынешнего сна и, заклиная метки, еще различимые на их поверхности, обнаружить вспышку, знаменующую их рождение. Напротив, речь идет о том, чтобы последовать за ними в их сон, или, скорее, о том, чтобы затронуть темы, близкие ко сну, к забвению, к утраченному первоистоку, и обнаружить, какой способ существования независимо от акта их высказывания может характеризовать сами высказывания в той толще времени, где они продолжают существовать, где они сохранены, реактивированы и использованы, где также, но не в силу своего изначального предназначения, они были забыты, а иногда даже уничтожены.

— Этот анализ предполагает, что высказывания будут рассматриваться в той *остаточности* (*rémanence*), которая им свойственна и которая не является всегда способной актуализироваться остаточностью отсылки к прошлому событию формулировки. Сказать, что высказывания носят остаточный характер — это не значит сказать, что они остаются в поле памяти или что можно вновь обнаружить то, что они хотели сказать. Это значит, что они сохранились благодаря определенному числу опор и материальных технологий (где книга, само собой разумеется, только один из примеров), в со-

ответствии с определенными типами социальных институтов (среди многих других — библиотека) и с определенными разновидностями статуса (которые неодинаковы, когда речь идет о религиозном тексте, юридическом предписании или научной истине). Это значит также, что они представлены в использующих их технологиях, в производных от них практиках, в социальных отношениях, которые были конституированы или видоизменены благодаря им. Наконец, это значит, что сказанное, после того как оно было сказано, имеет несколько иной способ существования, несколько иную систему связей с окружающим, несколько иные схемы употребления и возможности преобразования. Остаточность — это вовсе не поддержка во времени случайного или удачного продолжения существования, которое появилось для того, чтобы вместе с этим мгновением и исчезнуть: остаточность полноправно принадлежит высказыванию. Забвение и уничтожение представляют собой в некотором смысле нулевую степень этой остаточности. И на конституируемом ею основании могут разворачиваться процессы памяти и воспоминания.

— Этот анализ предполагает также, что мы рассматриваем высказывания в характерной для них форме *аддитивности*. Действительно, типы объединения последовательных высказываний не везде одинаковы и никогда не возникают из простого нагромождения или наслоения последовательных элементов. Математические высказывания добавляются друг к другу иным образом, нежели религиозные тексты или судебные акты (все они подчиняются своим особым правилам составления, отмены, исключения, дополнения, образования более или менее неразрывных групп, наделенных осо-

быми свойствами). Кроме того, эти формы аддитивности не являются неизменными для какой-либо определенной категории высказываний: современные медицинские наблюдения образуют корпус, подчиняющийся иным законам построения, чем сборник описаний отдельных случаев болезней XVIII века; современная математика накапливает свои высказывания по иной модели, чем Евклидова геометрия.

— Наконец, анализ высказывания предполагает, что мы принимаем во внимание феномены *повторяемости* (réccurence). Любое высказывание включает в себя поле предшествующих элементов, относительно которых оно располагается, но которые оно способно реорганизовать и перераспределить в соответствии с новыми отношениями. Высказывание создает для себя свое прошлое, открывает свое родство с тем, что ему предшествует, заново обрисовывает то, что делает его возможным или необходимым, исключает то, что с ним несовместимо. И оно утверждает это свое прошлое как обретенную истину, как происшедшее событие, как форму, которую можно видоизменить, как материю для преобразования или же как объект, о котором можно говорить, и т. д. По отношению ко всем этим возможностям повторяемости память и забвение, новое открытие смысла или его подавление являются не основополагающими законами, а лишь единичными фигурами.

Таким образом, описание высказываний и дискурсивных формаций должно избавиться от столь частого и столь навязчивого образа возвращения. Это описание не ставит своей задачей пройти сквозь время, которое рассматривалось бы как провал, латент-

ность, забвение, сокрытие или блуждание, и вернуться к тому основополагающему моменту, когда слово не было еще вовлечено в какую-либо материальность, не было обречено на какую-либо устойчивость и оставалось в недетерминированном измерении открытости. Это описание не пытается конституировать для уже-сказанного парадоксальный момент второго рождения; оно не призывает зарю разгореться во второй раз. Наоборот, оно рассматривает высказывания в той толще накопления, в которой они оказались и которую, однако, они не перестают видоизменять, тревожить, сотрясать и иногда разрушать.

Описать совокупность высказываний не как закрытую и избыточную целостность (totalité) значения, но как лакунарную и раздробленную фигуру; описать совокупность высказываний, не ссылаясь на внутренний характер намерения, мысли или субъекта, но в соответствии с рассеиванием внешнего характера; описать совокупность высказываний для того, чтобы обнаружить в ней не момент или след ее происхождения, а специфические формы накопления, — это, конечно, не значит представить интерпретацию, найти обоснование, высвободить те акты, которые их конституируют; это не значит вынести свое решение о рациональности или проследить телеологию. Это значит установить то, что я с удовольствием назвал бы *позитивностью*. Таким образом, проанализировать дискурсивную формацию — значит рассмотреть совокупность вербальных реализаций на уровне высказываний и характеризующей их формы позитивности. Или, говоря короче, это значит определить тип позитивности дискурса. И если, предлагая анализ редкости вместо поиска целостностей, описание отношений внешнего характера вме-

сто темы трансцендентального основания и анализ накоплений вместо поиска истока, становишься позитивистом, то я с легкостью соглашусь, что да, я счастливый позитивист. И вместе с тем я ничуть не жалею, что неоднократно (хотя все еще несколько вслепую) употреблял термин «позитивность» для предварительного обозначения того клубка, который я пытался распутать.

## V. *Историческое a priori и архив*

Позитивность отдельного дискурса — такого, как дискурс естественной истории, дискурс политической экономии или клинической медицины — характеризует его единство во времени, в значительной мере выходя за пределы индивидуального творчества, книг и текстов. Безусловно, это единство не позволяет решить, кто был прав, кто приводил более строгие доводы, кто последовательнее придерживался своих же собственных постулатов — Линней[6] или Бюффон, Кенэ или Тюрго, Бруссе[7] или Биша. Оно также не позволяет сказать, произведения какого из этих авторов ближе всего подошли к изначально намеченной или окончательной цели, какие из них самым ра-

[6] *Линней Карл* (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, создатель универсальной системы растительного и животного мира. Выступал в защиту постоянства видов и креационизма. — *Прим. ред.*

[7] *Тюрго Анн Робер Жак* (1727–1881) — французский государственный деятель, философ-просветитель и экономист. *Бруссе Поль Луи* (1844–1912) — французский социалист, один из лидеров поссибилистов. — *Прим. ред.*

дикальным образом сформулировали, возможно, самую главную задачу их науки. Но оно позволяет выявить то измерение, в соответствии с которым Бюффон и Линней (или Тюрго и Кенэ, Бруссе и Биша) говорили об «одном и том же», располагаясь на «одном и том же уровне» или на «одной и той же дистанции», разворачивая «одно и то же понятийное поле», противоборствуя на «одном и том же поле битвы». И наоборот, оно показывает, почему мы не можем сказать, что Дарвин говорит о том же самом, что и Дидро, что Лаэннек[8] продолжает мысль Ван Свитена или что Джевонс[9] отвечает физиократам. Это единство определяет ограниченное пространство коммуникации. Пространство относительно узкое, поскольку оно не обладает размахом науки, взятой во всем ее историческом становлении, от самого отдаленного момента ее зарождения вплоть до уровня ее нынешнего развития. Однако это пространство шире, чем возможное влияние одного автора на другого, или чем область эксплицитных полемик. Различные произведения, отдельные книги, все обилие текстов, принадлежащих к одной и той же дискурсивной формации, и множество авторов, знакомых и незнакомых между собой, критикующих, опровергающих, заимствующих друг у друга, независимо друг от друга приходящих к одинаковым взглядам, упрямо сплетающих свои единичные дискурсы в единую сеть, над которой они не власт-

[8] *Лаэннек Рене Теофиль Гиацинт* (1781–1826) — французский врач и анатом, изобретатель стетоскопа (1816), ввел практику аускультации (1819) и термин «туберкулез». — *Прим. ред.*

[9] *Джевонс Уильм Стэнли* (1835–1882) — английский логик, экономист, статистик. — *Прим. ред.*

ны, всей целостности которой они не замечают и широту которой они плохо себе представляют, — все эти различные фигуры и индивидуальности взаимодействуют не только благодаря логической связи, существующей между выдвигаемыми ими суждениями, не только благодаря рекуррентности тем или устойчивости переданного, забытого и вновь обретенного значения; они взаимодействуют через форму позитивности своих дискурсов. Или, точнее, эта форма позитивности (и условия осуществления функции высказывания) определяет то поле, в котором иногда могут разворачиваться формальные тождества, тематические непрерывности, перенесения понятий, полемические процессы. Таким образом, позитивность играет роль того, что можно было бы назвать *историческим a priori*.

Возможно, сочетание этих двух слов производит несколько шокирующее впечатление. Я намереваюсь обозначить им то *a priori*, которое было бы не условием валидности для суждений, а условием реальности для высказываний. Речь идет не о том, чтобы обнаружить то, что, вероятно, делает утверждения правомерными, а о том, чтобы выделить условия возникновения высказываний, закон их сосуществования с другими высказываниями, специфическую форму их способа бытия, принципы, в соответствии с которыми они существуют, преобразуются и исчезают. *A priori* не тех истин, которые могли бы оставаться никогда не сказанными и не быть реально данными в опыте, но *a priori* той истории, которая дана, поскольку это история действительно сказанного. Основание для использования этого несколько варварского термина следующее: такое *a priori* должно объяснить высказывания в их рассеивании, во

всех сдвигах, создаваемых их не-связностью, в их частичном наложении и взаимозамещении, в их не поддающейся унификации одновременности и в их не поддающейся дедукции последовательности. Короче говоря, оно должно объяснить тот факт, что дискурс имеет не только смысл или истинность, но и историю, причем историю специфическую, которая не подчиняет его законам чужого становления. Например, оно должно показать, что история грамматики не является простой проекцией на поле речи и связанных с ней проблем той истории, которая, вероятно, является историей разума или ментальности или, во всяком случае, проекцией той истории, которую грамматика, вероятно, разделяет с медициной, механикой или теологией. Напротив, это *a priori* должно показать, что история грамматики заключает в себе некоторый тип истории — некий способ рассеивания во времени, форму последовательности, устойчивости и реактивации, скорость развития или ротации — тип, присущий только ей, даже если она и соотносится с другими типами истории. К тому же это *a priori* не лишено историчности: оно не образует некой вневременно́й структуры, возвышающейся над событиями словно в неподвижном небе; оно определяется как совокупность правил, характеризующих дискурсивную практику. Однако эти правила не налагаются извне на те элементы, между которыми они устанавливают отношение; они непосредственно вовлечены как раз в то, что они объединяют; и если они сами и не видоизменяются вместе с самым незначительным из этих элементов, то они видоизменяют их и преобразуются вместе с ними в некоторые решающие пороги. *A priori* позитивностей — это не только система временного рассеива-

ния; оно само является совокупностью, способной к преобразованию.

В отличие от формальных *a priori* с их безоговорочно простирающейся юрисдикцией *a priori* позитивностей — фигура чисто эмпирическая. Однако, с другой стороны, поскольку оно позволяет рассмотреть дискурсы в законе их реального становления, оно должно быть способно объяснить тот факт, что определенный дискурс в какой-либо данный момент времени мог бы воспринять и использовать или, наоборот, исключить, забыть или не признать ту или иную формальную структуру. Оно не может объяснить (чем-нибудь вроде психологического или культурного генезиса) формальные *a priori*, но оно позволяет понять, каким образом формальные *a priori* могут иметь в истории точки прикрепления, места включения, вторжения или возникновения, области или обстоятельства применения; оно позволяет понять, каким образом эта история может быть не просто внешним совпадением, не необходимостью формы, разворачивающей свою собственную диалектику, а специфической закономерностью (régularité). Таким образом, не было бы ничего более приятного, но и более неточного, чем понимать это историческое *a priori* как *a priori* формальное, к тому же, вероятно, наделенное историей, — как некую величественную фигуру, неподвижную и пустую, которая бы возникла однажды на поверхности времени, выявила в мышлении людей неизбежную для всех тиранию и которая вдруг мгновенно бы исчезла без всякого предзнаменования; было бы очень неверно понимать это *a priori* как некое синкопированное трансцендентальное, как мерцание сменяющих друг друга форм. Формальное *a priori* и историческое *a priori* принад-

лежат к разным уровням и имеют разную природу: если они и пересекаются, то только потому, что располагаются в двух разных измерениях.

Область высказываний, артикулированная в соответствии с историческими *a priori*, охарактеризованная таким образом через разные типы позитивности и таким образом членимая различными дискурсивными формациями, уже не похожа на ту монотонную и бесконечно простирающуюся равнину, какой я изобразил ее в самом начале, когда говорил о «поверхности дискурсов». Она также перестает быть инертной, однообразной и нейтральной средой, где в соответствии со своим собственным поступательным движением или выталкиваемые какой-то неведомой силой выступают на поверхность темы, идеи, понятия, познания. Теперь мы имеем дело со сложным объемом, где различаются разнородные участки и где в соответствии со специфическими правилами, разворачиваются практики, которые не могут накладываться друг на друга. Вместо того чтобы видеть, как на страницах великой мифической книги истории выстраиваются слова, передающие видимыми буквами те мысли, которые возникли ранее и в ином месте, мы в толще дискурсивных практик получаем системы, которые утверждают высказывания в качестве событий (имеющих свои условия и область появления) и вещей (предполагающих возможность и поле использования). Именно такие системы высказываний (события, с одной стороны, и вещи — с другой) я и предлагаю называть *архивом*.

Под этим словом я не подразумеваю суммы всех текстов, сохраненных определенной культурой в качестве документов ее собственного прошлого или как

свидетельство ее неизменной тождественности. Я также не подразумеваю под ним социальных институтов, позволяющих зарегистрировать и сберечь в том или ином обществе дискурсы, о которых хотят оставить память и беспрепятственное распоряжение которыми хотят сохранить. Скорее, и даже напротив, это и есть причина того, что столько сказанного, таким количеством людей, на протяжении стольких тысячелетий возникло не только в соответствии с законами мышления или по стечению обстоятельств; что все это сказанное является — на уровне вербальных реализаций — не просто условным обозначением того, что могло произойти в области духовной или материальной; но что, напротив, это сказанное появилось в результате целого набора отношений, которые полноправно характеризуют дискурсивный уровень; что, не являясь случайными фигурами, словно наугад перенесенными на немые процессы, оно зарождается в соответствии со специфическими закономерностями. Короче говоря, если есть сказанное — и только сказанное, — то не нужно спрашивать о его непосредственном смысле у самого сказанного или у людей, которые это сказали; об этом нужно спрашивать у системы дискурсивности, у возможностей и невозможностей высказывания, находящихся в ее распоряжении. Архив — это прежде всего закон того, что может быть сказано, это система, управляющая появлением высказываний как единичных событий. Однако архив — это еще и то, благодаря чему все это сказанное не нагромождается друг на друга в виде аморфного множества, не вписывается в линейность, не имеющую разрывов и не исчезает по воле внешних обстоятельств, а, наоборот, соединяется в отчетливые фи-

гуры, сочетается между собой в соответствии с многочисленными связями, сохраняется или тускнеет в соответствии со специфическими закономерностями; архив — это то, благодаря чему сказанное не отступает в прошлое вместе со временем, напротив, архив позволяет ему ярко сверкать, подобно близким звездам, свет которых на самом деле приходит к нам издалека, тогда как нечто другое, сказанное совсем недавно, уже почти совершенно поблекло. Архив — это не то, что сберегает событие высказывания, несмотря на его немедленное бегство, и сохраняет для будущих времен его положение беглеца; архив уже в самой основе высказывания-события и в его материальном воплощении с самого начала определяет *систему его высказываемости*. Архив — это также и не то, что копит пыль высказываний, вновь ставших инертными, и не допускает возможного чуда их воскрешения; архив определяет тип актуальности высказывания-вещи; это *система его функционирования*. Архив — это вовсе не то, что объединяет все, что было сказано в бесконечном сбивчивом бормотании *какого-то одного* дискурса; архив — это вовсе не то, что убеждает нас в нашем существовании среди *данного* поддерживаемого дискурса. Архив — это то, что различает *все* дискурсы в их многообразном существовании и определяет их в их собственной длительности.

*Архив* устанавливает особый уровень между *языком*, определяющим систему построения возможных предложений, и *корпусом*, пассивно накапливающим произнесенные слова: уровень практики, которая порождает такое же многообразие высказываний, сколько существует обычных событий или вещей, пригодных для обработки и манипулирова-

ния. Архив не так тяжеловесен, как традиция, и он не образует собой библиотеки, находящейся вне времени и пространства всех библиотек. Он также не представляет собой уютного забвения, которое открывает любому новому слову поле осуществления его свободы; между традицией и забвением он выявляет правила той практики, которая одновременно позволяет высказываниям и оставаться неизменными, и постоянно видоизменяться. Это *общая система формирования и преобразования высказываний.*

Очевидно, что невозможно исчерпывающе описать архив какого-либо общества, культуры или цивилизации, и, наверное, тем более невозможно описать архив целой эпохи. С другой стороны, мы не можем описать наш собственный архив, поскольку мы говорим только внутри него, подчиняясь его правилам; поскольку только он дает тому, что мы можем сказать, — и себе самому, объекту нашего дискурса, — свои способы появления, свои формы существования и сосуществования, свою систему накопления, историчности и исчезновения. Архив не может быть описан во всей своей целостности; он также не может быть очерчен в своей актуальности. Он дается фрагментами, участками и уровнями, вероятно, тем доступнее и отчетливее, чем больше времени нас от него отделяет: в предельном случае, если бы не редкость документов, то потребовалось бы очень значительное хронологическое отступление для его анализа. И однако если бы это описание архива упорно фокусировалось только на описании самых отдаленных горизонтов, то каким образом могло бы оно оправдать себя, прояснить то, что делает его возможным, выделить то место, откуда оно само говорит, соблюсти свои обязанности и права,

проверить и разработать свои понятия — по крайней мере, на той стадии исследования, когда оно может определить свои возможности только в момент их реализации? Не следует ли ему как можно больше приблизиться к той позитивности, которой само это описание подчиняется, и к той системе архива, которая позволяет сегодня говорить об архиве в целом? Не следует ли этому описанию, пусть лишь косвенно, высветить то поле высказывания, частью которого оно само является? Таким образом, анализ архива включает в себя некий привилегированный участок: близкий нам, но одновременно отличный от нашей актуальности; это кромка времени, окружающая наше настоящее, нависающая над ним и указывающая на него в его изменчивости; это то, что, находясь вне нас, нас ограничивает. Описание архива проявляет свои возможности (и овладение этими возможностями) начиная с тех дискурсов, которые только что перестали быть нашими дискурсами; его порог существования установлен купюрой, которая отделяет нас от того, что мы уже не можем сказать, и от того, что выпадает из нашей дискурсивной практики; оно начинается одновременно с внешним нашей собственной речи; его место — это отступление от наших собственных дискурсивных практик. В этом смысле оно обладает большой ценностью для постановки нашего диагноза. И совсем не потому, что оно позволило бы составить таблицу наших отличительных черт и заранее наметить ту фигуру, которую мы получим в будущем. Но это описание отрывает нас от наших непрерывностей; оно распыляет ту временну́ю тождественность, в которой мы любим разглядывать самих себя, чтобы предотвращать разрывы истории; оно рвет нить трансцендентальных

телеологий, и там, где антропологическая мысль ставила вопросы перед бытием человека или его субъективностью, оно заставляет вспыхнуть другое и внешнее. Диагноз, понимаемый таким образом, не устанавливает факта нашей тождественности через механизм различий. Он устанавливает, что сами мы — это различие, что наш разум — это различие дискурсов, наша история — различие времен, а наше я — различие масок. Он устанавливает, что различие является не забытым и скрытым первоистоком, а тем рассеиванием, которое мы собой представляем и которое сами мы создаем.

Никогда незавершенное, никогда полностью неосвоенное, прояснение архива образует общий горизонт, к которому принадлежат описание дискурсивных формаций, анализ позитивностей и выделение поля высказывания. Таким образом, право, которым обладают слова — не совпадающее с правом филологов, — позволяет нам дать всем этим исследованиям название *«археология»*. Этот термин не побуждает нас заниматься поисками какого бы то ни было начала и не приравнивает анализ к каким бы то ни было раскопкам или геологическому зондированию. Он обозначает общую тему описания, которое ставит вопрос перед уже-сказанным на уровне его существования: вопрос об осуществляющейся в нем функции высказывания, о той дискурсивной формации, к которой оно принадлежит, об общей системе архива, от которой оно зависит. Археология описывает дискурсы как практики, точно определенные в среде архива.

# IV
# Археологическое описание

## I. *Археология и история идей*

Теперь мы можем изменить порядок изложения; вновь спуститься вниз по течению и, обозрев область дискурсивных формаций и высказываний, наметив их общую теорию, направиться к возможным областям их применения. Посмотреть, чему послужит этот анализ, который в шутку, хотя, возможно, и чересчур торжественно, я окрестил «археологией». Впрочем, сделать это необходимо, поскольку, откровенно говоря, на данный момент положение вещей продолжает оставаться достаточно тревожным. Я исходил из относительно простой задачи: членение дискурса на крупные единства, которые не являются единством произведений, авторов, книг или тем. И только ради их установления я приступил к работе над целым рядом общих понятий (дискурсивные формации, позитивность, архив), я определил область (высказывания, поле высказывания, дискурсивные практики), я попытался выявить специфические особенности метода, который не был бы ни формализующим, ни интерпретативным; короче говоря, я обратился к целому аппарату, громоздкость и причудливая машинерия которого доставляют, вероятно, множество неудобств. Я сделал это по двум или трем причинам: во-пер-

вых, уже существует достаточное количество методов, способных описывать и анализировать речь, и потому желание прибавить к ним еще один не кажется столь самонадеянным. И кроме того, я не доверял таким единствам дискурса, как «книга» или «творчество», поскольку подозревал, что они не так непосредственны и очевидны, как кажутся: насколько обоснованно противопоставлять им единства, установленные ценой такого усилия, после стольких попыток и в соответствии с принципами столь неопределенными, что потребовались сотни страниц для их прояснения? И если все эти инструменты приводят к установлению границ, то не являются ли эти пресловутые «дискурсы», чью тождественность они устанавливают, теми же самыми фигурами (называемыми «психиатрия», или «политическая экономия», или «естественная история»), из которых я эмпирически исходил и которые послужили мне предлогом для выработки этого странного арсенала? Теперь мне крайне необходимо определить дескриптивную ценность тех общих понятий, которые я попытался определить. Мне нужно узнать, работает ли весь этот механизм и что он может произвести. И следовательно, что же может предложить эта «археология» такого, что, по всей видимости, неспособны дать другие описания? Какова награда за столь тяжкое начинание?

И тотчас закрадывается первое подозрение. Я поступал так, словно открыл новую область, и словно для того чтобы произвести ее опись, мне понадобились до сих пор неведомые измерения и ориентиры. Но, на самом деле, не нахожусь ли я как раз в том пространстве, которое с давних пор и уже очень хорошо известно под названием «история

идей»? Не на него ли я имплицитно ссылался, даже когда пару раз пытался от него отдалиться? И если бы я сразу не отвел от этого пространства своего взгляда, то разве мне не удалось бы отыскать там, в уже готовом и проанализированном виде, все то, что я искал? Возможно, я по сути всего лишь историк идей. Но историк совестливый или, если угодно, самонадеянный. Историк идей, который захотел полностью обновить свою дисциплину; который, похоже, захотел придать ей строгость, недавно обретенную многими весьма схожими с ней научными описаниями. Но этот историк идей — неспособный реально изменить старую форму анализа, неспособный перевести ее через порог научности (то ли потому, что такая метаморфоза вообще невозможна, то ли потому, что у него не хватило сил самому совершить это преобразование) — провозглашает, желая создать иллюзию, что он всегда делал и хотел сделать нечто иное. И весь этот вновь сгустившийся туман служит лишь для того, чтобы скрыть тот факт, что мы остались среди того же самого ландшафта, привязанные к той же самой, уже совершенно истощенной почве. У меня не будет права успокоиться, пока я не отделю себя от «истории идей», пока я не покажу, чем археологический анализ отличается от ее описаний.

Нелегко охарактеризовать такую дисциплину, как история идей: ее объект неясен, ее границы плохо очерчены, ее методы заимствованы отовсюду, ее развитие нестрого и нецеленаправленно. Тем не менее за ней, вероятно, можно было бы признать две роли. С одной стороны, она рассказывает периферийную и маргинальную историю. Не историю наук, а историю тех несовершенных и плохо обоснован-

ных познаний, которые на всем протяжении своего упорного существования никогда не смогли обрести научной формы (историю алхимии, а не химии, теории жизненных сил или френологии, а не физиологии, историю атомистических учений, а не физики). Историю той сумеречной философии, которая неотступно преследует литературу, искусство, науки, право, нравственность — все, вплоть до повседневной жизни людей. Историю тех извечных расхожих тем, которые так и не выкристаллизовались в строгую и индивидуальную систему, а сформировали спонтанную философию тех, кто не занимается философией. Историю не литературы, а того сопутствующего волнения, той повседневной и так быстро забывающейся писанины, которая никогда не получает или тотчас утрачивает статус произведения: анализ псевдолитературы, альманахов, журналов и газет, скоротечных успехов, скандальных авторов. История идей, определенная таким образом, — и сразу становится ясно, как сложно зафиксировать ее точные границы, — обращается ко всей той скрытой мысли, ко всему набору представлений, которые анонимно распространяются среди людей; сквозь разломы великих дискурсивных памятников она выявляет ту зыбкую почву, на которой они покоятся. Это дисциплина посвященная сбивчивым речам, неоформленным произведениям и разрозненным темам. Это, скорее, анализ мнений, а не знания, заблуждений, а не истины, не форм мышления, а типов ментальности.

Но, с другой стороны, история идей ставит своей задачей проникнуть в существующие дисциплины, рассмотреть их и заново интерпретировать. И тогда она образует не маргинальную область, а,

скорее, определенный стиль анализа, установление перспективы. Она занимается историческим полем различных наук, литературы и философии, но описывает в нем только те познания, которые послужили эмпирической и непродуманной основой для последующих формализаций. Она пытается обнаружить тот непосредственный опыт, который транскрибируется дискурсом; она следует за генезисом, который, исходя из полученных или приобретенных представлений, даст жизнь новым системам и произведениям. И наоборот, она показывает, как постепенно распадаются созданные таким образом величественные фигуры: как темы разделяются, продолжают свое разобщенное существование, устаревают или соединяются по-новому. Тогда история идей оказывается дисциплиной о началах и концах, описанием неясных непрерывностей и возвратов, воссозданием развития в линейной форме истории. Но она может также описать все взаимодействие обменов и посредников, существующих в разных областях: она показывает, как распространяется научное знание, как оно порождает философские понятия, а иногда обретает форму литературных произведений. Она показывает, как проблемы, понятия и темы могут переходить из философского поля, где они были сформулированы, в научные или политические дискурсы. Она соотносит произведения с социальными институтами, с общественным поведением или привычками, с технологиями, потребностями и немыми практиками. Она пытается оживить наиболее разработанные формы в том конкретном ландшафте, в той среде роста и развития, где они зародились. В таком случае она становится дисциплиной о взаимопроникновениях, опи-

санием концентрических кругов, которые охватывают произведения, выделяют их, связывают между собой и включают во все то, что произведениями не является.

Легко увидеть, как сочленяются друг с другом обе эти роли истории идей. Можно сказать, что в самом общем виде она постоянно описывает переход — и во всех тех направлениях, в которых он осуществляется, — от не-философии к философии, от не-научности к науке, от не-литературы к самому литературному творчеству. История идей является анализом покрытого мраком зарождения, отдаленных соответствий, неизменностей, упорно сохраняющихся под кажущимися переменами, медленно идущих формирований, использующих тысячи слепых случайностей, тех глобальных фигур, которые постепенно переплетаются друг с другом, а затем внезапно сжимаются, принимая вид произведения. Генезис, непрерывность, обобщение — в них заключаются великие темы истории идей и через них она связывается с определенной формой исторического анализа, которая теперь стала традиционной. В таких условиях вполне естественно, что всякий, кто все еще придерживается этого, теперь уже несколько поблекшего взгляда на историю, ее методы, требования и возможности, не может себе представить, чтобы мы отказались от такой дисциплины, как история идей; или, вернее, такой человек считает, что любая другая форма анализа дискурсов — это предательство самой истории. Ведь археологическое описание — это как раз и есть отречение от истории идей, систематический отказ от ее постулатов и процедур, попытка создать совершенно иную историю того, что было сказано людьми. То, что некоторые

не узнают в этом археологическом начинании истории времени своего детства, то, что они оплакивают ее, и, хотя наступили другие времена, взывают к этой великой тени былого, — все это просто-напросто доказывает их крайнюю преданность. Однако этот консерватизм только утверждает меня в моем намерении и придает мне уверенность в том, что я задумал сделать.

Очень много существует точек расхождения между археологическим анализом и историей идей. И сейчас я попытаюсь установить те четыре различия, которые кажутся мне главными. Они касаются определения новизны, анализа противоречий, сравнительных описаний и, наконец, выделения преобразований. Я надеюсь, что в этих различных пунктах можно будет увидеть особенности археологического анализа и что в случае необходимости можно будет измерить его дескриптивную способность. А пока что достаточно наметить лишь некоторые принципы.

1. Археология стремится определить не мысли, представления, образы, темы или навязчивые идеи, скрывающиеся или проявляющиеся в дискурсах, а сами эти дискурсы в качестве практик, подчиняющихся определенным правилам. Она не рассматривает дискурс как *документ*, как знак чего-то другого, как среду, которая должна была бы быть прозрачной, но удручающую неясность которой часто приходится преодолевать, чтобы добраться наконец до глубины самого существенного, находящегося там, где оно пребывает еще нетронутым; она обращается к дискурсу в его собственном объеме, к дискурсу как *памятнику*. Археология — это не интерпрета-

тивная дисциплина: она не ищет глубоко запрятанного «другого дискурса». Она отказывается быть «аллегорической».

2. Археология не стремится обнаружить постоянный и неощутимый переход, плавно связывающий дискурсы с тем, что им предшествует, их окружает или за ними следует. Она не подстерегает того момента, когда, исходя из того, чем они еще не были, дискурсы стали тем, чем являются теперь; она не выискивает и того момента, когда, разрушая прочность своей фигуры, они постепенно утратят свою тождественность. Наоборот, ее задача — определить дискурсы в их специфичности; показать, почему используемый ими набор правил несводим ни к какому другому набору правил; проследовать за ними по их внешним граням, чтобы лучше их очертить. Археология не переходит медленным поступательным движением от запутанного поля мнения к единичности системы или к окончательной стабильности науки; это не «доксология», а дифференциальный анализ модальностей дискурса.

3. Археология не подчиняется властной фигуре произведения и не стремится уловить тот момент, когда оно оторвалось от анонимного горизонта. Она не стремится обнаружить ту загадочную точку, в которой индивидуальное и социальное меняются местами. Археология не является ни психологией, ни социологией, ни, в более общем смысле, антропологией созидания. Произведение не является для нее подходящим вырезом, даже если бы речь шла о том, чтобы вновь поместить его в глобальный контекст или сеть причинно-следственных отношений.

Археология определяет типы и правила дискурсивных практик, которые пересекают индивидуальные произведения, иногда всецело ими распоряжаются и, ничего не упуская, полностью господствуют над ними, а иногда управляют лишь какой-то одной их частью. Археологии чужда инстанция созидающего субъекта в качестве того, кто дает произведению право на существование и обусловливает принципы его единства.

4. И наконец, археология не стремится восстановить то, что люди могли думать, хотеть, намечать, испытывать или желать в тот самый момент, когда изрекали свой дискурс. Она не ставит перед собой цели вычленить то неуловимое ядро, где автор и произведение обмениваются своей тождественностью; где мысль еще остается сама собой и пребывает в своей еще неискаженной форме и где речь еще не развернулась в пространственном и последовательном рассеивании дискурса. Иными словами, археология не пытается повторить то, что было сказано, возвращая его к своей тождественности. Сама она не стремится исчезнуть в двусмысленной скромности того прочтения, которое позволило бы вернуться, далекому, трепетному, почти неприметному свету первоистока во всей его чистоте. Археология — это не больше чем повторный акт записи: то есть упорядоченное преобразование — в сохраняющейся форме внешнего характера — того, что было уже написано. Это не возврат к тайне первоистока, это систематическое описание дискурса-объекта.

## II. *Оригинальное и закономерное*

Обычно история идей рассматривает поле дискурсов как область с двумя значениями: любой элемент, который мы в нем выделяем, может быть охарактеризован как старый или новый, неизвестный или повторенный, традиционный или оригинальный, соответствующий общему типу или отклоняющийся. Таким образом, можно различать две категории формулировок: формулировки, обладающие ценностью и относительно немногочисленные, возникающие впервые и не имеющие антецедентов, которые, возможно, послужат моделями для других формулировок и соответственно заслуживают того, чтобы называться творениями; и другие формулировки, банальные, повседневные, повсеместные, не отвечающие сами за себя и образующиеся из того, что уже было сказано, иногда просто для того, чтобы повторить это сказанное дословно. Каждой из этих двух групп история идей придает свой статус и подвергает их различным анализам. Описывая первую, она рассказывает историю изобретений, изменений, метаморфоз, она показывает, как истина вырвалась из заблуждений, как сознание пробудилось от бесконечной дремоты, как одна за другой возникли новые формы, чтобы создать наш нынешний ландшафт; в этом случае дело историка обнаружить непрерывную линию эволюции, исходя из этих изолированных точек и последовательных разрывов. Другая группа, наоборот, представляет историю как инертность и тяжеловесность, как медленное накопление прошлого и бесшумное отложение уже сказанного. Высказывания должны в ней рассматриваться все вместе, в зависимости от того, что

есть между ними общего; их событийная единичность может быть нейтрализована; личность их автора, момент и место их появления также утрачивают свою значимость. И наоборот, должна быть измерена их протяженность: до какого места и до какого момента они повторяются, по каким каналам они распространяются, в каких группах они циркулируют; какой общий горизонт они очерчивают для человеческой мысли и какие пределы ей ставят; и как, характеризуя какую-либо эпоху, они позволяют отличить ее от других: в этом случае описывают ряд глобальных фигур. В первом случае история идей описывает последовательность событий мысли; во втором — мы сталкиваемся с непрерывными поверхностями результатов; в первом случае воспроизводится возникновение истин или форм; во втором — восстанавливаются забытые единства и дискурсы отсылаются к своей относительности.

Действительно, история идей постоянно пытается определить отношения между этими двумя инстанциями; мы никогда не находим в ней один из этих двух анализов в чистом виде. Она описывает конфликты между старым и новым, сопротивление обретенного, подавление им того, что никогда еще не было сказано, покровы, под которыми обретенное скрывает еще не сказанное, и забвение, на которое ему иногда удается это не сказанное обречь. Однако история идей описывает также и факты благоприятствования, издалека и неясным образом подготавливающие будущие дискурсы. Она описывает отголоски открытий, скорость и протяженность их распространения, медленные процессы замещения или резкие толчки, сотрясающие привычный язык.

Она описывает интеграцию нового в уже структурированное поле обретенного, постепенное падение оригинального до уровня традиционного или же повторные появления уже-сказанного и возвращение первоначального. Но такое пересечение не мешает ей неизменно придерживаться двухполюсного анализа старого и нового. Анализ, который восстанавливает в эмпирической среде истории и в каждом из ее моментов, проблематику первоначала и в этом случае проблема заключается в том, чтобы в каждом произведении, в каждой книге, в самом незначительном тексте обнаружить точку разрыва и с наибольшей точностью установить разделение между, с одной стороны, имплицитной толщей уже-присутствующего, невольной верностью обретенному мнению, законом дискурсивных фатальностей, и, с другой стороны, живостью творения, скачком в неустранимое различие. Хотя такое описание оригинального и кажется вполне естественным, вместе с тем оно ставит две очень сложные методологические проблемы: проблему сходства и проблему следования. Действительно, оно предполагает, что можно было бы установить что-то вроде единого ряда, где дата появления каждой формулировки была бы установлена в соответствии с единообразными хронологическими ориентирами. Однако если пристальнее взглянуть на эту проблему, то разве тем же самым образом и на той же самой временной линии Гримм[1] со своим законом изменения гласных предшествует Боппу (который ссылался на этот закон,

[1] *Гримм Якоб* (1785–1863) — немецкий филолог, один из основоположников германистики как науки о языке и литературе. — *Прим. ред.*

использовал его, нашел ему применение и уточнил его), а Керду с Анкетиль-Дюперроном[2] (устанавливая аналогии между греческим языком и санскритом) предвосхитили определение индоевропейских языков и предшествовали основателям сравнительной грамматики? В одном и том же ряду и в соответствии с тем же самым принципом первенства Соссюру[3] «предшествовали» Пирс[4] с его семиотикой, Арно[5] и Лансло с классическим анализом знака, а также стоики и теория означающего? Предварение не является нередуцируемой и первичной данностью; оно не может играть роли абсолютной меры, которая позволила бы оценить любой дискурс и отличить оригинальное от повторяющегося. Выделение случаев предшествования само по себе недостаточно для того, чтобы определить дискурсивный порядок, — наоборот, само это предшествование зависит от анализируемого дискурса, избран-

[2] *Кёрду Гастон-Лоран* (1691–1779) — французский иезуит и миссионер, предпринявший сопоставление санскрита с рядом европейских языков. *Анкетиль-Дюперрон Абраам Ясент (Гиацинт)* (1731–1805) — французский ориенталист, лингвист, переводчик. В 1771 году опубликовал первый перевод Авесты на французский язык. — *Прим. ред.*

[3] *Соссюр Фердинанд де* (1857–1913) — швейцарский лингвист, основоположник современной структурной лингвистики. — *Прим. ред.*

[4] *Пирс Чарльз Сандерс* (1839–1914) — американский философ, родоначальник прагматизма, логик, математик и естествоиспытатель. Основатель семиотики. — *Прим. ред.*

[5] *Арно Антуан* (1612–1694) — французский лингвист, составивший вместе с Клодом Лансло знаменитую «Грамматику Пор-Рояля», заложившую фундамент современной грамматической науки. — *Прим. ред.*

ного уровня и установленного масштаба. Размечая дискурс в соответствии с календарем и устанавливая точную дату каждого из его элементов, мы не получим окончательной иерархии предварений и оригинальностей; такая иерархия всегда относится к тем системам дискурсов, которые она собирается оценивать.

Что же касается сходства между двумя или несколькими формулировками, следующими друг за другом во времени, то, в свою очередь, оно ставит целый ряд проблем. В каком смысле и в соответствии с какими критериями мы можем утверждать «это было уже сказано», «в таком-то тексте мы находим то же самое», «это суждение очень близко к такому-то», и т. д.? Что представляет собой частичная или полная тождественность в порядке дискурса? То, что два акта высказывания обладают полным тождеством, то, что они составлены из одних и тех же слов, взятых в одном и том же смысле, не позволяет нам, как известно, отождествить их абсолютно. Даже если бы мы обнаружили у Дидро и Ламарка, или у Бенуа де Майе и Дарвина одну и ту же формулировку принципа эволюции, мы не могли бы считать, что речь идет об одном и том же дискурсивном событии, во все времена подчиненном одному ряду повторений. Даже исчерпывающая тождественность не является критерием, а тем более тождественность частичная, когда слова не употребляются в одном и том же смысле или когда одно и то же ядро значения угадывается в разных словах. В какой мере можно утверждать, что одна и та же тема органицизма возникает через столь различные дискурсы и столь различное использование слов у Бюффона,

Жюсье и Кювье[6]? И наоборот, можно ли сказать, что одно и тоже слово «организация» имеет тот же самый смысл у Добантона, Блуменбаха и Жоффруа Сент-Илера[7]? В общем, разве одинаковый тип сходства мы отмечаем между Кювье и Дарвином и между уже упомянутым Кювье и Линнеем (или Аристотелем)? Между самими формулировками не существует заключенного в них, тотчас узнаваемого сходства: аналогия между ними — это результат того дискурсивного поля, в котором мы ее выделяем.

Таким образом, неправомерно спрашивать напрямик у изучаемых текстов об их праве на оригинальность, о благородстве их происхождения, которое выясняется здесь при отсутствии существования предков. Вопрос этот может иметь смысл только в отношении очень точно определенных рядов, в отношении совокупностей, границы и область которых мы установили между вехами, разграничивающими достаточно однородные дискурсивные поля[8]. А искать в невероятном нагромождении уже-ска-

[6] *Кювье Жорж* (1769–1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных. — *Прим. ред.*

[7] *Добантон Луи Жан Мари* (1716–1800) — французский натуралист, анатом и медик. С 1749 по 1767 год был соавтором Бюффона. *Блуменбах Иоганн Фридрих* (1752–1840) — немецкий анатом и антрополог. *Сент-Илер Жоффруа Этьен* (1772–1844) — французский естествоиспытатель, зоолог, автор монументальных работы по систематике млекопитающих, сравнительной анатомии; один из предшественников эволюционной теории об изменяемости видов. — *Прим. ред.*

[8] Именно таким образом г-н Кангилем установил последовательность суждений, которая от Уиллиса до Прохаски позволила дать определение рефлекса.

занного текст, «заранее» похожий на какой-то более поздний текст; рыться в истории, пытаясь обнаружить в ней различные отголоски или антиципации; восходить к самым первым завязям или подниматься к последним оставленным следам; выделять в произведении то его верность традициям, то его неустранимую единичность; превозносить или принижать долю его оригинальности; утверждать, что грамматисты Пор-Рояля вовсе ничего не изобрели или обнаруживать, что Кювье имел больше предшественников, чем думают обычно, — все это милые, но запоздалые развлечения историков в коротких штанишках.

Археологическое описание обращается к тем дискурсивным практикам, с которыми должны быть соотнесены факты последовательности, если мы не намереваемся их устанавливать каким-то диким и наивным способом, то есть в терминах значимости. Следовательно, на том уровне, где оно располагается, оппозиция оригинальность–банальность неуместна: археологическое описание не устанавливает никакой ценностной иерархии и не проводит радикального различия между первоначальной формулировкой и предложением, которое спустя годы или века повторяет ее более или менее точно. Это описание лишь стремится установить *закономерность* (régularité) высказываний. Закономерность здесь не противопоставляется не-закономерности, которая в пределах общепринятого мнения или наиболее распространенных текстов характеризует девиантное высказывание (отклоняющееся от нормы, пророческое, запоздалое, гениальное или патологическое); напротив, под ней подразумевается совокупность условий, в которых осуществляется функ-

ция высказывания, обеспечивающая и определяющая существование абсолютно любой вербальной реализации (необычной или заурядной, единственной в своем роде или тысячу раз повторенной). Понимаемая таким образом закономерность не характеризует некой центральной позиции в границах статистической кривой — следовательно, она не может расцениваться как показатель частотности или вероятности; она специфицирует фактическое поле возникновения. Каждое высказывание является носителем определенной закономерности и не может быть от нее отделено. Таким образом, закономерность одного высказывания должна противопоставляться не отсутствию закономерности другого высказывания (вероятно, менее ожидаемого, более своеобразного, более богатого новшеством), а другим закономерностям, характеризующим другие высказывания.

Археология не занимается поисками изобретений; она остается равнодушной к тому моменту (охотно допускаю, волнующему), когда кто-либо впервые уверился в некой истине; археология не пытается воссоздать свет этого праздничного утра. Однако она не обращается и к заурядным феноменам общепринятого мнения и серой картине того, что в ту или иную эпоху мог повторить каждый. Рассматривая тексты Линнея или Бюффона, Петти или Рикардо, Пинеля или Биша, она не пытается рассматривать их авторов в качестве отцов-основателей, но стремится выявить закономерность дискурсивной практики. Практики, одинаково действующей в текстах всех их самых неоригинальных последователей или предшественников, а также объясняющей в самом их творчестве не только самые оригиналь-

ные утверждения (о которых никто до них и не помышлял), но и те утверждения, которые они переняли или даже позаимствовали у своих предшественников. С точки зрения высказывания открытие не менее закономерно, чем текст, его повторяющий и распространяющий; в банальности закономерность (régularité) не менее действенна, не менее эффективна и активна, чем в самом необычном формировании. В подобном описании нельзя признавать сущностного различия между высказываниями творческими (обнаруживающими нечто новое, выражающими неизвестную информацию и в некотором роде являющимися «активными») и высказываниями подражательными (воспринимающими и повторяющими информацию и, так сказать, остающимися «пассивными»). Поле высказываний — это не совокупность бесплодных территорий, разбиваемых плодородными участками, а от края до края активная область.

Этот анализ закономерностей высказывания дает начало многим направлениям, которые когда-нибудь нужно будет, вероятно, исследовать более тщательно.

1. Итак, определенная форма закономерности характеризует совокупность высказываний, но при этом мы не можем, да и не должны, проводить различие между тем, что, вероятно, является новым, и тем, что таковым, очевидно, не является. Однако такие закономерности — и мы к этому еще вернемся — не являются раз и навсегда данными. Так, мы находим, что не одна и та же закономерность (régularité) действует у Турнефора и Дарвина, Лансло и Соссюра, Петти и Кейнса. Следовательно, мы

имеем однородные поля закономерностей высказывания (они характеризуют дискурсивную формацию), но между собой эти поля различны. Однако совсем необязательно, чтобы переход к новому полю закономерностей высказывания сопровождался соответствующими изменениями на всех других уровнях дискурсов. Мы можем обнаружить вербальные реализации, тождественные с точки зрения грамматики (лексики, синтаксиса и языка в целом), тождественные также с точки зрения логики (с точки зрения пропозициональной структуры или дедуктивной системы, в которую она оказывается помещенной), но *с точки зрения высказывания* они будут различны. Таким образом, формулировка количественного отношения между ценами и денежной массой в обращении может быть осуществлена с использованием одних и тех же — или синонимичных — слов и получена в результате одних и тех же умозаключений, но с точки зрения высказывания она не будет тождественной у Грешема или Локка[9] и маргиналистов XIX века: в каждом из этих случаев она зависит от разных систем формирования объектов и понятий. Следовательно, нужно различать *лингвистическую аналогичность* (или переводимость), *логическую тождественность* (или эквивалентность) и *однородность высказывания*. Археология рассматривает исключительно однородности высказывания. Следовательно, она может увидеть, как новая дискурсивная практика возникает через те вербальные фор-

[9] *Грешем Томас* (1519–1579) — английский финансист, создатель Лондонской торговой биржи. *Локк Джон* (1632–1704) — английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. — *Прим. ред.*

мулировки, которые остаются лингвистически аналогичными или логически эквивалентными (авторы грамматики Пор-Рояля, возвращаясь к старой теории предложения-атрибуции и глагола-связки, иногда повторяя ее слово в слово, открыли таким образом некоторую закономерность высказывания, специфичность которой и должна описывать археология). И наоборот, она может пренебрегать различиями лексики и не считаться с семантическими полями или дедуктивными построениями, если, несмотря на такую разнородность, она в состоянии распознать во всех случаях определенную закономерность высказывания (с этой точки зрения теория языка действия, исследование происхождения языков и установление примитивных корней, такие, какими мы их обнаруживаем в XVIII веке, не являются «новыми» по отношению к «логическим» анализам, проделанным Лансло).

Таким образом, мы видим, как вырисовывается некоторое число рассогласований и сочленений. Уже нельзя утверждать, что открытие, формулировка общего принципа или определение какого-либо начинания торжественно и самым широким образом знаменуют начало новый фазы в истории дискурса. Уже не нужно искать тот момент абсолютного начала или тотальной революции, после чего все организуется, все становится возможным и необходимым или все уничтожается ради того, чтобы начаться вновь. Мы имеем дело с событиями разных типов и уровней, взятыми в различной исторической сетке; устанавливающаяся однородность высказывания никоим образом не предполагает, что с этого момента и на протяжении последующих десятилетий или веков люди станут говорить и думать

одно и то же; она не предполагает эксплицитного или имплицитного определения некоторого числа принципов, из которых в качестве следствия проистекало бы все остальное. Однородность (и разнородность) высказывания пересекаются с лингвистическими непрерывностями (и изменениями) и с логическими тождествами (и различиями), но при этом они необязательно развиваются одинаковыми темпами или управляют друг другом. Однако между ними должно существовать определенное число связей и взаимозависимостей, область которых, очевидно, очень сложную, необходимо будет подробно описать.

2. Другое направление исследования: внутренние иерархии в закономерностях высказывания. Мы видели, что любое высказывание зависит от определенной закономерности, — следовательно, никакое высказывание не может рассматриваться просто как чистое творение или проявление чудесной неупорядоченности гения. Однако мы также видели, что никакое высказывание не может рассматриваться как неактивное и расцениваться как мало реальная тень или копия первоначального высказывания. Все поле высказывания в одно и то же время и закономерно, и готово к изменению: оно не дремлет; самое незначительное высказывание — самое непритязательное или самое банальное — приводит в действие весь набор правил, в соответствии с которыми сформированы его объект, его модальность, понятия, которые оно использует, и стратегия, частью которой оно является. Эти правила никогда не даны в виде формулировки, они пронизывают объект, модальность, понятия и стратегию поля выска-

18 Зак. 3653

зывания и образуют для них пространство сосуществования; следовательно, мы не можем обнаружить то единичное высказывание, которое артикулировало бы их ради них самих. Однако некоторые группы высказываний приводят в действие эти правила в их самой общей и широко применяемой форме; отталкиваясь от них, мы можем увидеть, как на основе правил менее общих, область применения которых более специфична, могут быть сформированы другие объекты, другие понятия, другие модальности высказывания или другие стратегические выборы. Таким образом, мы можем описать дерево *деривации* высказываний: в его основании — высказывания, которые приводят в действие правила формирования в их самом широком объеме; на вершине, после некоторого числа разветвлений, находятся высказывания, которые приводят в действие ту же самую закономерность, но артикулированную более тонко, лучше разграниченную и локализованную во всей своей протяженности.

Таким образом, археология — и это одна из ее основных тем — может создать дерево деривации отдельного дискурса. Например, дискурса Естественной истории. В основании в качестве *направляющих высказываний* она поместит такие высказывания, которые относятся к определению доступных наблюдению структур и поля возможных объектов; те высказывания, которые предопределяют формы описания и перцептивные коды, находящиеся в распоряжении этого дискурса; те высказывания, которые выявляют самые общие возможности характеризации и тем самым определяют целую область понятий, подлежащих конструированию; наконец, те высказывания, которые, конституируя стратегический выбор, остав-

ляют место для неограниченного числа последующих предпочтений. А на концах ветвей или, по крайней мере, проходя через всю их густоту, археология обнаружит «открытия» (такие как открытие рядов окаменелостей), понятийные преобразования (такие как новое определение рода), возникновение ранее неизвестных понятий (таких как понятие «млекопитающие» или «организм»), усовершенствование технологий (организующие принципы коллекций, методы классификации и номенклатуры). Эта деривация, осуществляющаяся на основе направляющих высказываний, не должна смешиваться с дедукцией, осуществляющейся на основе аксиом; она не должна быть также уподоблена зарождению некой общей идеи или некого философского ядра, значения которых постепенно прояснялись бы в опытах или точных концептуализациях; и наконец, ее не следует принимать за психологический генезис, осуществляющийся на основе открытия, которое постепенно развивало бы свои следствия и расширяло свои возможности. Эта деривация отличается от всех подобных путей следования и должна быть описана в своей автономии. Таким образом, мы можем описать археологические деривации Естественной истории, начиная не с ее недоказуемых аксиом или основополагающих тем (как, например, непрерывность природы) и не принимая за отправную точку и путеводную нить первые открытия или первые подступы (подходы Турнефора прежде, чем подходы Линнея, или подходы Джонстона[10] прежде, чем подходы Тур-

[10] *Джонстон Ян* (1603–1675) — польский философ, врач, ботаник. Автор знаменитой «Естественной истории четвероногих». — *Прим. ред.*

нефора). Археологический порядок не является ни порядком систематичностей, ни порядком хронологических последовательностей.

Но теперь мы видим, как открывается целая область возможных вопросов. Потому что между этими различными порядками, хотя они и имеют специфический характер и каждый из них обладает собственной автономностью, должны существовать связи и зависимости. Для некоторых дискурсивных формаций археологический порядок, возможно, незначительно отличается от систематического порядка, тогда как в других случаях он, возможно, повторяет путь хронологических последовательностей. Такие параллелизмы (в отличие от искривлений, которые мы обнаруживаем в других местах) заслуживают анализа. Во всяком случае, важно не смешивать эти различные виды упорядоченности, не искать в первоначальном «открытии» или в оригинальности формулировки принцип, из которого все можно вывести путем дедукции и деривации; не искать в общем принципе закон закономерностей высказывания или индивидуальных изобретений; и не требовать от археологической деривации воспроизведения порядка времени или выявления дедуктивной схемы.

Нет, вероятно, ничего более ошибочного, чем видеть в анализе дискурсивных формаций попытку создания всеобщей периодизации: так, начиная с определенного момента и в течение определенного времени, все думали бы одинаково, несмотря на поверхностные различия; говорили бы одно и то же при помощи полиморфного словаря; и создавали бы нечто вроде огромного дискурса, который мож-

но было бы без всякого ущерба просматривать в любом направлении. Наоборот, археология описывает уровень однородности высказывания, имеющего свой собственный временнóй вырез; он не влечет за собой никаких других форм тождества и различия, которые можно выделить в речи. На этом уровне она устанавливает упорядоченность, иерархии и многочисленные разветвления, которые исключают сплошную, аморфную, полностью и раз навсегда данную синхронию. В этих столь запутанных единствах, которые называются «эпохами», археология выделяет — со всей их специфичностью — «периоды высказывания», которые сочленяются, но не смешиваются со временем понятий, с теоретическими фазами, со стадиями формализации и с этапами лингвистической эволюции.

## III. *Противоречия*

Обычно история идей полагается на связность того дискурса, который она анализирует. Но что происходит, если она обнаруживает неупорядоченность в употреблении слов, несовместимые суждения, ряд значений, которые не сочетаются друг с другом, и понятия, которые не могут быть систематизированы воедино? Тогда она вменяет себе в обязанность обнаружить на более или менее глубоком уровне принцип связности, организующий дискурс и возвращающий ему скрытое единство. Этот закон связности представляет собой эвристическое правило, процедурную необходимость, почти что моральное принуждение к поиску: не увеличивать напрасно число

противоречий; не поддаваться на ничтожные различия; не придавать слишком большого значения изменениям, раскаяниям, обращениям к прошлому и к полемикам; не предполагать, что речь людей постоянно подрывается изнутри противоречивостью их желаний, влияниями, которые они испытывают, или условиями, в которых они живут; и наоборот, вместо этого признать, что если люди разговаривают и если они вступают в диалог друг с другом, то происходит это для того, чтобы преодолеть такие противоречия и найти ту точку, исходя из которой они могут быть подавлены. Однако и сама связность также является результатом исследования: она определяет те конечные единства, которые завершают анализ; она выявляет внутреннюю организацию текста, форму развития индивидуального творчества или место встречи различных дискурсов. Чтобы восстановить эту связность, нужно сначала предположить, что она существует, и обрести уверенность, что она обнаружена, можно только в том случае, если проследить ее достаточно далеко и на протяжении достаточно длительного отрезка времени. Связность предстает как оптимум, где максимально возможное число противоречий разрешается самыми простыми средствами.

Однако используемые средства являются весьма многочисленными, и в силу этого найденные связности могут быть чрезвычайно различны. Анализируя истинность суждений и объединяющие их отношения, можно определить поле логической непротиворечивости: в этом случае будет обнаружена систематичность; от видимого корпуса предложений можно будет подняться к тому ясному идеальному построению, которое грамматическая многознач-

ность и перегруженность слов означаемым, очевидно, скрыли в той же самой степени, в какой и выразили. Но и наоборот, прослеживая ход аналогий и символов, можно найти тематику, скорее, воображаемую, чем дискурсивную, скорее, аффективную, чем рациональную, и менее близкую понятию, чем желанию; ее сила оживляет самые противоположные фигуры, но только для того, чтобы тотчас их расплавить в общем, медленно преобразуемом единстве; и тогда обнаруживается пластичная непрерывность, тогда обнаруживается развитие смысла, обретающего форму в различных представлениях, образах и метафорах. Независимо от того, является ли связность тематической или систематической, она может быть эксплицитной или имплицитной: ее можно искать на уровне представлений, которые для говорящего субъекта были осознанными, но которые — в силу обстоятельств или из-за неспособности, относящейся к самой форме его речи, — был бессилен выразить его дискурс. Можно также искать ее в тех структурах, которые, очевидно, сами принуждали автора к своему созданию и навязывали ему, без его ведома, постулаты, операционные схемы, лингвистические правила, совокупность основных утверждений и убеждений, типы образов или целую логику фантазмов. Наконец, речь может идти о связности, устанавливаемой на уровне индивида — на уровне его биографии или единичных обстоятельств его дискурса. Однако ее также можно установить и в пределах более широких ориентиров и придать ей коллективные и диахронические параметры эпохи, общей формы сознания, типа общества, совокупности традиций, воображаемого ландшафта, присущего целой куль-

туре. Во всех этих формах выявленная таким образом связность всегда играет одну и ту же роль: показать, что непосредственно видимые противоречия — это лишь отблески поверхности и что нужно свести в единый фокус все эти рассеянные блики. Противоречие — это иллюзия единства, которое скрывается или сокрыто: оно существует только в сдвиге между сознанием и бессознательным, мыслью и текстом, идеальностью и случайной формой выражения. Во всяком случае, анализ, насколько это вообще возможно, должен уничтожить противоречие.

В итоге такой работы сохраняются лишь остаточные противоречия — случайности, недочеты, слабые места — или, наоборот, как если бы любой анализ исподволь и вопреки самому себе подводил к этому, возникает основное противоречие: начиная с момента возникновения системы вводятся несовместимые постулаты, объединяются непримиримые влияния, происходит начальное преломление желания, разражается экономический и политический конфликт, который противопоставит общество самому себе, — и все это возникает не как многие поверхностные элементы, которые нужно устранить, а раскрывается в конечном счете как организующий принцип, как тайный и основной закон, объясняющий все менее значительные противоречия и наделяющий их прочным основанием, — короче говоря, как модель для всех других оппозиций. Такое противоречие отнюдь не является для дискурса видимостью или случайностью, отнюдь не является тем, от чего следует избавить дискурс, чтобы он, наконец, выявил свою полностью раскрывшуюся истину: такое противоречие образует сам

закон его существования. Дискурс возникает как раз исходя из противоречия; он начинает говорить как раз для того, чтобы одновременно передать и преодолеть его; он продолжается и бесконечно возобновляется как раз для того, чтобы избежать противоречия, в то время как оно постоянно возрождается в нем; он меняется, преображается, ускользает от самого себя в свою же собственную непрерывность как раз потому, что противоречие всегда находится по эту сторону дискурса, и потому, следовательно, что он никогда не может полностью его избежать. В таком случае противоречие действует по ходу всего развития дискурса как принцип его историчности.

Таким образом, история идей признает два уровня противоречий: уровень видимостей, разрешающийся в глубинном единстве дискурса; и уровень оснований, порождающий сам дискурс. По отношению к первому уровню противоречий дискурс является идеальной фигурой, которую нужно очистить от их случайного присутствия, от их слишком зримого воплощения; по отношению ко второму дискурс является фигурой эмпирической, которой могут завладеть противоречия, и кажущуюся связность которой нужно разрушить, чтобы их, наконец, обнаружить в их вторжении и насильственности. Дискурс — это путь от одного противоречия к другому: если он порождает видимые противоречия, то это значит, что он подчиняется тому противоречию, которое скрывает. Анализировать дискурс — значит удалить и восстановить противоречия; показать ту роль, которую они в нем играют; продемонстрировать, как он может их выражать, воплощать или придавать им мимолетную видимость.

Для археологического анализа противоречия не являются ни видимостями, которые должны быть преодолены, ни тайными принципами, которые следовало бы высвободить. Это объекты, которые должны быть описаны ради них самих, и мы не пытаемся выяснить, исходя из какой точки зрения они могут быть рассеяны или на каком уровне они радикализуются и из следствий становятся причинами. Возьмем простой и неоднократно уже приводившийся здесь пример: в XVIII веке линнеевскому принципу фиксизма противоречило не столько открытие *пелории*[11], изменившее только его модальности применения, сколько некоторые «эволюционистские» утверждения, которые можно найти у Бюффона, Дидро, Борде, Майе и многих других. Археологический анализ состоит не в том, чтобы показать, что под этой оппозицией и на более существенном уровне все признавали некоторые фундаментальные положения (непрерывность природы и ее полноту, корреляцию между недавно возникшими формами и климатом, почти незаметный переход от неживого к живому). Он состоит также и не в том, чтобы показать, что в отдельной области естественной истории подобная оппозиция отражает более общий конфликт, разделяющий все знание и мысль XVIII века (конфликт между темой упорядоченного творения, обретенного раз и навсегда, проявившегося без какой-либо неустранимой тайны, и темой изобилующей природы, наделенной зага-

[11] *Пелория* — явление, при котором у видов с зеркально-симметричными цветками в результате мутации образуются аномальные, почти радиально-симметричные цветки. — *Прим. ред.*

дочными силами, постепенно проявляющейся в истории и под грозным натиском времени переворачивающей все пространственные порядки). Археология пытается показать, каким образом оказывается возможным, что эти два положения, выдвигаемых фиксистами и «эволюционистами», имеют между собой нечто общее в определенном описании видов и родов, описании, которое принимает в качестве объекта видимую структуру органов (то есть их форму, величину, количество, расположение в пространстве) и которое может ограничить свой объект двумя способами (организмом в целом или некоторыми его частями, выбранными либо в силу их важности, либо ради таксономического удобства). Тогда во втором случае создается правильная таблица, включающая в себя некоторое число точно определенных клеток и конституирующая в некотором смысле программу любого возможного творения (так что настоящая будущая, или уже исчезнувшая упорядоченность родов и видов является окончательно зафиксированой); а в первом случае создаются группы родства, остающиеся неопределенными и открытыми, отделенные друг от друга и допускающие недетерминированное число новых форм, сколь угодно близких к уже существующим формам. Выводя таким образом противоречие, существующее между двумя положениями о некоторой области объектов, о ее разграничениях и сегментировании, мы не разрешаем этого противоречия, мы не находим точки примирения между этими положениями. Но мы и не переводим это противоречие на более глубокий уровень; мы определяем место, где оно находится; мы показываем ветвление альтернативы; мы указываем точку

расхождения и то место, где эти два дискурса накладываются друг на друга. Теория структуры — это не расхожий постулат, не основа общего воззрения, разделяемого Линнеем и Бюффоном, не постоянное и основополагающее утверждение, которое оттеснило бы конфликт между эволюционизмом и фиксизмом на уровень второстепенного спора; это принцип их несовместимости, закон, управляющий их деривацией и сосуществованием. Принимая противоречия за объекты, которые должны быть описаны, археологический анализ не пытается обнаружить на их месте общую форму или тематику; он пытается определить степень и форму их расхождения. В отличие от истории идей, которая хотела бы растопить противоречия в призрачном единстве всеобъемлющей фигуры или превратить их во всеобщий, абстрактный, единообразный принцип интерпретации либо объяснения, археология описывает различные *пространства несоответствия*.

Следовательно, археология отказывается рассматривать противоречие как общую функцию, которая одинаково осуществляется на всех уровнях дискурса и которую анализ должен был бы либо полностью уничтожить, либо довести до первичной и основополагающей формы: величественное противоречие *вообще* — присутствующее под тысячью обликов, затем уничтоженное и, наконец, восстановленное в главном конфликте, где оно достигает своей кульминации, — археология заменяет анализом различных типов противоречия, различных уровней, в соответствии с которыми его можно выделить, и различных функций, которые оно может выполнять.

Начнем с различных типов. Некоторые противоречия локализуются только в плоскости суждений или утверждений, ни в чем не затрагивая тот режим высказывания, который сделал их возможными. Так, в XVIII веке тезис о животном происхождении ископаемых противопоставлялся более традиционному тезису об их минеральной природе; следствия, которые можно было извлечь из этих двух тезисов, являются, конечно, многочисленными и далеко идущими, но можно показать, что эти тезисы зарождаются в одной и той же дискурсивной формации, в одной и той же точке и в соответствии с одними и теми же условиями осуществления функции высказывания; эти противоречия являются археологически *производными* и представляют собой некое конечное состояние. Другие противоречия, наоборот, переступают границы дискурсивной формации и противопоставляют тезисы, зависящие от разных условий акта высказывания: так, например, фиксизму Линнея противоречит эволюционизм Дарвина, но только в той мере, в какой мы нейтрализуем различие между естественной историей, к которой принадлежит первый, и биологией, к которой относится второй. В этом заключаются *чисто внешние* противоречия, отсылающие к оппозиции между различными дискурсивными формациями. Для археологического описания (не вдаваясь пока в возможные процедурные детали) такая оппозиция образует *terminus a quo*, тогда как производные противоречия образуют *terminus ad quem*[12] анализа. Между этими двумя крайностями

[12] Terminus a quo — исходная точка; terminus ad quem — конечная точка (*лат.*). — *Прим. пер.*

археологическое описание рассматривает то, что можно было бы назвать *внутренне-присущими* противоречиями: это те противоречия, которые проявляются в самой дискурсивной формации и, зародившись в некоторой точке системы формирований, порождают различные подсистемы. Таково противоречие, — чтобы оставаться в рамках примера Естественной истории XVIII века, — противопоставляющее «методические» и «систематические» анализы. В данном случае оппозиция отнюдь не является окончательной: это не два противоречащих друг другу суждения, касающиеся одного и того же объекта, не два несовместимых использования одного и того же понятия, это два способа формирования высказываний, каждый из которых характеризуется определенными объектами, определенными позициями субъективности, определенными понятиями и определенными стратегическими выборами. Однако эти системы не являются первичными, поскольку мы можем показать, в какой точке обе они образуются одной и той же позитивностью, а именно позитивностью естественной истории. Только такими *внутренне-присущими оппозициями* и занимается археологический анализ.

Теперь о различных уровнях. Противоречие, являющееся внутренне-присущим с археологической точки зрения, — это не простой факт, который достаточно было бы констатировать как принцип или объяснить как следствие. Это сложный феномен, размещающийся в различных плоскостях дискурсивной формации. Так, в отношении систематической Естественной истории и методической Естественной истории, которые не переставали друг

другу противопоставляться на протяжении значительной части XVIII столетия, мы можем признать следующее: *неадекватность* объектов (в одном случае описывается общий внешний вид растения, в другом — некоторые заранее определенные переменные; в одном случае описывается растение целиком или, по крайней мере, его наиболее важные части, в другом — некоторое число элементов, выбранных произвольно из-за их таксономического удобства; то принимаются во внимание различные этапы роста и созревания растения, то исследователи ограничиваются теми моментами и стадиями, которые оптимальны для наблюдения); *дивергенцию* модальностей высказывания (в случае систематического анализа растений применяется строгий перцептивный и лингвистический код и задается постоянная шкала; при методическом описании коды относительно свободны и шкала выделения может колебаться); *несовместимость* понятий (в «системах» понятие родового признака является произвольным, хотя и безошибочным знаком для обозначения родов; в «методах» это же самое понятие призвано дать реальное определение рода); и наконец, *исключение* теоретических предпочтений (систематическая таксономия делает возможным «фиксизм», даже если он подправлен идеей творения, длящегося во времени, которое постепенно разворачивает элементы таблиц, или идеей природных катастроф, нарушивших, с нашей нынешней точки зрения, линейный порядок естественного соседства; но систематическая таксономия исключает возможность преобразования, допускаемую, хотя и не безоговорочно предполагаемую, «методом»).

И наконец, функции. Все эти формы оппозиции играют неодинаковую роль в дискурсивной практике: не все они в равной степени являются препятствиями, которые нужно преодолеть, или составляют принцип их роста и развития. Во всяком случае, недостаточно искать в них причину либо замедления, либо ускорения истории; не из пустой и общей формы оппозиции время проникает в истинность и идеальность дискурса. Эти оппозиции всегда суть детерминированные функциональные моменты. Некоторые из них обеспечивают *дополнительное развитие* поля высказывания: они начинают последовательности аргументации, опыта, верификаций, разнообразных выводов; они позволяют детерминировать новые объекты, они вызывают к жизни новые модальности высказывания, они определяют новые понятия или видоизменяют поле применения уже существующих понятий, однако при этом ничто не оказывается видоизмененным в системе позитивности дискурса (как это было с теми дискуссиями, которые велись натуралистами XVIII века по поводу границы между минералами и растениями, по поводу пределов жизни или природы и происхождения ископаемых); такие аддитивные процессы могут оставаться открытыми, или быть раз и навсегда завершенными через доказательство, которое их опровергает, либо через открытие, которое их исключает. Другие оппозиции приводят к *реорганизации* дискурсивного поля: они ставят вопрос о возможном переводе одной группы высказываний в другую, о точке связности, которая могла бы соединить их между собой, об их интеграции в более общее пространство (так, у натуралистов XVIII века оппозиция система–метод влечет за собой ряд по-

пыток свести их в единую форму описания, чтобы придать методу строгость и упорядоченность системы и чтобы совместить произвольность «системы» с конкретными анализами «метода»). Не новые объекты, не новые понятия, не новые модальности высказывания линейно прибавляются к прежним, а объекты другого уровня (более общего или более частного), понятия, имеющие другую структуру и другое поле применения, и акты высказывания другого типа; но правила формирования при этом не видоизменяются. Другие же оппозиции играют *критическую* роль: они вводят вопрос о существовании и «приемлемости» дискурсивной практики; они определяют точку ее действительной невозможности и ее исторического поворота (так, внутри самой Естественной истории описание органных единств и тех функций, которые осуществляются через анатомические переменные в точно определенных условиях существования, уже не допускает, по крайней мере в качестве автономной дискурсивной формации, той Естественной истории, которая была бы таксономической наукой, основывающейся на видимых признаках существ).

Таким образом, дискурсивная формация — это не идеальный, непрерывный и гладкий текст, протекающий под многообразием противоречий и разрешающий их в спокойном единстве связной мысли; но это также и не поверхность, где, принимая тысячи разных обликов, отражается противоречие, которое, возможно, всегда находится поодаль, но господствует повсюду. Это, скорее, пространство многочисленных разногласий; это совокупность различных оппозиций, уровни и роли которых нужно описать. Таким образом, археологический анализ устраняет

главенство противоречия, моделью которого можно считать утверждение и одновременное отрицание одного и того же суждения. Но делает он это не для того, чтобы снивелировать все оппозиции в общих формах мышления и насильно примирить их, обращаясь к принудительному *a priori*. Наоборот, речь идет о том, чтобы в определенной дискурсивной практике выделить ту точку, в которой они образуются, определить ту форму, которую они принимают, те отношения, которые существуют между ними, и ту область, которую они охватывают. Короче говоря, речь идет о том, чтобы сохранить все многочисленные шероховатости дискурса, а следовательно, и упразднить тему противоречия, утраченного и вновь обретенного, разрешенного и всегда возрождающегося в недифференцированной стихии Логоса.

## IV. *Сравнительные факты*

Археологический анализ индивидуализирует и описывает дискурсивные формации. Это значит, что он должен их сравнивать, противопоставлять друг другу в той одновременности, в какой они существуют, отличать их от дискурсивных формаций с другим календарем, соотносить их — в том, что может быть у них специфического, — с недискурсивными практиками, которые их окружают и служат для них общей средой. Археологическое исследование всегда стоит во множественном числе — и в этом также оно сильно отличается от эпистемологических или «архитектонических» описаний, анализирующих

внутреннюю структуру теории: оно осуществляется в многообразии регистров; оно рассматривает зазоры и расхождения; его область там, где единства накладываются друг на друга, где они разделяются, фиксируют свои грани, где они противопоставляются друг другу и оставляют между собой пробелы. Когда археологическое исследование обращается к единичному типу дискурса (к дискурсу психиатрии в «Истории безумия» или к дискурсу медицины в «Рождении клиники»), то делает это для того, чтобы посредством сопоставления установить его хронологические пределы; чтобы одновременно и в корреляции с ними описать институциональное поле, совокупность событий, практик, политических решений, последовательное развитие экономических процессов, где представлены демографические колебания, формы социальной помощи, потребности в рабочей силе, различные уровни безработицы и т. д. Но также, через своего рода латеральный подход (как в «Словах и вещах») археологическое исследование может рассматривать несколько различных позитивностей, сравнивая их совпадающие на протяжении определенного периода времени состояния и сопоставляя их с другими типами дискурса, занявшими их место в ту или иную эпоху.

Однако все эти анализы значительно отличаются от тех, которые применяются обычно.

1. В этих анализах сравнение всегда ограниченно и носит локальный характер. Археология не пытается выявить общие формы, а, наоборот, стремится обрисовать единичные конфигурации. Когда мы сопоставляем Всеобщую грамматику, Анализ бо-

гатств и Естественную историю в классическую эпоху, то делаем это не для того, чтобы перегруппировать три — особенно нагруженные экспрессивной ценностью и странным образом до сих пор остававшиеся без внимания — проявления ментальности, которая, вероятно, была общей в XVII и XVIII веках; также и не для того, чтобы на основании редуцированной модели и единичной области воссоздать формы рациональности, использовавшиеся во всей классической науке; и даже не затем, чтобы прояснить наименее известные стороны того культурного облика, который мы считали хорошо знакомым. Мы не хотели показать, что люди XVIII века, как правило, интересовались, скорее, порядком, чем историей, скорее, классификацией, чем становлением, скорее, знаками, чем механизмами причинности. Речь шла о том, чтобы выявить четко определенную совокупность дискурсивных формаций, между которыми существует некоторое количество связей, поддающихся описанию. Эти связи не выходят за пограничные области и их нельзя последовательно перенести на совокупность современных дискурсов, ни тем более на то, что обычно называется «классическим духом»: они прочно замкнуты на исследуемую триаду и представляют ценность только в той области, которая оказывается тем самым специфицированной. Сама эта интердискурсивная совокупность, представленная в форме группы, оказывается связанной с другими типами дискурса (с анализом представления, общей теорией знаков и «идеологией», с одной стороны; с математикой, алгебраическим анализом и попыткой установления *матезиса* с другой стороны). Эти внутренние и внешние связи характеризуют Ес-

тественную историю, Анализ богатств и Всеобщую грамматику как специфическую совокупность и позволяют распознать в них *интердискурсивную конфигурацию*.

И если кто-нибудь спросит: «А почему вы ничего не сказали о космологии, физиологии или о библейской экзегезе? Разве химия до Лавуазье[13], или математика Эйлера[14], или История Вико[15], оказавшись включенными в ваше рассмотрение, не обесценили бы все те анализы, которые можно найти в «Словах и вещах»? Разве в богатом на изобретения XVIII веке нет множества других идей, которые никак не входят в жесткие рамки археологии?» — в ответ им, в ответ на их оправданное нетерпение, в ответ на все те контрпримеры, которые они, безусловно, могли бы привести, я скажу только одно: конечно, вы правы. Я не только признаю, что мой анализ ограничен, я хочу, чтобы он был ограничен и требую этого от него. Контрпримером для меня была бы как раз возможность сказать следующее: все эти отношения, которые вы описали, говоря о трех частных формациях; все эти сети, где сочленяются друг с другом теории атрибуции, сочленения, обозначения и деривации, всю эту таксономию, которая основывается на прерывной характеризации и непре-

[13] *Лавуазье Антуан Лоран* (1743–1794) — французский химик, одним из первых начал применять в химии количественные методы. — *Прим. ред.*

[14] *Эйлер Леонард* (1707–1783) — математик, механик, физик и астроном. — *Прим. ред.*

[15] *Вико Джамбаттиста* (1668–1744) — итальянский философ, один из основоположников историцизма. Речь идет о книге Вико «Основания Новой Науки об общей природе наций». — *Прим. ред.*

рывности порядка, — все это мы неизменно и в том же самом виде обнаруживаем в геометрии, в рациональной механике, в гуморальной и эмбриональной физиологии, в критике священной истории и в зарождающейся кристаллографии. Это действительно было бы доказательством того, что я не описал *участок интерпозитивности*, как собирался это сделать, а, скорее, охарактеризовал дух или науку целой эпохи — как раз то, против чего направлено все мое начинание. Описанные мною отношения представляют ценность для определения одной частной конфигурации; они отнюдь не являются знаками для описания облика культуры во всей его целостности. Друзьям *Weltanschauung* придется разочароваться: я придерживаюсь той точки зрения, что предпринятое мною описание должно быть иного типа, чем то, которое предлагают они. То, что для них было бы лакуной, забывчивостью, ошибкой, для меня является намеренным, методологически обоснованным исключением.

Но можно было бы возразить и так: вы сопоставили Всеобщую грамматику с Естественной историей и Анализом богатств. Но почему не с той историей, которая создавалась в ту самую эпоху, не с библейской критикой, не с риторикой, не с теорией искусств? Разве вы не обнаружили бы совсем иное поле интерпозитивности? И стало быть, какие привилегии у того поля, которое вы описали? — Привилегии? Никаких. Это всего лишь одна из поддающихся описанию совокупностей. Действительно, если бы мы снова взяли Всеобщую грамматику и попытались бы определить ее связи с историческими дисциплинами и критикой текста, мы наверняка увидели бы, как вырисовывается совершенно иная

система отношений, и описание выявило бы такую интердискурсивную сеть, которая не накладывалась бы на первую, а пересекала бы ее в отдельных точках. Точно также таксономия натуралистов могла бы быть сопоставлена не с грамматикой и экономикой, а с физиологией и патологией: и в этом случае вырисовались бы новые интерпозитивности (сравните отношения таксономия–грамматика–экономика, проанализированные в «Словах и вещах», и отношения таксономия–патология, исследованные в «Рождении клиники»). Таким образом, число этих сетей не предопределено заранее; только испытание анализом может показать, существуют ли они, и если существуют, то какие (то есть, какие из них поддаются описанию). Более того, никакая дискурсивная формация не принадлежит (во всяком случае, необязательно принадлежит) лишь к одной из этих систем, а входит одновременно во многие поля отношений, где занимает разные места и осуществляет разные функции (связи таксономия–патология не изоморфны со связями таксономия–грамматика; связи грамматика–анализ богатств не изоморфны со связями грамматика–экзегеза).

Таким образом, горизонт, к которому обращается археология, — это не *отдельная* наука, *отдельная* рациональность, *отдельная* ментальность или *отдельная* культура; это переплетение интерпозитивностей, границы и точки пересечения которых не могут быть сразу зафиксированы. Археология — это сравнительный анализ, призванный не сократить разнообразие дискурсов и наметить обобщающее их единство, а разместить их разнообразие в различных фигурах. Археологическое сравнение имеет своим результатом не унификацию, а умножение.

2. Сопоставляя Всеобщую грамматику, Естественную историю и Анализ богатств в XVII–XVIII веках, мы могли бы спросить себя, какие идеи в эту эпоху были общими для лингвистов, натуралистов и теоретиков экономики; мы могли бы спросить себя, какие имплицитные постулаты, несмотря на различие своих теорий, они допускали и каким общим принципам они, возможно негласно, подчинялись; мы могли бы спросить себя, какое влияние оказал анализ языка на таксономию или какую роль в теории богатства сыграла идея упорядоченной природы. В равной степени мы могли бы исследовать распространение, соответствующее этим различным типам дискурса, авторитет, признаваемый за каждым из них, их значимость, обусловленную как длительностью их существования (или наоборот, их недавним возникновением), так и их крайней строгостью, коммуникационные каналы и маршруты, по которым происходил обмен информацией. Наконец, вслед за совершенно традиционными анализами мы могли бы спросить себя, в какой степени Руссо перенес на анализ языков и их происхождения свои знания и опыт ботаника; какие общие категории применял Тюрго к анализу денежной системы, к теории языка и к этимологии; как идея универсального, искусственного и совершенного языка была переработана и использована такими классификаторами, как Линней или Адансон. Конечно, все эти вопросы были бы правомерны (или, по крайней мере, некоторые из них...). Но ни те ни другие неуместны на уровне археологии.

Археология стремится прежде всего высвободить механизм аналогий и различий в том виде, в каком они проявляются на уровне правил формирования

(в специфичности и дистанции, сохраняемых несходными дискурсивными формациями). Это ведет к постановке пяти различных задач: 

*a*) Показать, как на основе аналогичных правил могут быть сформированы совершенно различные дискурсивные элементы (понятия всеобщей грамматики, такие как понятия глагола, подлежащего, дополнения или корня, сформированы на основе тех же самых расположений, на основе того же поля высказывания — теории атрибуции, сочленения, обозначения и деривации — что и столь различные, столь разнородные понятия Естественной истории и Экономики); это задача показать *археологические изоморфизмы* между различными формированиями.

*b*) Показать, в какой степени эти правила применяются или не применяются одним и тем же образом, соединяются или не соединяются в одном и том же порядке, располагаются или не располагаются в соответствии с одной и той же моделью в различных типах дискурса (всеобщая грамматика соединяет друг с другом, и именно в таком порядке, теорию атрибуции, теорию сочленения, теорию обозначения и теорию деривации; Естественная история и Анализ богатств переставляют местами две первые и две последние теории, и к тому же меняют порядок в каждой из полученных групп); это задача определить *археологическую модель* каждого формирования.

*c*) Показать, как совершенно различные понятия (такие как понятия цены и особого признака или понятия стоимости и родового признака) занимают аналогичное местоположение в разветвлении своей

системы позитивности, — следовательно, это задача показать, что они наделены *археологической изотопией* — хотя их область применения, их степень формализации и, в особенности, их исторический генезис делают их абсолютно чуждыми друг другу.

*d*) И наоборот, показать, как одно и то же понятие (иногда обозначенное одним и тем же словом) может скрывать два археологически различных элемента (понятия происхождения и эволюции играют различные роли, занимают различные местоположения и имеют различное формирование в системе позитивности Всеобщей грамматики и Естественной истории); это задача указать на *археологические* смещения.

*e*) Наконец, показать, как между двумя позитивностями могут установиться отношения субординации или комплементарности (так, в классическую эпоху по отношению к анализу богатства и анализу видов описание языка играет доминирующую роль в той мере, в какой оно является теорией институциональных знаков, которые раздваивают, отмечают и представляют само представление); это задача установить *археологические корреляции*.

Ничто во всех этих описаниях не опирается на определение влияний, обменов, переданной информации, коммуникаций. Речь идет не о том, чтобы их отрицать, или оспаривать тот факт, что когда-либо они могут стать объектом описания. Скорее, речь идет о том, чтобы отойти от них на определенное расстояние; сместить наступательный уровень анализа; выявить то, что сделало их возможными; выделить точки, где могла осуществиться проекция одного

понятия на другое; зафиксировать изоморфизм, благодаря которому стал возможен перенос методов или технологий; показать соседства, симметрии или аналогии, сделавшие возможными подобные обобщения; короче говоря, речь идет о том, чтобы описать поле векторов и дифференциальной рецепции (проницаемости и непроницаемости), которое было условием исторической возможности подобных обменов. Конфигурация интерпозитивности — это не группа смежных дисциплин; это не только наблюдаемый феномен сходства; это не только глобальное отношение нескольких дискурсов к тому или иному дискурсу; это закон их коммуникации. Нельзя говорить, что поскольку Руссо, и вместе с ним некоторые другие, размышляли то об упорядоченности видов, то о происхождении языков, между таксономией и грамматикой установились отношения и произошли обмены; что поскольку Тюрго вслед за Лоу и Петти попытался рассмотреть деньги как знак, экономика и теория языка сблизились, и их история все еще несет след этих попыток. Скорее, следует говорить — по крайней мере если мы собираемся создать археологическое описание, — что взаимные расположения этих трех позитивностей были таковы, что мы можем обнаружить подобные обмены на уровне произведений, авторов, индивидуальных существований, замыслов и начинаний.

3. Археология также выявляет связи между дискурсивными формациями и недискурсивными областями (социальными институтами, политическими событиями, экономическими процессами и практиками). Такие сближения не имеют своей целью выявление значительных культурных непрерывностей

или вычленение механизмов причинности. Имея дело с совокупностью фактов высказывания, археология не задается вопросом о том, что могло ее мотивировать (в этом заключается исследование контекстов формулировки); она также не стремится обнаружить, что именно в них выражается (это задача герменевтики); она пытается установить, каким образом правила формирования, от которых зависит эта совокупность — и которые характеризуют ее позитивность, — могут быть связаны с недискурсивными системами: она стремится определить специфические формы сочленения.

Возьмем в качестве примера клиническую медицину, появление которой в конце XVIII века совпало по времени с определенным числом политических событий, экономических феноменов и институциональных изменений. Можно с легкостью предположить, по крайней мере интуитивно, что между этими фактами и созданием больничной медицины существуют определенные связи. Но как их проанализировать? Символический анализ увидел бы в создании клинической медицины и в сопровождавших его исторических процессах два одновременных проявления, которые отражают и символизируют друг друга, которые служат зеркалом друг для друга и значения которых включены в бесконечную череду отсылок: два проявления, которые не выражают ничего иного, кроме общей для них формы. Так, медицинские идеи органного единства, функциональной взаимосвязанности, тканевой коммуникации — и отказ от классифицирующего принципа в оценке болезней в пользу анализа организменных взаимодействий — соответствовали бы (отражающей их, но также и видящей в них саму себя) политической прак-

тике, обнаруживающей за еще феодальными стратификациями отношения функционального типа, экономические образования и общество, зависимости и соответствия которого должны были обеспечить в форме коллективности аналог жизни. И наоборот, причинный анализ заключался бы в выяснении того, в какой степени политические изменения или экономические процессы смогли обусловить сознание ученых — широту и направление их интересов, их систему ценностей, их способ восприятия и характер их рациональности. Так, в ту самую эпоху, когда индустриальный капитализм начал подсчитывать свои потребности в рабочей силе, болезнь приобрела социальное измерение: поддержание здоровья, лечение, помощь неимущим больным, исследование патогенных механизмов и очагов инфекционных заболеваний стали коллективной обязанностью, которую государство, с одной стороны, должно взять на себя, а с другой стороны, за исполнением которой оно должно надзирать. Благодаря этому тело начинает рассматриваться как орудие труда, возникает потребность в рационализации медицины по образцу других наук, предпринимаются усилия, направленные на поддержание уровня здоровья населения, и начинает уделяется внимание терапии, сохранению ее результатов, учету долгосрочных феноменов.

Археология размещает свой анализ на другом уровне: феномены выражения, отражения и символизации являются для нее не более чем результатами глобального прочтения, направленного на поиски формальных аналогий или перенесения смысла. Что же касается причинно-следственных отношений, то они могут быть указаны только на уровне

контекста или ситуации и их воздействия на говорящего субъекта. Во всяком случае, и те и другие могут быть выделены только после того, как определены позитивности, в которых они появляются, и правила, в соответствии с которыми были сформированы эти позитивности. Поле отношений, характеризующее дискурсивную формацию, — это место, где могут быть восприняты, размещены и определены символизации и следствия. Если археология и сближает медицинский дискурс с некоторым числом практик, то лишь для того, чтобы обнаружить отношения гораздо менее «непосредственные», чем проявление, но гораздо более прямые, чем отношения причинности, опосредованной сознанием говорящих субъектов. Археология стремится показать не то, как политическая практика обусловила смысл и форму медицинского дискурса, а то, как и в каком качестве политическая практика является составной частью условий его возникновения, включения и функционирования. Эта связь может быть установлена на нескольких уровнях. Прежде всего, на уровне выреза и разграничения медицинского объекта: нет, конечно, не политическая практика в начале XIX века навязала медицине новые объекты, такие как тканевые повреждения или анатомо-физиологические корреляции; но она открыла новые поля выделения медицинских объектов (эти поля образованы массой населения, находящегося на административном учете и под административным наблюдением, рассматриваемого в соответствии с определенными нормами жизни и здоровья, проанализированного в соответствии с формами документальной и статистической регистрации; они образованы также огромными народными армиями

эпохи Революции и Наполеона с их особой формой медицинского контроля; кроме того, они образованы институтами больничной помощи, которые в конце XVIII и в начале XIX века определялись в зависимости от экономических потребностей эпохи и соотношения социальных классов). Мы видим, как это отношение политической практики к медицинскому дискурсу проявляется также и в новом статусе врача, который становится не только привилегированным, но чуть ли не единственным носителем этого дискурса, в форме институционального отношения, существующего между врачом и госпитализированным больным или его частной клиентурой, в способах обучения и распространения, предписанных или разрешенных для этой области знаний. Наконец, мы можем заметить это отношение в той функции, которой наделяется медицинский дискурс, или в той роли, которая на него возлагается, когда речь идет о суде над отдельными лицами, о принятии административных решений, об установлении общественных норм, о выражении конфликтов другого порядка для их «разрешения» или сокрытия, об использовании моделей естественного типа при исследовании общества и тех практик, которые имеют к нему отношение. Таким образом, речь идет не о том, чтобы показать, как политическая практика того или иного общества конституировала или видоизменила медицинские понятия и теоретическую структуру патологии, а о том, чтобы выяснить, как медицинский дискурс в качестве практики, обращающейся к определенному полю объектов и находящейся в руках определенного числа индивидов, обладающих соответствующим статусом, и, наконец, обязанной исполнять в обществе

определенные функции, сочленяется с внешними для него практиками, недискурсивными по самой своей природе.

И если в этом анализе археология отстраняется от темы проявления и отражения, если она отказывается видеть в дискурсе поверхность символической проекции расположенных в другом месте событий или процессов, то отнюдь не для того, чтобы обнаружить причинную цепь, которую можно было бы описать звено за звеном и которая позволила бы связать некое открытие с неким событием или некое понятие с некой социальной структурой. Но, с другой стороны, если археология и воздерживается от подобного причинного анализа, если она хочет избежать необходимого опосредования говорящим субъектом, то отнюдь не для того, чтобы обеспечить суверенную и одинокую независимость дискурса, а для того, чтобы обнаружить область существования и функционирования дискурсивной практики. Другими словами, археологическое описание дискурсов разворачивается в измерении всеобщей истории; оно стремится обнаружить всю ту область социальных институтов, экономических процессов и общественных отношений, с которыми может сочленяться дискурсивная формация; оно пытается показать, что автономия и специфичность дискурса не обеспечивают его тем не менее ни статусом чистой идеальности, ни полной исторической независимостью; оно намеревается выявить тот особый уровень, где история может создать точно определенные типы дискурсов, имеющих свой собственный тип историчности и связанных с целой совокупностью разнообразных историчностей.

Как теперь обстоит дело с археологическим описанием факта изменения? Легко сделать любые критические замечания — какие захотим или какие сможем — в отношении традиционной истории идей: ее достоинством, по меньшей мере, является то, что она принимает в качестве основной темы феномены временной последовательности и временного сцепления, анализирует их в соответствии со схемами эволюции и, таким образом, описывает историческое развертывание дискурсов. Напротив, археология, как представляется, рассматривает историю только для того, чтобы ее остановить. С одной стороны, описывая дискурсивные формации, она пренебрегает временны́ми рядами, которые могут в них проявляться; она ищет общие правила, неизменно и одинаковым образом действующие в любой момент времени: но не навязывает ли она в таком случае развитию, возможно медленному и незаметному, принудительную фигуру синхронии? И разве — в этом, столь изменчивом, «мире идей», где так быстро исчезают даже самые, казалось бы, устойчивые фигуры и где, наоборот, возникает столько незакономерностей, получающих позднее окончательный статус, где будущее всегда предвосхищает само себя, в то время как прошлое постоянно отступает, — не рассматривает археология неподвижную мысль в качестве определенной ценности? А с другой стороны, когда археология обращается к хронологии, то, кажется, делает она это только для того, чтобы на границах позитивностей зафиксировать две точки привязки: момент их возникновения и момент их исчезновения — как если бы длительность нуж-

на была только для того, чтобы установить этот рудиментарный календарь, но затем, по ходу самого анализа, должна была бы быть устранена; как если бы время существовало только в пустом мгновении разрыва, в том незаполненном и парадоксальным образом вневременнóм сдвиге, где одна формация неожиданно сменяется другой. Поскольку существуют синхрония позитивностей и мгновенность замещений, то время устраняется, а вместе с ним исчезает и возможность исторического описания. Дискурс оказывается вырванным из закона становления и утверждается в прерывистом безвремении. Он застывает в виде отдельных фрагментов: случайных проблесках вечности. Но любые старания будут напрасны: бесчисленные сменяющие друг друга вечности и вереница поочередно исчезающих застывших образов не создают ни движения, ни времени, ни истории.

Однако все это необходимо рассмотреть более детально.

### А

И прежде всего необходимо рассмотреть кажущуюся синхронию дискурсивных формаций. Достоверно здесь только одно: хотя правила и организуют каждое высказывание и, следовательно, применяются в каждом высказывании, тем не менее видоизменяются они не каждый раз; их действие можно обнаружить в высказываниях или группах высказываний, сильно рассеянных во времени. Например, мы видели, что различные объекты Естественной истории почти что на протяжении целого столетия — от Турнефора до Жюсье — подчинялись тож-

дественным правилам формирования; мы видели, что теория атрибуции одинакова и играет одну и ту же роль у Лансло, Кондильяка[16] и Дестюта де Траси[17]. Более того, мы видели, что в соответствии с археологической деривацией порядок высказываний не обязательно воспроизводит порядок последовательностей: мы можем найти у Бозе высказывания, археологически предшествующие тем высказываниям, которые мы встречаем в «Грамматике» Пор-Рояля. Следовательно, в такой анализ пока не включаются *временны́е следования*, или точнее, календарь формулировок. Но такой подход как раз и имеет своей целью выявить отношения, характеризующие темпоральность дискурсивных формаций и объединяющие ее в ряды, перекрещивание которых не препятствует анализу.

*а*) Археология определяет правила формирования каждой отдельной совокупности высказываний. Тем самым она показывает, как последовательность событий — в том самом порядке, в каком она предстает, — может стать объектом дискурса, быть зарегистрированной, описанной, объясненной, получить понятийную разработку и предоставить возможность теоретического выбора. Археология анализирует степень и форму проницаемости каждого отдельного дискурса: она дает принцип его сочленения с цепью последовательных событий; она определяет операторы, посредством которых события транскрибируются в высказывания. Так,

[16] *Кондильяк Этьен Бонно де* (1715–1780) — французский философ-просветитель, сенсуалист. — *Прим. ред.*

[17] *Дестют Траси Антуан Луи Клод де* (1754–1836) — французский философ и экономист. — *Прим. ред.*

например, археология не оспаривает существования связи между анализом богатств и значительными колебаниями денежной массы в XVII и начале XVIII века; она пытается показать, что́ именно во всех этих кризисах могло быть представлено как объект дискурса, как они могли быть концептуализированы в этом дискурсе и как интересы, сталкивавшиеся в развитии этих процессов, могли располагать в этом дискурсе свою стратегию. Или возьмем другой пример. Археология не утверждает, что эпидемия холеры 1832 года не была событием для медицины: она показывает, как клинический дискурс использовал такие правила, которые позволили реорганизовать целую область медицинских объектов, применить целую совокупность методов регистрации и нотации, отказаться от понятия горячки и окончательно отбросить старую теоретическую проблему лихорадок. Археология не отрицает возможности появления новых высказываний в корреляции с «внешними» событиями. Ее задача показать, при каком условии между ними может возникнуть такая корреляция и в чем именно она заключается (каковы ее границы, форма, правила, закон возможности). Археология не устраняет той подвижности дискурсов, которая заставляет их двигаться в ритме событий; она пытается высвободить тот уровень, на котором внезапно появляется такая подвижность — его можно было бы назвать уровнем событийного *сцепления*. (Сцепления, специфического для каждой дискурсивной формации и имеющего разные правила, разные операторы и разную чувствительность, например, в анализе богатств и в политической экономии, в устаревшей медицине «конституций» и в современной эпидемиологии.)

*b*) Кроме того, не все правила формирования, указанные археологией для определенной позитивности, имеют одинаковую степень всеобщности: некоторые из них являются более частными и выводятся из других правил. Такая субординация может быть только иерархической, но она может также заключать в себе и временной вектор. Так, во Всеобщей грамматике теория глагола-атрибуции и теория имени-сочленения связаны друг с другом, и хотя вторая и выводится из первой, тем не менее невозможно определить их порядок последовательности (отличный от дедуктивного или риторического порядка, выбранного для изложения). И наоборот, анализ дополнения или исследование корней могли появиться (или вновь появиться) только после того, как был разработан анализ атрибутивного предложения или концепция имени существительного как аналитического знака представления. Или возьмем другой пример. В классическую эпоху принцип непрерывности ряда живых существ следует из классификации видов по их структурным признакам, и в этом смысле они являются одновременными. И наоборот, как только была предпринята такая классификация, лакуны и нехватки могли быть интерпретированы в категориях истории природы, земли и видов. Другими словами, археологическое разветвление правил формирования — это не единообразно одновременная сеть: существуют связи, ответвления и деривации, которые нейтральны в отношении времени, но кроме них существуют и другие, которые предполагают строго определенное временное направление. Таким образом, археология не принимает в качестве модели ни чисто логическую схему одновременности, ни линейную последовательность событий: она пытается показать

пересечения как между необходимо последовательными отношениями, так и между отношениями, таковыми не являющимися. Следовательно, не нужно считать, что система позитивности — это синхроническая фигура, которую мы можем выделить только в том случае, если заключим в скобки совокупность диахронических процессов. Археология вовсе не безразлична к последовательности, она выделяет *временны́е векторы деривации*.

Археология не стремится рассматривать как одновременное то, что представляется как последовательное; она не пытается остановить время и заменить его событийный поток корреляциями, очерчивающими неподвижную фигуру. Она отказывается от той идеи, что последовательность является абсолютом — первым и неразрывным сцеплением, которому дискурс, вероятно, подчинен в силу закона своей конечности. Она также отказывается и от той идеи, что в дискурсе имеют место только одна форма и только один уровень последовательности. Она заменяет эти идеи анализами, которые одновременно выявляют разнообразные формы последовательности, накладывающиеся друг на друга в дискурсе (под формами нужно понимать не просто ритмы или причины, а сами ряды), и тот способ, каким сочленяются между собой последовательности, специфицированные таким образом. Мы не следуем за первоначальным календарем, в соответствии с которым можно было бы установить хронологию последовательных или одновременных событий, хронологию кратких или длительных процессов, хронологию мгновенно возникающих преходящих феноменов и постоянств, — вместо этого мы пыта-

емся показать, как возможно существование последовательностей и на каких различных уровнях мы обнаруживаем последовательности, отличающиеся друг от друга. Таким образом, для создания археологической истории дискурса необходимо избавиться от тех двух моделей, которые, несомненно уже давно, навязали нам свой образ: от линейной модели устной речи (и отчасти письма), в которой все события следуют друг за другом, за исключением случаев совпадения и наложения, и от модели потока сознания, настоящее которого всегда ускользает от самого себя, переходя в предворение будущего и удержание прошлого. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но дискурсивные формации имеют иную модель историчности, чем ход сознания или линейность речи. Дискурс, по крайней мере в таком виде, в каком он анализируется археологией, то есть на уровне его позитивности, — это не сознание, облекающее свой замысел во внешнюю форму речи; это не язык, и тем более не говорящий на нем субъект. Это практика, которая имеет свои собственные формы сцепления и последовательности.

## B

Археология говорит о купюрах, сдвигах, зияниях, о совершенно новых формах позитивности и о внезапных перераспределениях гораздо более охотно, чем история идей. В традиционном смысле заниматься историей политической экономии — это значило искать все то, что могло предшествовать Рикардо, все, что могло предвосхитить его анализы, их методы и основные понятия, все то, что могло

сделать его открытия более вероятными. Заниматься историей сравнительной грамматики — это значило обнаружить задолго до Боппа и Раска[18] следы предварительных исследований, касающиеся преемственной связи и родства между языками; это значило определить роль Анкетиль-Дюперрона в установлении области индоевропейских языков; это значило обратиться к проделанной впервые в 1763 году работе по сравнению латинского и санскритского спряжений; это значило вернуться в случае необходимости к Харрису или Рамусу[19]. Археология действует наоборот: она стремится, скорее, распутать все эти нити, сплетенные терпением историков; она множит различия, смешивает линии коммуникации и старается сделать переходы более трудными; она не пытается показать, что анализ Рикардо был подготовлен физиократическим анализом производства; и в своем анализе она считает неуместным говорить о том, что приход Боппа был подготовлен Керду.

С чем связано такое настойчивое подчеркивание прерывностей? По правде говоря, оно кажет-

[18] *Бопп Франц* (1791–1867) — немецкий языковед, один из основателей сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и сравнительного языкознания. *Раск Рамус Кристиан* (1787–1832) — датский языковед, один из основоположников сравнительно-исторического языкознания. — *Прим. ред.*

[19] *Харрис Джеймс* (1709–1780) — английский мыслитель и писатель. Выдвинул проект универсального языка («Гермес, или Философское исследование универсальной грамматики»). *Рамус Пьер де* (1515–1572) — французский ученый-гуманист, оставивший многочисленные труды по философии, грамматике, риторике и богословию. — *Прим. ред.*

ся парадоксальным только с привычной точки зрения историков. Однако сама эта точка зрения — с ее заботой о непрерывностях, переходах, предвосхищениях, предварительных набросках — очень часто приводит к парадоксу. Несмотря на весьма незначительное хронологическое расхождение между Добантоном и Кювье, Анкетилем и Боппом, Грэслином[20], Тюрго или Форбонне[21] и Рикардо, различия между ними неисчислимы и очень разнообразны по своей природе: одни локализованы, другие — общего характера; одни касаются методов, другие — понятий; речь идет то об области объектов, то обо всем лингвистическом аппарате. Еще более ярким является пример медицины: за четверть века, с 1790 по 1815 год, медицинский дискурс видоизменился существеннее, чем начиная с XVII века, чем, возможно, с эпохи Средневековья и, может быть, даже со времени греческой медицины. Это видоизменение привело к возникновению новых объектов (органические повреждения, глубокие очаги болезни, тканевые изменения, межорганные пути и формы диффузий, анатомо-клинические симптомы и корреляции); методов наблюдения, обнаружения очага патологии и регистрации; это видоизменение привело к возникновению другой перцептивной сетки и почти совершенно нового словаря описания; к возникновению ранее неизвестных нозографических понятий и распределений (категории столетней, иногда тысячелетней давности, такие как категория

[20] *Грэслин Жан-Жозеф Луи* (1728–1790) — французский экономист. — *Прим. ред.*

[21] *Форбонне Верон де* (1722–1800) — французский экономист, принадлежавший к кольберианскому направлению. — *Прим. ред.*

лихорадки или конституции, исчезают, и болезни, возможно, такие же старые как мир — например туберкулез — оказываются наконец выделенными и названными). Таким образом, предоставим тем, кто, вероятно, по нерадению никогда не открывал «Философскую нозографию»[22] и «Трактат о мембранах», настаивать, что археология произвольно выдумывает различия. Археология просто пытается отнестись к ним серьезно: распутать их клубок, определить, как они распределяются, как они предполагают друг друга, управляют друг другом или друг другу подчиняются, и к каким различным категориям они принадлежат; короче говоря, речь идет о том, чтобы описать эти различия, одновременно устанавливая систему различий между ними самими. Если и существует *парадокс* археологии, то он заключается, возможно, не в том, что она умножает число различий, а в том, что она отказывается их устранять, тем самым опрокидывая привычные ценности. Для истории идей различие в том виде, в каком она себе его представляет, — это ошибка или западня; вместо того чтобы позволить себе остановиться на нем, проницательный анализ должен стремиться его распутать: обнаружить под ним менее значительное различие, а под этим различием — различие еще более ограниченное и так до бесконечности, вплоть до той идеальной границы, которая была бы не-различием совершенной непрерывности. Археология, наоборот, принимает за объект своего описания то, что обычно считают препят-

[22] Речь идет о книге Филиппа Пинеля «Философская нозография, или Метод анализа, применяемый в медицине» (1797). — *Прим. ред.*

ствием: она стремится не преодолеть различия, а проанализировать их, сказать, в чем именно они заключаются, и осуществить их *различение*. Как же она приступает к этой задаче?

1. Археология не считает, что дискурс состоит только из ряда однородных событий (индивидуальных формулировок), но вместо этого распознает в самой толще дискурса несколько плоскостей возможных событий: плоскость самих высказываний в их единичном возникновении; плоскость появления объектов, типов акта высказывания, понятий, стратегических выборов (или преобразований, затрагивающих уже существующие объекты, типы актов высказывания, понятия и стратегические выборы); плоскость деривации новых правил формирования на основе уже действующих правил (однако всегда в среде одной и той же позитивности); и, наконец, на четвертом уровне она различает плоскость, где происходит замена одной дискурсивной формации другой (или плоскость простого появления и исчезновения позитивности). Именно эти, наиболее редкие события и являются для археологии самыми важными: во всяком случае, только она может их выявить. Но они не являются исключительным объектом ее описания; было бы ошибочно полагать, что они властно управляют всеми другими событиями и что в различных плоскостях, которые мы смогли выделить, они приводят к аналогичным и одновременным разрывам. Не все события, происходящие в толще дискурса, располагаются на одной вертикали. Конечно, появление дискурсивной формации часто находится в корреляции с широким обновлением объектов, форм актов высказывания, понятий и стратегий (хотя это совсем не

универсальный принцип: Всеобщая грамматика утвердилась в XVII веке без явных видоизменений в грамматической традиции), однако невозможно зафиксировать появление определенного понятия или внезапно возникший частный объект. Следовательно, не нужно описывать подобное событие в соответствии с категориями, которые подходят для описания возникновения формулировки или появления нового слова. Перед таким событием бесполезно ставить вопросы типа: «Кто его автор? Кто это сказал? При каких обстоятельствах и в каком контексте? Какие намерения его воодушевляли и какую цель он преследовал?» Появление новой позитивности не отмечено новым предложением — неожиданным, удивляющим, логически непредвиденным, отклоняющимся от стилистической нормы, — которое включилось бы в текст и возвестило бы либо начало новой главы, либо вступление нового собеседника. Это событие совершенно иного типа.

2. Для того чтобы проанализировать такие события, недостаточно констатировать те или иные видоизменения и вслед за тем соотнести их либо с теологической и эстетической моделью творения (с его трансцендентностью, со всей его оригинальностью и всеми его изобретениями), либо с психологической моделью сознания (с его предварительными неясностями, антиципациями, благоприятными обстоятельствами, способностью к реструктуризации), либо же с биологической моделью эволюции. Нужно точно определить, в чем заключаются эти видоизменения: то есть заменить недифференцированную ссылку на *изменения* — одновременно вместилище всех событий и абстрактный принцип

их последовательности — анализом *преобразований*. Исчезновение одной позитивности и возникновение другой предусматривают несколько типов преобразований. Переходя от более частных преобразований к более общим, мы можем и должны описать, как преобразовались различные элементы той или иной системы формирования (например, какими в конце XVIII века были колебания процента безработицы и требований найма, какими были политические решения, касающиеся корпораций и университета, какими были новые потребности и новые возможности социальной помощи, — то есть все те элементы, которые входят в систему формирования клинической медицины); как преобразовались характерные отношения той или иной системы формирования (например, как в середине XVII века было видоизменено отношение между перцептивным полем, лингвистическим кодом, использованием инструментов и информацией, введенной дискурсом о живых существах, что тем самым позволило определить объекты, относящиеся к Естественной истории); как были преобразованы связи между различными правилами формирования (например, как биология видоизменяет порядок и зависимость, установленные Естественной историей между теорией характеризации и анализом временны́х дериваций); и, наконец, как преобразуются связи между различными позитивностями (как отношения между филологией, биологией и экономикой преобразуют отношения между Грамматикой, Естественной историей и Анализом богатств; как распадается интердискурсивная конфигурация, которую очерчивали те особые связи, которые существуют между этими тремя дисциплинами; как оказываются видоизмененными их со-

ответствующие связи с математикой и философией; как очерчивается место для других дискурсивных формаций и, в частности, для той интерпозитивности, которая позднее получит название гуманитарных наук). Вместо того чтобы взывать к живой силе изменения (как если бы оно являлось своим собственным принципом) и вместо того чтобы искать его причины (как если бы оно всегда было только лишь следствием), археология пытается установить систему преобразований, из которых и состоит «изменение»; она пытается разработать это пустое и абстрактное понятие, чтобы придать ему поддающийся анализу статус преобразования. Понятно, что некоторые умы, приверженные всем тем старым метафорам, посредством которых в течение полутора веков нам представляли историю (движение, поток, эволюция), видят в этом только отрицание истории и неуклюжее утверждение прерывности. Но на самом деле они никак не могут признать, что мы очищаем изменения от всех этих случайных моделей, что мы одновременно лишаем изменение главенства в качестве универсального закона и его статуса общего следствия, что мы заменяем его анализом различных преобразований.

3. Сказать, что одна дискурсивная формация замещается другой, — это не значит сказать, что целый мир абсолютно новых объектов, актов высказывания, понятий и теоретических выборов, находящийся во всеоружии и хорошо организованный, внезапно возникает в неком тексте, который, вероятно, раз и навсегда определяет его место. Это значит, что произошло общее преобразование связей, преобразование, которое тем не менее необязательно затрагивает все элементы; это значит, что

высказывания подчиняются новым правилам формирования, но это не значит, что исчезают все объекты или понятия, все акты высказывания или все теоретические выборы. Наоборот, исходя из этих новых правил, можно описать и проанализировать феномены непрерывности, возвращения и повторения: действительно, не нужно забывать, что правило формирования — это не детерминация объекта, не характеризация типа акта высказывания, не форма и не содержание понятия, а принцип их многообразия и рассеивания. Один из этих элементов или даже многие из них могут оставаться тождественными (сохранять тот же вырез, те же признаки, те же структуры), но принадлежать к разным системам рассеивания и зависеть от различных законов формирования. Таким образом, можно обнаружить следующие феномены: элементы, представленные во многих различных позитивностях, форма и содержание которых остаются одинаковыми, а способы формирования являются разнородными (таково денежное обращение как объект, относящийся сначала к Анализу богатств, а позднее — Политической экономии; таково понятие признака, относящееся сначала к Естественной истории, а затем к биологии); элементы, которые образуются, видоизменяются, организуются в одной дискурсивной формации, и которые, обретя, наконец, стабильность, фигурируют уже в другой формации (таково понятие рефлекса, формирование которого в классической науке от Уиллиса до Прохаски[23] и его введение в современную физиологию

[23] *Уиллис (Виллизий) Томас* (1621–1675) — английский анатом и врач. *Прохаска Йиржи* (1749–1820) — чешский анатом и физиолог. — *Прим. ред.*

показал Ж. Кангилем); элементы, которые появляются поздно как заключительные деривации в дискурсивной формации и которые занимают первое место в последующей формации (таково понятие организма, появившееся в Естественной истории в конце XVIII века как результат всего таксономического замысла характеризации и ставшее в эпоху Кювье основным понятием биологии; таково понятие очага повреждения, введенное Морганьи и ставшее одним из важнейших понятий клинической медицины); элементы, которые появляются вновь после периода неупотребления, забвения или даже обесценивания (таким был возврат к фиксизму линнеевского типа у такого биолога, как Кювье; таким было в XVIII веке возрождение старой идеи праязыка). Задача археологии состоит не в том, чтобы отрицать эти феномены или стремиться уменьшить их значимость, а, наоборот, в том, чтобы понять их размеры и попытаться их объяснить: как могут существовать такие постоянства или повторения, такие длинные цепочки или такие кривые, которые переступают через время? Археология не рассматривает непрерывное в качестве первой и последней данности, которая должна объяснить все остальное; наоборот, она полагает, что то же самое повторяющееся и непрерывное ставит не меньшие проблемы, чем разрывы. В рамках своего анализа археология не стремится обнаружить тождественное и непрерывное; и то и другое фигурируют в среде дискурсивной практики; они сами подчиняются правилам формирования позитивностей; и вместо того чтобы проявлять ту основополагающую и успокаивающую инерцию, с которой так любят соотносить феномен изменения, они сами сформированы активно и закономерно. А тем, кто поддался

бы искушению упрекнуть археологию в том, что она преимущественно сосредотачивается на анализе прерывного, всем этим агорафобам истории и времени, всем тем, кто смешивает разрыв и иррациональность, я отвечу: «Судя по тому, как вы используете непрерывное, вы сами его и обесцениваете. Вы рассматриваете его как среду-опору, с которой должно быть соотнесено все остальное; вы превращаете его в важнейший закон, центр притяжения всякой дискурсивной практики; вы хотели бы, чтобы любое видоизменение анализировалось в поле этой инерции так же, как любое движение анализируется в поле гравитации. Но только нейтрализуя его, только оттесняя его к первоначальной пассивности (на внешней границе времени), вы можете придать ему этот статус. Археология намеревается радикальным образом изменить это положение дел или, скорее (поскольку речь не идет о том, чтобы предоставить прерывному роль, до сих пор отводившуюся непрерывности), заставить действовать непрерывное против прерывного: показать, каким образом непрерывное формируется в соответствии с теми же условиями и на основе тех же правил, что и рассеивание; показать, что непрерывное — в той же степени, что и различия, изобретения, новшества или отклонения — входит в поле дискурсивной практики».

4. Появление и исчезновение позитивностей, как и вызываемые ими замещения, не образуют однородного процесса, который везде протекал бы одинаково. Не нужно считать, что разрыв — это нечто вроде большого общего расхождения, которому одновременно подчинялись бы все дискурсивные формации: разрыв — это не мертвое и неразличимое время, ко-

21 Зак. 3653

торое вклинивалось бы, пусть лишь на мгновение, между двумя очевидными фазами; это не ляпсус, лишенный временно́й длительности, который разделил бы две эпохи и по обе стороны сдвига развернул два разнородных времени; это не что иное, как прерывность между четко определенными позитивностями, отмеченная некоторым числом различных преобразований. Таким образом, среди всех этих несходных видоизменений анализ археологических купюр имеет целью установить аналогии и различия, иерархии, отношения комплементарности, совпадения и смещения: короче говоря, его цель — описать рассеивание самих прерывностей.

Не стоит, вероятно, придерживаться идеи, что одна и та же купюра сразу, в один конкретный момент, разделяет все дискурсивные формации, прерывает их одним движением и восстанавливает их в соответствии с теми же самыми правилами. Совпадение во времени нескольких преобразований не означает точного хронологического совпадения: каждое преобразование может иметь свой особый показатель временной «вязкости». Естественная история, всеобщая грамматика и анализ богатств образовались аналогичным образом, и все три на протяжении XVII века; но система формирования анализа богатств была связана со значительным числом недискурсивных условий и практик (товарооборот, денежные операции и их следствия, система защиты торговли и мануфактур, колебания количества драгоценного металла в монете) — отсюда и замедленность процесса, тянувшегося более века (от Граммона[24] до Кантильона), тогда как преобразования,

[24] *Граммон Сципион де* (?–1638) — французский финансист, секретарь кабинета Людовика XIII. — *Прим. ред.*

утвердившие Грамматику и Естественную историю, заняли не более двадцати пяти лет. И наоборот, совпадающие во времени, аналогичные и связанные друг с другом преобразования не отсылают к одной-единственной модели, которая многократно воспроизводилась бы на поверхности дискурсов и предписывала бы им всем строго тождественную форму разрыва: при описании археологической купюры, приведшей к филологии, биологии и экономике, речь шла о том, чтобы показать, как были связаны эти три позитивности (через исчезновение анализа знака и теории представления), какие симметричные следствия она могла вызвать (идею общности, существующей между живыми существами, и их органической адаптации; идею о морфологической связности и упорядоченной эволюции в языках; идею о форме производства, имеющей свои внутренние законы и границы эволюции); однако в не меньшей степени речь шла и о том, чтобы показать, каковы были специфические отличия этих преобразований (в частности, как историчность проникает в эти три позитивности и почему, следовательно, их связь с историей не может быть одинаковой, хотя все они находятся с ней в точно определенном отношении).

Наконец, между различными археологическими разрывами существуют важные смещения — иногда даже между очень близкими дискурсивными формациями, объединенными многочисленными связями. Так обстоит дело с дисциплинами, изучающими язык, и историческим анализом: значительное преобразование, вызвавшее к жизни в самом начале XIX века историческую и сравнительную грамматику, на целых полвека опережает мутацию исторического дискурса, так что система интерпо-

зитивности, в которую была включена филология, оказывается существенно перестроенной во второй половине XIX века, хотя позитивность филологии при этом не пересматривается. Отсюда происходят феномены «смещения кладки», еще один общеизвестный пример которого можно здесь привести: такие понятия, как прибавочная стоимость или имеющее определенную тенденцию снижение процента прибыли, примеры которых мы находим у Маркса, могут быть описаны, исходя из системы позитивности, действующей уже у Рикардо; однако эти понятия (сами по себе новые, в отличие от своих правил формирования) появляются — у самого Маркса — как зависящие в то же самое время от совершенно иной дискурсивной практики, где они сформированы в соответствии со специфическими законами, где они занимают другую позицию и фигурируют в других цепочках: это уже новая позитивность, а не преобразование анализов Рикардо; это не новая политическая экономия; это дискурс, установление которого произошло в связи с деривацией отдельных экономических понятий и который, в свою очередь, определяет условия производства дискурса экономистов и, значит, может расцениваться как теория и критика политической экономии.

Археология разрушает синхронию купюр, так же как она, вероятно, разобщила абстрактное единство изменения и события. *Эпоха* не является ни ее базовым единством, ни ее горизонтом, ни ее объектом: если археология и говорит о ней, то всегда в связи с определенными дискурсивными практиками и как о результате своих анализов. Классический век, часто упоминавшийся в археологических анализах, — это не временная фигура, предписывающая свое единство и свою пустую форму всем дискур-

сам; это название, которое можно дать сплетению непрерывностей и прерывностей, внутренних видоизменений в позитивностях, дискурсивных формаций, которые появляются и исчезают. Точно так же *разрыв* для археологии не является тем, на что она опирается в своих анализах, не является границей, о которой она предупреждает заранее, будучи не в состоянии ни определить, ни уточнить ее; разрыв — это название, данное преобразованиям, которые затрагивают общий режим одной или нескольких дискурсивных формаций. Так, Французская революция — ибо вокруг нее до сих пор были сосредоточены все археологические анализы — не играет для дискурсов роли внешнего события, последствия которого, если рассуждать как полагается, нам нужно было бы обнаружить во всех дискурсах; Французская революция функционирует как сложная, сочлененная, поддающаяся описанию совокупность преобразований, которые оставили нетронутыми одни позитивности, для некоторых других установили правила, которых мы придерживаемся и по сей день, а также установили позитивности, которые только что распались или распадаются на наших глазах.

## VI. *Наука и знание*

Во все предшествующие формы анализа незаметно вторглось одно разграничение, а мы не только не установили его принцип, но даже и не уточнили его очертания. Все упомянутые нами примеры без всяких исключений принадлежали к очень ограниченной области. Мы не то что не произвели опись,

но даже не прозондировали необъятную область дискурса: почему мы систематически пренебрегали «литературными», «философскими» или «политическими» текстами? Разве в этих областях нет дискурсивных формаций и систем позитивности? А если придерживаться только области науки, то почему ничего не было сказано о математике, физике или химии? Зачем нужно было обращаться к такому количеству еще неоформленных и, возможно, навсегда обреченных пребывать ниже порога научности сомнительных дисциплин? Одним словом, каково отношение археологии к анализу наук?

*а) Позитивности, дисциплины, науки*

Первый вопрос: Разве не описывает археология, пусть в несколько причудливых терминах «дискурсивной формации» и «позитивности», всего лишь псевдонауки (как психопатология), науки, находящиеся в доисторическом состоянии (как естественная история) или науки, насквозь пронизанные идеологией (как политическая экономия)? Не анализирует ли археология главным образом то, что всегда будет оставаться квазинаучным? Если называть «дисциплинами» совокупности высказываний, которые заимствуют свою организацию у научных моделей, стремятся к связности и доказательности, принимаются, институционализируются, передаются, а иногда и преподаются как науки, то нельзя ли сказать, что археология описывает дисциплины, по существу науками не являющиеся, тогда как эпистемология, как представляется, описывает науки, которые смогли образоваться из существующих дисциплин (или вопреки им)?

На эти вопросы можно ответить отрицательно. Археология не описывает дисциплины. В лучшем случае дисциплины в своем очевидном проявлении могут послужить начальной стадией для описания позитивностей, но они не фиксируют их границ: они не предписывают им окончательных вырезов; как таковые они не обнаруживаются в рамках анализа; и невозможно установить взаимооднозначное отношение между сложившимися дисциплинами и дискурсивными.

И вот пример такого искажения. Точкой приложения «Истории безумия» было появление психиатрической дисциплины в начале XIX века. Эта дисциплина имела иное содержание, иную внутреннюю организацию, иное место в медицине, иную практическую функцию и иное применение, чем традиционный раздел «болезней головы» или «нервных болезней», встречающийся в медицинских трактатах XVIII века. Однако при рассмотрении этой новой дисциплины обнаружились две вещи: ее возникновение в ту эпоху и значительное изменение в организации понятий, типов анализа и доказательств стали возможными благодаря целому набору связей между госпитализацией, принудительным помещением в больницу, условиями и процедурами исключения из общества, юридическими постановлениями, нормами промышленного труда и буржуазной морали, короче говоря, благодаря целой совокупности, характеризующей формирование высказываний для этой дискурсивной практики. Но эта практика проявляется не только в дисциплине, обладающей научным статусом и притязаниями; ее присутствие обнаруживается также и в юридических текстах, в способах выражения, присущих литературе, в фи-

лософских размышлениях, в решениях политического порядка, в повседневных разговорах и мнениях. Дискурсивная формация, существование которой позволяет выделить психиатрическая дисциплина, отнюдь не совпадает по охвату с этой практикой: она выходит далеко за ее пределы и окружает ее со всех сторон. И более того, возвращаясь в прошлое в поисках того, что в XVII и XVIII веках могло предшествовать установлению психиатрии, мы заметили, что не существовало никакой предварительно существующей дисциплины: то, что врачи классической эпохи называли маниями, горячками, меланхолиями, нервными болезнями, никоим образом не составляло автономной дисциплины, но было всего лишь подразделом в анализе лихорадок, изменений состава жизненных соков организма или возбуждений мозга. Однако, несмотря на отсутствие какой бы то ни было установившейся дисциплины, уже действовала дискурсивная практика, имевшая свою закономерность и свою устойчивость. Конечно, эта дискурсивная практика была включена в медицину, но в точно такой же степени она входила и в административные постановления, в литературные или философские тексты, в религиозную нравственность, в теории или проекты принудительного труда или помощи бедным. Таким образом, в классическую эпоху существуют полностью поддающиеся описанию дискурсивная формация и позитивность, которым не соответствует никакая определенная дисциплина, хотя бы отчасти сопоставимая с психиатрией.

Но если позитивности действительно не являются простыми двойниками установившихся дисциплин, то можно спросить, не являются ли они эс-

кизом будущих наук? И не называем ли мы дискурсивной формацией ретроспективную проекцию наук на их собственное прошлое, тень, отбрасываемую ими на то, что им предшествовало и что, возможно, таким образом заранее наметило их контур? Например, не было ли то, что мы описали как анализ богатств или всеобщую грамматику (возможно, придавая им совершенно искусственную автономию), всего лишь политической экономией в зачаточном состоянии, или предварительной фазой установления наконец строгой науки о языке? Не пытается ли археология в некоем ретроградном порыве, правомерность которого, вероятно, трудно определить, перегруппировать в одну независимую дискурсивную практику все разнородные и рассеянные элементы, согласованность которых окажется необходимой для установления какой-либо науки?

И здесь также ответ должен быть отрицательным. То, что было проанализировано под названием Естественной истории, не стягивает в единую фигуру все то, что в научной практике XVII и XVIII веков могло бы расцениваться как эскиз науки о жизни и присутствовать в ее законной генеалогии. Действительно, выявленная таким образом позитивность хорошо объясняет определенное число высказываний, которые касаются сходств и различий между живыми существами, их видимого строения, их специфических и родовых признаков, их возможной классификации, разделяющих их прерывностей и связывающих их переходов. Но она оставляет в стороне многие другие анализы, тем не менее относящиеся к той же эпохе и также очерчивающие фигуры-прародительницы биологической науки: анализ

рефлекторных движений (который будет иметь огромное значение для создания анатомо-физиологии нервной системы), эмбриональную теорию (предвосхитившую, по-видимому, проблемы эволюции и генетики), объяснение роста и развития животных и растений (которое станет одним из важнейших вопросов физиологии организма в целом). И более того: Естественная история — таксономический дискурс, связанный с теорией знаков и проектом науки о порядке — не только не предвосхищала будущую биологию, но в силу своей основательности и автономности исключала создание единой науки о жизни. Точно так же дискурсивная формация, описываемая как Всеобщая грамматика, не исчерпывает всего того, что в классическую эпоху могло быть сказано о языке, и наследование или неприятие, а также развитие или критику чего мы обнаруживаем позднее в филологии: эта формация оставляет в стороне методы библейской экзегезы и философию языка, созданную Вико или Гердером[25]. Таким образом, дискурсивные формации не являются будущими науками на тот момент, когда они незаметно образуются, еще не осознавая себя: дискурсивные формации на самом деле не находятся в положении телеологической субординации по отношению к ортогенезу наук.

[25] *Вико Джамбаттиста* (см. примеч. на с. 293). В своем главном философском произведении «Основания Новой Науки об общей природе наций» выдвинул собственную гипотезу происхождения языка. *Гердер Иоганн Годфрид* (1744–1803) — выдающийся немецкий философ. Разрабатывал теорию происхождения языков, а также одним из первых описал связь языка, мышления и «духа народа». — *Прим. ред.*

Следует ли говорить в таком случае, что не может быть науки там, где есть позитивность, и что позитивности (там, где их можно обнаружить) всегда исключают науки? Нужно ли предположить, что, вместо того чтобы находиться в хронологической связи с науками, позитивности занимают положение альтернативы? Что в некотором роде они являются позитивной фигурой определенного эпистемологического дефекта. Но и в этом случае, также можно было бы привести противоположный пример. Конечно, клиническая медицина — это не наука. Не только потому, что она не отвечает формальным критериям и не достигает того уровня строгости, какого можно ожидать от физики, химии или даже физиологии; но также и потому, что она включает в себя слабо организованное нагромождение эмпирических наблюдений, опытов и необработанных результатов, рецептов, терапевтических предписаний, институциональных постановлений. И тем не менее, эта не-наука не исключает науки: на протяжении XIX века она установила четко определенные отношения между окончательно сложившимися науками, такими как физиология, химия или микробиология; более того, она привела к возникновению таких типов дискурса, как дискурс патологической анатомии, назвать который лженаукой было бы, вероятно, с нашей стороны достаточно самонадеянно.

Таким образом, нельзя отождествлять дискурсивные формации ни с науками, ни с дисциплинами, обладающими минимальной степенью научности, ни с теми фигурами, которые предвосхищают будущие науки, ни, наконец, с теми формами, которые с самого начала исключают всякую научность.

Как же тогда обстоит дело с отношением между позитивностями и науками?

### b) Знание

Позитивности не характеризуют форм познания — будь то *априорные* и необходимые условия или формы рациональности, которые могли поочередно использоваться в истории. Но они также не определяют состояния познаний на какой-то определенный момент времени: они не подводят итога тому, что, начиная с этого самого момента, могло быть доказано и обрести статус окончательно обретенного; также они не подытоживают того, что, наоборот, было принято без проверки и достаточного доказательства, того, что было признано общим мнением или создано силой воображения. Проанализировать позитивности — это значит показать, в соответствии с какими правилами дискурсивная практика может формировать группы объектов, совокупности актов высказывания, наборы понятий, ряды теоретических выборов. Сформированные таким образом элементы не конституируют собой науки со своей структурой точно определенной идеальности: несомненно, их система отношений гораздо менее строга. Но это также и не познания, нагроможденные друг на друга, полученные из разнородных опытов, традиций или открытий и связанные только тождественностью удерживающего их субъекта. Они являются тем, на основе чего выстраиваются связные (или несвязные) суждения, развиваются более или менее точные описания, осуществляются верификации, разворачиваются теории. Они формируют предварительность того, что проявится и

будет функционировать в качестве познания или иллюзии, признанной истины или разоблаченного заблуждения, окончательно обретенного или преодоленного препятствия. И совершенно очевидно, что эта предварительность не может быть проанализирована как данность, пережитый опыт, все еще принадлежащий воображаемому или тому типу восприятия, к которому человечество в ходе своей истории было бы вынуждено возвращаться в форме рациональности или через которое, во имя самого себя, должен был бы пройти каждый индивид в том случае, если он хочет обнаружить идеальные значения, входящие в это восприятие или скрытые в нем. Речь идет не о пред-познании или об архаической стадии движения, восходящего от непосредственного познания к аподиктическому; речь идет об элементах, которые должны были быть сформированы дискурсивной практикой для того, чтобы в некоторых случаях сложился научный дискурс, определяемый не только своей формой и строгостью, но также объектами, с которыми он имеет дело, типами актов высказывания, которые он вводит, понятиями, которыми он оперирует, и стратегиями, которые он использует. Таким образом, мы соотносим науку не с тем, что должно было быть пережито или должно быть пережито для того, чтобы образовалось свойственное ей стремление к идеальности, а с тем, что должно было быть сказано — или должно быть сказано — для того, чтобы мог образоваться дискурс, который в случае необходимости отвечал бы экспериментальным или формальным критериям научности.

Такую совокупность элементов, закономерным образом сформированных дискурсивной практикой

и необходимых для образования науки, хотя и необязательно призванных привести к ее образованию, можно назвать *знанием.* Знание — это то, о чем можно говорить в пространстве дискурсивной практики, которая оказывается тем самым специфицированной: это область, конституированная различными элементами, которые обретут или не обретут научный статус (знание психиатрии в XIX веке — это не сумма того, что сочли истинным; это совокупность форм поведения, своеобразий и девиаций, о которых можно говорить в психиатрическом дискурсе). Знание — это также то пространство, где субъект может занять позицию, чтобы говорить об объектах, с которыми он имеет дело в своем дискурсе (в этом смысле знание клинической медицины — это совокупность функций наблюдения, опроса, расшифровки, регистрации и принятия решений, которые может осуществлять субъект медицинского дискурса). Знание — это также поле координации и субординации высказываний, в котором понятия появляются, определяются, применяются и преобразуются (на этом уровне знание Естественной истории в XVIII веке — это не сумма того, что было сказано; это совокупность таких способов, методов и местоположений, в соответствии с которыми любое новое высказывание можно интегрировать в уже-сказанное). Наконец, знание определяется возможностями использования и присвоения, предоставленными дискурсом (так, знание политической экономии в классическую эпоху — это не тезис, выведенный из уже принятых различных тезисов, а совокупность ее точек сочленения с другими дискурсами или другими практиками, не являющимися дискурсивными). Существуют знания, независимые от наук (и не явля-

ющиеся ни их историческим эскизом, ни уже пережитой стороной их развития), но не существует знания без строго определенной дискурсивной практики; и любая дискурсивная практика может определяться формируемым ею знанием.

Вместо оси сознание–познание–наука (которая не может быть избавлена от ссылки на субъективность) археология рассматривает ось дискурсивная практика–знание–наука. И в то время, как история идей находит точку равновесия своего анализа в среде познания (оказываясь, таким образом, вынужденной, пусть даже и против своей воли, вновь столкнуться с вопросом трансцендентальности), археология находит точку равновесия своего анализа в знании — то есть в той области, где субъект неизбежно занимает точно установленное и зависимое положение и где он никогда не может выступать обладателем (либо как трансцендентальная деятельность, либо как эмпирическое сознание).

В таких условиях становится понятным, что нужно тщательно различать *научные области* и *археологические территории*: их вырез и принципы их организации абсолютно различны. К области научности принадлежат только те суждения, которые подчиняются определенным законам построения, в то время как утверждения, которые, вероятно, имеют тот же смысл и, возможно, говорят то же самое, и являются столь же истинными, как и они, но которые зависят от другой систематичности, по-видимому, исключаются из этой области: то, что в таком тексте, как «Сон д'Аламбера»[26], говорится

[26] Имеется в виду текст Дени Дидро «Сон д»Аламбера» (1769). — *Прим. ред.*

по поводу становления видов, вполне может выражать некоторые понятия или некоторые научные гипотезы своего времени; возможно даже, что там предвосхищается будущая истина; однако то, что в нем говорится, не зависит от области научности Естественной истории, а принадлежит к ее археологической территории при условии, что мы можем там обнаружить действие тех же правил формирования, что у Линнея, Бюффона, Добантона или Жюсье. Археологические территории могут пересекать «литературные» или «философские» тексты в той же мере, как и научные тексты. Знание облекается не только в доказательства, оно может также находиться в вымыслах, в размышлениях, в рассказах, в институциональных постановлениях, в политических решениях. Археологическая территория Естественной истории включает в себя «Философский палингенез» или «Теллиамед», хотя они по большей части не отвечают тем научным нормам, которые были приняты в это время, и, конечно, еще меньше тем нормам, которые будут требоваться позднее. Археологическая территория Всеобщей грамматики включает в себя грезы Фабра д'Оливе[27] (которые так никогда и не получили научного статуса и вписываются, скорее, в категорию мистической мысли) в не меньшей степени, чем анализ атрибутивных суждений (который был тогда воспринят как нечто очевидное и в котором порождающая грамматика может сегодня распознать свою будущую предугаданную истинность).

[27] *Фабр д'Оливе Антуан* (1767–1825) — французский писатель. — *Прим. ред.*

Дискурсивная практика не совпадает с теми видами научной разработки, которые она может вызвать к жизни; и формируемое ею знание — это не грубый эскиз, не повседневный побочный продукт сложившейся науки. Науки появляются в среде дискурсивной формации и на основе знания (на данный момент различие, существующее между дискурсами, обладающими презумпцией или статусом научности, и дискурсами, реально отвечающими ее формальным критериям, значения не имеет). Отсюда возникают два ряда сложных проблем: какое место занимает этот участок научности на той археологической территории, где он вырисовывается, и какую роль он играет? В соответствии с каким порядком и какими процессами происходит возникновение участка научности в данной конкретной дискурсивной формации? Мы, вероятно, не сможем дать ответ на эти сложные вопросы здесь и сейчас: речь идет только о том, чтобы указать направление, в котором их можно было бы проанализировать.

*c) Знание и идеология*

Раз сложившись, наука больше уже не принимает во внимание и не учитывает в своих характерных соединениях всего того, что формировало ту дискурсивную практику, в которой она появилась; но также она и не распыляет окружающее ее знание, рассматривая его как предысторию заблуждений, предрассудков или воображения. Патологическая анатомия не свела и не привела позитивность клинической медицины к нормам научности. Знание — это не эпистемологическое построение, которое, вероятно, исчезает в реализующей его науке. Наука

22 Зак. 3653

(или то, что выдает себя за таковую) локализуется в поле знания и играет в нем определенную роль. Роль, которая варьируется в зависимости от различных дискурсивных формаций и видоизменяется вместе с их мутациями. То, что в классическую эпоху представлялось как медицинское познание душевных болезней, занимало в знании о безумии очень ограниченное место: оно образовывало в нем только одну из плоскостей выхода на поверхность среди множества других (таких как юриспруденция, религиозная нравственность, полицейская регламентация и т. д.). И наоборот, психопатологический анализ XIX века, который также представлялся как научное познание психических болезней, сыграл совершенно иную, и гораздо более важную, роль в знании о безумии (роль модели и инстанции решения). Точно так же научный дискурс (или презумпция научности) выполняет разные функции в экономическом знании XVII и XIX веков. В любой дискурсивной формации мы обнаруживаем специфическое отношение между наукой и знанием; и археологический анализ как раз и должен показать, как наука вписывается в среду знания и функционирует в ней, а не определять существующее между ними отношение исключения или вычитания (отыскивая в знании то, что еще избегает науки и сопротивляется ей, а в науке — то, что еще подрывается соседством и влиянием знания).

Очевидно, именно здесь, в этом пространстве взаимодействия, устанавливаются и специфицируются отношения между идеологией и науками. Подчинение научного дискурса идеологии и идеологическое функционирование наук не артикулируются ни на уровне их идеальной структуры (даже если они

и могут там выражаться более или менее явным образом), ни на уровне их технического использования в том или ином обществе (хотя оно и может оказывать на них воздействие), ни на уровне сознания субъектов, создающих это общество; эти отношения артикулируются там, где наука выделяется на фоне знания. Если вопрос идеологии и может быть поставлен перед наукой, то только в той мере, в какой наука, не отождествляясь со знанием, но и не устраняя и не исключая его, локализуется в нем, структурирует некоторые из его объектов, систематизирует некоторые из его актов высказывания, формализует те или иные его понятия и стратегии; в той мере, в какой эта разработка, с одной стороны, членит знание, видоизменяет и перераспределяет его, а с другой стороны — подтверждает его и сохраняет его ценность; в той мере, в какой наука обретает свое место в дискурсивной закономерности и, следовательно, в той мере, в какой она проявляется и функционирует во всем поле дискурсивных или недискурсивных практик (или не проявляется в нем). Короче говоря, вопрос идеологии, поставленный перед наукой, — это не вопрос ситуаций или практик, которые она более или менее сознательно отражает; это также и не вопрос ее возможного использования или всех возможных злоупотреблений ею; это вопрос ее существования в качестве дискурсивной практики и ее функционирования среди других практик.

В общих чертах вполне можно сказать, пренебрегая любыми формами опосредования или любыми особенностями, что политическая экономия играет определенную роль в капиталистическом обществе, что она служит интересам буржуазного класса, что

она была создана им для его целей, наконец, что она несет клеймо своего происхождения даже в своих понятиях и в своем логическом построении. Однако любое более точное описание отношений между эпистемологической структурой политической экономии и ее идеологической функцией должно будет пройти через анализ породившей ее дискурсивной формации и всей совокупности объектов, понятий и теоретических выборов, которые ей предстояло выработать и систематизировать. И тогда необходимо будет показать, как дискурсивная практика, породившая именно такую позитивность, функционировала среди других практик, которые могли быть как дискурсивного, так и политического или экономического порядка.

И это позволяет выдвинуть некоторое число утверждений:

1. Идеология не исключает научности. Немногие дискурсы отводили идеологии столько же места, как клинический дискурс или дискурс политической экономии: но это не является достаточным основанием для того, чтобы совокупность их высказываний называть ошибкой, противоречием или отсутствием объективности.

2. Противоречия, лакуны, теоретические недочеты вполне могут указывать на идеологическое функционирование науки (или дискурса, имеющего научные притязания); они могут позволить определить, в какой точке всего этого построения обнаруживает себя подобное функционирование. Но анализ этого функционирования должен осуществляться на уровне позитивности и отношений между правилами формирования и структурами научности.

3. Уточняясь, исправляя свои ошибки, суживая свои формализации, дискурс совсем необязательно вносит такую же ясность и в свое отношение к идеологии. Роль идеологии не уменьшается вместе с возрастанием строгости и постепенным исчезновением ошибочных суждений.

4. Взяться за рассмотрение идеологического функционирования науки для того, чтобы обнаружить и видоизменить его, — это не значит выявить философские допущения, которые могут там находиться; это не значит вернуться к тем основаниям, которые сделали ее возможной и придают ей законность: это значит вновь подвергнуть ее сомнению в качестве дискурсивной формации; это значит заняться не формальными противоречиями между ее суждениями, а системой формирования ее объектов, типов ее актов высказывания, ее понятий и теоретических выборов. Это значит вновь рассмотреть ее как практику в ряду других практик.

*d*) *Различные пороги и их хронология*

В отношении той или иной дискурсивной формации можно описать несколько различных типов возникновения. Тот момент, начиная с которого дискурсивная практика индивидуализируется и обретает свою автономность, следовательно, тот момент, когда приводится в действие одна и та же система формирования высказываний, или тот момент, когда эта система преобразуется, можно назвать *порогом позитивности*. Когда в процессе развития дискурсивной формации вычленяется некая совокупность высказываний, которая стремится (даже если и не достигает этого) придать большее

значение нормам верификации и связности и которая выполняет по отношению к знанию доминирующую функцию (функцию модели, критики или верификации), то мы скажем, что дискурсивная формация преодолевает *порог эпистемологизации*. Когда очерченная таким образом эпистемологическая фигура подчиняется некоторому числу формальных критериев, когда ее высказывания соответствуют не только археологическим правилам формирования, но, кроме того, определенным законам построения суждений, то мы скажем, что она преодолела *порог научности*. Наконец, когда такой научный дискурс, в свою очередь, сможет определить необходимые для него аксиомы, используемые им элементы, правомерные для него пропозициональные структуры и допускаемые им преобразования, когда, таким образом, исходя из себя себя, он сможет развернуть конституируемое им формальное построение, мы скажем, что он преодолел *порог формализации*.

Распределение этих различных порогов во времени, их последовательность, их смещение, их возможное совпадение, тот способ, каким они могут управлять друг другом или предусматривать друг друга, и те условия, в которых они поочередно устанавливаются, все это составляет для археологии одну из важнейших областей исследования. Действительно, их хронология не подчиняется никакой закономерности и не является однородной. Все дискурсивные формации преодолевают эти пороги различным образом и в разное время, тем самым членя историю человеческого познания различных эпох: в то время, когда многие позитивности уже преодолели порог формализации, многие другие еще не

достигли порога научности или даже порога эпистемологизации. Более того, не каждая дискурсивная формация последовательно проходит через эти различные пороги как через естественные стадии биологического созревания, где единственной переменной, по-видимому, является латентный период или длительность интервалов. В сущности, речь идет о событиях, рассеивание которых по своей природе не является эволюционным: каждую дискурсивную формацию характеризует ее собственный порядок событий. Вот несколько примеров таких различий.

В некоторых случаях порог позитивности преодолевается гораздо раньше, чем порог эпистемологизации: так, в начале XIX века, благодаря работам Пинеля, Хейнрота и Эскироля, психопатология в качестве дискурса, обладающего научными притязаниями, эпистемологизировала дискурсивную практику, которая уже долгое время ей предшествовала и давно обрела свою автономию и свою систему закономерности. Но может случиться и так, что эти два порога смешиваются во времени и что установление позитивности является одновременно и возникновением эпистемологической фигуры. Иногда пороги научности связаны с переходом от одной позитивности к другой; иногда они не совпадают с этим переходом. Так, переход от Естественной истории (со свойственной ей научностью) к биологии (как к науке не о классификации живых существ, а о специфических корреляциях, существующих между различными организмами) произошел в эпоху Кювье вместе с преобразованием одной позитивности в другую. И наоборот, экспериментальная медицина Клода Бернара, а затем микро-

биология Пастера[28] видоизменили тип научности, необходимый для патологической анатомии и физиологии, но при этом дискурсивная формация клинической медицины в том виде, в каком она существовала в то время, еще не была оттуда исключена. Точно так же новая научность, введенная эволюционизмом в биологические дисциплины, не видоизменила той биологической позитивности, которая была определена в эпоху Кювье. Если говорить об экономике, то такие рассогласования особенно многочисленны. В XVII веке можно распознать один порог позитивности: он почти совпадает с практикой и теорией меркантилизма; но его эпистемологизация произойдет немного позднее, в самом конце столетия или в начале следующего, вместе с трудами Локка и Кантильона. Однако с наступлением XIX века и появлением теории Рикардо одновременно отмечается и новый тип позитивности, и новая форма эпистемологизации, которые, в свою очередь, будут видоизменены Курно[29] и Джевонсом в то самое время, когда Маркс, исходя из политической экономии, откроет совершенно новую дискурсивную практику.

Если признавать за наукой только линейное накопление истин или ортогенез разума, если не признавать в ней дискурсивной практики, имеющей свои уровни, пороги и различные разрывы, то возможно описать только одно историческое разделение, модель которого воспроизводится постоянно и при-

[28] *Пастер Луи* (1822–1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии. — *Прим. ред.*

[29] *Курно Антуан Огюстен* (1801–1877) — французский математик, экономист и философ. — *Прим. ред.*

меняется к любой форме знания: это разделение между тем, что еще не является научным, и тем, что уже окончательно установлено как научное. Вся толща рассогласований, все рассеивание разрывов, все смещение их результатов и механизм их взаимозависимостей оказываются сведенными к монотонному акту обоснования, требующему бесконечного повторения.

Вероятно, существует только одна наука, в которой невозможно ни выделить эти различные пороги, ни описать подобную совокупность смещений между ними: это математика, единственная дискурсивная практика, сразу переступившая порог позитивности, порог эпистемологизации, пороги научности и формализации. Сама возможность ее существования предполагала, чтобы с самого начала было дано то, что в любом другом случае остается рассеянным на всем протяжении истории: ее первоначальная позитивность должна была образовать уже формализованную дискурсивную практику (даже если впоследствии должны были произойти другие формализации). И отсюда становится понятно, почему ее установление было одновременно и так загадочно (так мало доступно анализу, так концентрированно воплощено в форме абсолютного начала), и так ценно (поскольку в одно и то же время представляет собой и свой собственный исток, и свое обоснование); отсюда становится понятно, почему в самом первом действии первого математика было усмотрено создание той идеальности, которая разворачивалась на протяжении всей истории и ставилась под сомнение только для того, чтобы повторить ее еще раз и подвергнуть очищению; отсюда становится понятно, почему зарождение математики рассматри-

вается не как историческое событие, а, скорее, как принцип историчности; и, наконец, отсюда становится понятно, почему в отношении всех других наук мы соотносим описание их исторического генезиса, их неудач, поисков, которые они вели вслепую, их запоздалого прорыва, с метаисторической моделью геометрии, внезапно, раз и навсегда, возникающей из самых обыденных практик межевания. Но если мы примем установление математического дискурса за прототип зарождения и становления всех других наук, то мы рискуем сделать однородными все единичные формы историчности, свести к инстанции одной-единственной купюры все те различные пороги, которые может преодолеть дискурсивная практика, и, таким образом, мы рискуем в каждый момент времени бесконечно воспроизводить проблематику истока: тогда историко-трансцендентальный анализ оказался бы восстановленным в своих правах. Безусловно, математика была моделью для большинства научных дискурсов в их стремлении к формальной строгости и доказательности; но для историка, задающегося вопросом о действительном становлении наук, она является плохим примером — или, во всяком случае, тем примером, который, как кажется, нельзя, распространять на другие науки.

### *е) Различные типы истории наук*

Многочисленные пороги, которые мы смогли выделить, допускают различные формы исторического анализа. Прежде всего, это анализ на уровне формализации: это та история, которую в процессе своей собственной разработки математика непрерывно

рассказывает о себе самой. То, чем она была в тот или иной момент (ее область, методы, определяемые ею объекты, используемый ею язык), — все это никогда не отбрасывается во внешнее поле не-научности, но постоянно оказывается заново определенным (пусть лишь в качестве участка, выведенного из употребления или временно неплодоносящего) в том формальном построении, которое она образует. Это прошлое раскрывается как частный случай, наивная модель, частичный и недостаточно обобщенный эскиз более абстрактной, более значимой или принадлежащей к более высокому уровню теории; свой реальный исторический путь развития математика переписывает в терминах смежностей, зависимостей, субординаций, развивающихся формализаций, расширяющихся обобщений. Для этой истории математики *вообще* (той истории, которую она образует, и той истории, которую она рассказывает о самой себе) алгебра Диофанта[30] не является незавершенным опытом: это частный случай той алгебры, которая нам известна начиная с Абеля и Галуа[31]; греческий метод исчерпывания не был методом, ведущим в тупик, методом, от которого следовало отказаться: это была наивная модель интегрального исчисления. Таким образом, оказывается, что каждый исторический поворот имеет свой формальный уровень и свою формальную локализацию. В этом заключается *рекуррентный анализ*, который может производиться только внутри сложившейся

[30] *Диофант Александрийский* (ок. III в.) — др.-греч. математик, ввел буквенную символику в алгебру. — *Прим. ред.*

[31] *Абель Нильс Хенрик* (1802–1829) — норвежский математик. *Галуа Эварист* (1811–1832) — французский математик. — *Прим. ред.*

науки и только после того, как она преодолела порог формализации[32].

Другой тип исторического анализа располагается на пороге научности и ставит вопрос о том, каким образом, исходя из различных эпистемологических фигур, этот порог мог быть преодолен. Например, речь идет о том, чтобы выяснить, как то или иное понятие — все еще обремененное метафорами или химерическим содержанием — очистилось и смогло обрести статус и функцию научного понятия. Или о том, чтобы выяснить, как та или иная сфера опыта, уже выделенная, уже частично артикулированная, но еще пронизанная непосредственным практическим использованием или фактическими оценками, сумела превратиться в научную область. В более общем смысле речь идет о том, чтобы выяснить, как та или иная наука воздвиглась над тем донаучным уровнем — и вопреки ему, — который заранее ей сопротивлялся и вместе с тем ее подготавливал; выяснить, как она смогла преодолеть препятствия и ограничения, которые все еще ей противостояли. Г. Башляр и Ж. Кангилем предложили модели такой истории. В отличие от рекуррентного анализа такой истории нет необходимости располагаться непосредственно внутри самой науки, переносить все эпизоды этой науки в то сооружение, которое она возводит, и рассказывать о ее формализации в терминах ее сегодняшнего формального словаря, — а впрочем, как она могла бы это сделать, если она показывает то, от чего избавилась наука, и все то, что она должна была отбросить, чтобы достигнуть порога научно-

[32] Ср.: *Serres M.* Les Anamnèses mathématiques // Hermès ou la communication. P., 1968. P. 78.

сти? Тем самым, такое описание принимает за норму сложившуюся науку; история, которую оно рассказывает, неизбежно членится оппозицией истины и заблуждения, рационального и иррационального, препятствия и плодотворности, чистоты и не-чистоты, научного и не-научного. Речь здесь идет об *эпистемологической истории* наук.

Третий тип исторического анализа берет за точку отсчета порог эпистемологизации, то есть точку расслоения между дискурсивными формациями, определенными своей позитивностью, и эпистемологическими фигурами, из которых не все обязательно являются науками (и которые в конечном счете никогда, может быть, ими и не станут). На этом уровне научность не играет роли нормы: в этой *археологической истории* мы пытаемся обнажить дискурсивные практики в той мере, в какой они порождают знание и в какой это знание приобретает статус и роль науки. Заниматься на этом уровне историей наук — не значит описывать дискурсивные формации, оставляя без внимания эпистемологические структуры; это значит показать, как утверждение той или иной науки и, может быть, ее переход к формализации, могли стать возможными и иметь последствия в дискурсивной формации и в видоизменениях ее позитивности. Следовательно, в подобном анализе речь идет о том, чтобы обрисовать историю наук, исходя из описания дискурсивных практик; о том, чтобы определить, каким образом, в соответствии с какой закономерностью и благодаря каким видоизменениям она могла дать место процессам эпистемологизации, достичь норм научности и, возможно, приблизиться к порогу формализации. Отыскивая в толще истории наук уровень дискур-

сивной практики, мы не стремимся вернуть ее на глубинный и первоначальный уровень, мы не стремимся вернуть ее на почву пережитого опыта (к тому неупорядоченному и раздробленному пространству, которое предстает перед нами до всякой геометрии, к тому небосклону, который мерцает сквозь координатную сетку любой астрономии); среди позитивностей, знания, эпистемологических фигур и наук мы стремимся выявить весь набор различий, связей, расхождений, смещений, независимостей, автономий и тот способ, каким сочленяются друг с другом их собственные историчности.

Анализ дискурсивных формаций, позитивностей и знания в их отношениях с эпистемологическими фигурами и науками — это то, что мы назвали анализом *эпистемы*, чтобы отличить его от других возможных форм истории наук. Возможно, кто-то заподозрит понятие эпистемы в том, что она является чем-то вроде ви́дения мира, исторического пласта, общего для всех познаний, что она предписывает всем одни и те же нормы и одни и те же постулаты; что она является чем-то вроде всеобщей стадии разума, некой структуры мышления, которой не могут избежать люди определенной эпохи, что она является чем-то вроде великого свода законов, начертанного раз и навсегда чей-то неведомой рукой. Действительно, под *эпистемой* мы понимаем совокупность связей, способных в определенную эпоху объединить те дискурсивные практики, которые порождают эпистемологические фигуры, науки, а иногда и формализованные системы; способ, в соответствии с которым в каждой из таких дискурсивных формаций заложены и осуществляются переходы к эпистемологизации, научности и формализации; расположе-

ние этих порогов, которые могут совпадать, взаимоподчиняться или смещаться во времени относительно друг друга; латеральные отношения, которые могут существовать между эпистемологическими фигурами или науками в той мере, в какой они зависят от близких, но различных дискурсивных практик. Эпистема — это не форма познания или тип рациональности, который, пронизывая самые разные науки, выявил бы суверенное единство субъекта, духа или эпохи; это совокупность связей, которые в каждую конкретную эпоху можно найти между науками, анализируя их на уровне дискурсивных закономерностей.

Таким образом, описание эпистемы имеет несколько основных характеристик: оно открывает неисчерпаемое поле и никогда не может быть завершено; его целью является не восстановление системы постулатов, которой подчиняются все формы познания отдельной эпохи, а обозрение безграничного поля отношений. Более того, эпистема — это не застывшая фигура, которая, появившись однажды, была бы обречена на столь же внезапное исчезновение: это бесконечно подвижная совокупность устанавливающихся и распадающихся членений, смещений и совпадений. К тому же эпистема как совокупность отношений между науками, эпистемологическими фигурами, позитивностями и дискурсивными практиками, позволяет увидеть все те принуждения и ограничения, которые предписываются дискурсу в определенный момент. Но это ограничение не является тем негативным ограничением, которое противопоставляет познанию неведение, умозаключению — воображение, обоснованному опыту — приверженность видимостям, а

мечтания — выводам и дедукциям. Эпистема — это не то, что можно знать в какую-то определенную эпоху, даже если учитывать ее техническое несовершенство, ментальные привычки или границы, установленные традицией; эпистема — это то, что делает возможным существование эпистемологических фигур и наук в позитивности дискурсивных практик. Наконец, мы видим, что анализ эпистемы — это не способ возвращения к критическому вопросу («Если нам дано что-то наподобие науки, то каким оно обладает правом или насколько оно легитимно?»). Мы имеем дело с такой постановкой вопроса, где данность той или иной науки принимается только для того, чтобы выяснить, что значит для этой науки быть данной. Загадка научного дискурса заключается не в его праве быть наукой, а в самом факте его существования. И основной пункт расхождения этого анализа со всеми философиями познания состоит в том, что он соотносит факт существования научного дискурса не с инстанцией первоначального дара, который обосновал бы этот факт и это право в трансцендентальном субъекте, а с процессами исторической практики.

*f) Другие археологии*

Пока еще остается открытым один вопрос: можно ли вообразить такой археологический анализ, который вполне выявил бы закономерность какого-либо знания, но не стремился бы анализировать его в направлении эпистемологических фигур и наук? Только ли ориентация на эпистему может привести к археологии? И должна ли археология представлять собой один определенный способ постановки во-

проса перед историей наук и никакой другой? Другими словами, если до сих пор археология ограничивалась только областью научных дискурсов, то подчинялась ли она той необходимости, которую, кажется, так и не смогла преодолеть, — или же на отдельно взятом примере она наметила те формы анализа, которые могут быть распространены на совершенно иные области?

На данный момент я слишком мало продвинулся вперед, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос. Но я легко могу представить — при условии, что понадобятся еще многие пробы и попытки, — другие археологии, которые могли бы развиваться в различных направлениях. Возьмем, например, археологическое описание «сексуальности». Теперь я ясно вижу, как можно было бы направить его на эпистему: мы показали бы, каким образом в XIX веке сформировались такие эпистемологические фигуры, как биология или психология сексуальности, и за счет какого разрыва, с появлением теории Фрейда, утвердился дискурс научного типа. Но я усматриваю также и другую возможность анализа: вместо того чтобы изучать сексуальное поведение людей в ту или иную эпоху (выискивая закон этого поведения в социальной структуре, в коллективном бессознательном или определенной нравственной установке), вместо того чтобы описывать то, что люди могли думать о сексуальности (какую религиозную интерпретацию они ей давали, какую оценку ей выносили или какому осуждению она подвергалась, какие противоборствующие мнения или воззрения на нравственность она могла вызывать), — вместо всего этого мы могли бы задаться вопросом, не облекается ли любая дискурсивная практика в эти

формы поведения и в эти представления; не является ли сексуальность, вне всякой ориентации на научный дискурс, просто совокупностью предметов, о которых можно говорить (или о которых говорить запрещено), полем возможных актов высказывания (независимо от того, идет ли речь о лирических выражениях чувств или о юридических предписаниях), совокупностью понятий (которые, очевидно, могут принимать элементарную форму общих понятий или тем), вариантами выбора (который может проявляться в связности форм поведения или в системах предписания). Такая археология, если бы ей удалось выполнить свою задачу, показала бы, как запреты, исключения, границы, оценки, свободы и нарушения норм сексуальности, все ее вербальные или невербальные проявления связаны с конкретной дискурсивной практикой. Она выявила бы — конечно, не как последнюю истину сексуальности, а как одно из измерений, в соответствии с которым мы можем ее описать, — определенную «манеру говорить»; и мы показали бы, как эта манера говорить облечена не в научные дискурсы, а в систему запретов и ценностей. Таким образом, анализ осуществлялся бы не в направлении эпистемы, а в направлении того, что можно было бы назвать этикой.

Но вот пример другой возможной ориентации. Для того чтобы проанализировать картину, можно восстановить латентный дискурс художника; можно попытаться обнаружить неотчетливый говор его намерений, которые в конечном счете воплотились не в слова, а в линии, поверхности и краски; можно попробовать высвободить ту имплицитную философию, которая, по-видимому, сформировала его

ви́дение мира. Можно также поставить вопрос перед наукой или, по крайней мере, перед различными мнениями той эпохи и постараться понять, что художник мог у них позаимствовать. Археологический анализ имел бы иную цель: он постарался бы выяснить, в какой мере пространство, расстояние, глубина, цвет, освещение, пропорции, объемы и контуры были названы, высказаны и концептуализированы в дискурсивной практике рассматриваемой эпохи; и не было ли знание, порождаемое этой дискурсивной практикой, заключено в теории и, возможно, в спекулятивные размышления, в формы обучения и рекомендации, а также в приемы, технологии и чуть ли не в сам жест художника. И речь шла бы не о том, чтобы показать, что живопись — это некий способ обозначить или «сказать», вероятно, настолько своеобразный, что обходится без слов. Нужно было бы показать, что по крайней мере в одном из своих измерений она представляет собой дискурсивную практику, воплощающуюся в технологии и полученные результаты. Описанная таким образом живопись не является ни чистым ви́дением, которое следовало бы затем транскрибировать в материальность пространства; ни, тем более, голым жестом, немые и бесконечно пустые значения которого должны были быть высвобождены последующими интерпретациями. Независимо от научных познаний и философских тем она насквозь пронизана позитивностью знания.

Мне кажется, что можно было бы также провести подобный анализ и в отношении политического знания. Мы попытались бы узнать, не пронизано ли политическое поведение общества, группы или класса определенной и поддающейся описанию дис-

курсивной практикой. Эта позитивность, очевидно, не совпала бы ни с политическими теориями эпохи, ни с экономическими детерминациями: она определила бы, что же именно из области политики может стать объектом акта высказывания, те формы, которые может принимать этот акт высказывания, те понятия, которые там используются, и те стратегические выборы, которые там осуществляются. И вместо того чтобы анализировать это знание — что всегда возможно — в направлении той эпистемы, которую оно может породить, мы проанализировали бы его в направлении форм поведения, столкновений, конфликтов, решений и тактик. Так мы выявили бы политическое знание, которое не относится к порядку вторичной теоретизации практики, но и не является применением теории. Поскольку оно закономерно сформировано дискурсивной практикой, разворачивающейся среди других практик и сочленяющейся с ними, оно вовсе не является неким выражением (expression), которое более или менее адекватно «отражало бы» определенное число «объективных данных» или реальных практик. С самого начала это знание вписывается в поле различных практик, в котором оно обретает одновременно и свои специфические особенности, и свои функции, и сеть своих зависимостей. Если бы такое описание было возможно, то для того чтобы уловить место сочленения политической практики и теории, не нужно было проходить через инстанцию индивидуального или коллективного сознания; не нужно было искать, в какой степени это сознание, с одной стороны, может выражать немые условия, а с другой — показывать себя восприимчивым к теоретическим истинам; мы не должны были бы ставить

психологическую проблему осознания; мы должны были проанализировать формирование и преобразования некоего знания. Например, вопрос был бы не в том, чтобы определить, с какого момента возникает революционное сознание или какие соответствующие роли могли сыграть в генезисе этого сознания экономические условия и теоретические разъяснения; речь шла бы вовсе не о том, чтобы набросать общую и наиболее показательную биографию революционера или обнаружить, в чем же укореняется его замысел, а о том, чтобы показать, как сформировались дискурсивная практика и революционное знание, которые воплощаются в формы поведения и стратегии, порождают теорию общества и осуществляют взаимодействие и взаимное преобразование и тех и других.

Теперь мы можем ответить на недавно поставленный вопрос: не занимается ли археология только науками? Не является ли она всегда всего лишь анализом научных дискурсов? И оба раза наш ответ будет отрицательным. Археология стремится описать не науку в ее специфической структуре, а совершенно иную область, область *знания*. Более того, если она и занимается знанием в его связи с эпистемологическими фигурами и науками, то точно так же она может ставить перед знанием вопрос в совершенно ином направлении и описывать его в другом пучке отношений. До сих пор разрабатывалась только ориентация на эпистему. И причина этого состоит в том, что дискурсивные формации не прекращают эпистемологизироваться в силу того градиента, который, очевидно, характеризует нашу культуру. Только через постановку вопросов перед науками, их историей, их странным единством, их рассеива-

нием и разрывами могла возникнуть область позитивностей; только в зазоре между научными дискурсами можно было уловить череду дискурсивных формаций. И в этих условиях неудивительно, что наиболее плодотворным, наиболее открытым для археологического описания участком оказался тот «классический век», который, от Возрождения до XIX века, осуществил эпистемологизацию столь большого количества позитивностей; неудивительно также и то, что дискурсивные формации и специфические закономерности знания вырисовались там, где труднее всего было достичь уровней научности и формализации. Но «классический век» не является для археологии ни обязательной областью, ни предпочтительным направлением атаки.

# V

— На протяжении всей этой книги вы, с грехом пополам, пытались отмежеваться от «структурализма» или от того, что обычно понимают под этим словом. Вы подчеркивали, что не использовали ни его методы, ни его понятия; что не ссылались на процедуры лингвистического описания; что нисколько не заботились о формализации. Но в чем же тогда отличия от него? Разве лишь в том, что вам не удалось применить то позитивное, что можно найти в структурных анализах, ту строгость и доказательную действенность, которую они могут нести в себе? Разве лишь в том, что область, которую вы попытались рассмотреть, не допускает подобного начинания, и ее богатство неизменно ускользало из тех схем, в которые вы хотели его заключить? И вы беззастенчиво перерядили свое бессилие в метод; а теперь выдаете за эксплицитно желаемое различие ту непреодолимую дистанцию, которая вас отделяет и всегда будет отделять от истинного структурного анализа.

Ибо вам не удалось ввести нас в заблуждение. Действительно, пустоту, оставленную не использованными вами методами, вы заполнили целым рядом общих понятий, которые, как представляется, не имеют никакого отношения к понятиям, ныне принятым теми, кто описывает языки или мифы, литературные произведения или сказки; вы говорили о

формированиях, о позитивностях, о знании, о дискурсивных практиках — целом арсенале терминологических доспехов, единственные в своем роде и чудесные возможности которого вы горделиво подчеркивали на каждом шагу. Но разве нужно было бы изобретать столько странностей, если бы вы не задумали подчеркнуть значимость некоторых фундаментальных тем структурализма в области, которая не может быть к ним сведена, — и, в частности, значимость тех тем, которые составляют его самые спорные постулаты, его самую сомнительную философию? Складывается такое впечатление, как будто из всех современных методов анализа вы сохранили не эмпирическую и вдумчивую работу, а две или три темы, являющиеся скорее его экстраполяциями, чем необходимыми принципами.

Именно так вы хотели редуцировать собственные измерения дискурса, пренебречь его специфической незакономерностью, скрыть присутствующие в нем инициативу и свободу, компенсировать ту неустойчивость, которую он вызывает в языке: короче говоря, вы хотели вновь закрыть эту брешь. По примеру некой лингвистической формы вы стремились обойтись без говорящего субъекта; вы решили, что можно очистить дискурс от любого рода антропологических ссылок и рассмотреть его так, как если бы он никогда и никем не был сформулирован, как если бы он не зародился в особых обстоятельствах, как если бы он не был пронизан представлениями, как если бы он ни к кому не обращался. Наконец, вы применили к нему принцип одновременности: вы отказались считать, что дискурс, возможно, в отличие от языка по сути своей историчен, что он образован не из доступных элементов, а из реальных и последова-

тельных событий, что его нельзя анализировать вне того времени, в котором он разворачивался.

— Вы правы: я отверг трансцендентность дискурса; в своем описании я отказался относить его к субъективности; я не поставил на первое место его диахронический характер, как если бы именно диахрония была общей формой дискурса. Однако цель была не в том, чтобы распространить за область языка проверенные в ней понятия и методы. Если я и говорю о дискурсе, то вовсе не для того, чтобы показать, что языковые механизмы или языковые процессы сохраняются в нем интегрально; я делаю это, скорее, для того, чтобы в толще вербальных реализаций выявить разнообразие возможных уровней анализа; чтобы показать, что наряду с методами лингвистического структурирования (или методами интерпретации) можно ввести специфическое описание высказываний, их формирования и закономерностей, свойственных дискурсу. Если я и перестал ссылаться на говорящего субъекта, то не для того, чтобы открыть законы построения или формы, которые, вероятно, одинаково применяются всеми говорящими субъектами, не для того, чтобы заставить заговорить великий универсальный дискурс, который был бы общим для всех людей одной эпохи. Наоборот, речь шла о том, чтобы показать, в чем заключались различия, почему было возможно, чтобы внутри одной и той же дискурсивной практики люди говорили о различных объектах, имели противоположные мнения, совершали противоречивые выборы; речь шла также и о том, чтобы показать, чем отличались друг от друга дискурсивные практики; короче говоря, я не хотел исключать проблему субъекта, я хотел определить функции и позиции, которые могут быть свойствен-

ны субъекту в разнообразии дискурсов. Наконец — и вы могли это констатировать, — я не отрицал истории, я временно отказался от общей и пустой категории изменения, чтобы показать преобразования различных уровней; я отвергаю единообразную модель темпорализации, чтобы иметь возможность описать для каждой дискурсивной практики ее правила накопления, исключения, реактивации, свойственные ей формы деривации и ее специфические способы сцепления в различных последовательностях.

Таким образом, я не хотел вывести структуралистский подход за пределы его законных границ. И вы легко согласитесь, что в «Словах и вещах» я ни разу не употребил термин «структура». Но, если позволите, оставим полемику по поводу «структурализма»; она и так с трудом выживает в краях, ныне уже покинутых теми, кто занимается серьезной работой; эта борьба, которая ранее могла стать плодотворной, сегодня ведется уже только паяцами и шутами.

— Напрасно вы пытаетесь уклониться от этой полемики, вам не избавиться от проблемы. Ибо она заключается не в структурализме. Мы охотно признаем его обоснованность и эффективность: когда речь идет об анализе какого-либо языка, мифологий, народных сказаний, стихов, сновидений, литературных произведений и, может быть, даже фильмов, структурное описание выявляет те отношения, которые не могли бы быть выделены иным образом; оно позволяет определить рекуррентные элементы с их видами оппозиции и критериями индивидуализации; оно позволяет также установить законы построения, эквивалентности и правила преобразования. И, несмотря на некоторые сомнения, которые можно было отметить в самом начале, мы теперь охотно соглашаемся,

что язык, бессознательное и воображение людей подчиняются законам структуры. Но мы абсолютно отвергаем то, что делаете вы: то, что возможно анализировать научные дискурсы в их последовательности и при этом не соотносить их с чем-то вроде формирующей их деятельности, не видеть, даже в случае их отклонений, проявления первоначального замысла или фундаментальной телеологии, не обнаруживать глубинной непрерывности, которая их связывает и подводит к той самой точке, где мы вновь можем их заметить; то, что таким образом возможно прояснить этапы становления разума и избавить историю мысли от всякого намека на субъективность. Ограничим рамки спора: мы допускаем, что в терминах элементов и правил построения можно было бы говорить о языке вообще — о том далеком и давнем языке, каким является язык мифов, или же о том, несмотря ни на что, несколько чуждом для нас языке, который является языком нашего бессознательного или наших произведений; но язык нашего знания, тот язык, на котором мы говорим здесь и сейчас, тот самый структурный дискурс, который позволяет нам анализировать столько других языков, этот язык в его исторической плотности мы считаем нередуцируемым. Вы не должны забывать, что только исходя из языка, из его медленного генезиса, из того смутного становления, которое привело к его сегодняшнему состоянию, мы можем говорить о других дискурсах в терминах структур; это он предоставил нам и возможность и право; он представляет собой наше слепое пятно, благодаря чему все располагается вокруг нас так, как мы видим это сегодня. Перебирайте элементы, отношения и прерывности, когда анализируете индоевропейские легенды или трагедии Расина, — пожа-

луйста, мы не возражаем; обходитесь, насколько это возможно, без вопроса о говорящих субъектах, — мы и с этим согласны; но мы возражаем против использования этих удачных попыток для того, чтобы обратить вспять этот анализ, чтобы добраться до форм дискурса, который делает их возможными, и чтобы подвергнуть сомнению то самое место, откуда мы говорим сегодня. История таких анализов, из которых исчезает субъективность, продолжает сохранять свою собственную трансцендентность.

— Действительно, мне кажется, что именно в этом (и в гораздо большей степени, чем в избитом вопросе о структурализме) и заключается вся суть спора и вашего упорного сопротивления. Позвольте мне, в шутку, конечно, поскольку, как вам известно, у меня нет особой склонности к интерпретации, сказать, как я понял ваше последнее рассуждение. «Конечно, — говорили вы под сурдинку, — отныне, несмотря на все данные нами арьергардные бои, мы вынуждены согласиться с формализацией дедуктивных дискурсов; конечно, мы должны смириться с тем, что теперь описывают не историю души, не смысл бытия, а внутреннее строение философской системы; конечно, и независимо от того, что мы думаем по этому поводу, нам придется допустить эти анализы, соотносящие литературные произведения не с жизненным опытом индивида, а со структурами языка. Конечно, нам пришлось отказаться от всех тех дискурсов, которые когда-то мы возводили к суверенности сознания. Но все то, что мы потеряли за более чем полувековой период, мы намереваемся наверстать теперь вдвойне, анализируя все эти анализы, или, по крайней мере, используя для этого тот фундаментальный вопрос, с которым мы обращаемся к ним. Мы намереваемся

спросить, откуда они происходят, каково то историческое предназначение, которым они, сами того не подозревая, пронизаны, какая наивность делает их слепыми к тем условиям, которые делают их возможными, за какой метафизической оградой укрывается их рудиментарный позитивизм. И тогда станет совершенно неважным то, что бессознательное не является, как мы это полагали и утверждали, имплицитной кромкой сознания, что мифология уже не является ви́дением мира, и что роман — это нечто иное, чем внешняя сторона пережитого опыта. Ибо мы строго следим за разумом, за тем самым разумом, который устанавливает все эти новые «истины»: ни он, ни его прошлое, ни то, что делает его возможным, ни то, что делает его нашим, ничто не избегает соотнесения с трансцендентальным. А теперь этому разуму — и мы точно решили никогда от этого не отступаться — мы будем задавать вопрос об истоке, о первичном обосновании, о телеологическом горизонте, о временной непрерывности. И именно эту мысль, которая актуализируется сегодня как наша мысль, мы будем поддерживать в историко-трансцендентальном господстве. Вот почему если мы волей-неволей и обязаны терпеть все эти структурализмы, то нам представляется невозможным допустить, чтобы кто-то касался той истории мысли, которая является историей нас самих; нам представляется невозможным допустить, чтобы кто-то распутывал все те трансцендентальные нити, которые, начиная с XIX века, связывали эту историю с проблематикой истока и субъективности. Тому, кто приблизится к крепости, где мы укрылись, но которую твердо намереваемся отстаивать, с жестом, пресекающим профанацию, мы повторим: *Noli tangere*.

— Однако я твердо намерен продвигаться вперед. И вовсе не потому, что уверен в победе или не сомневаюсь в своем оружии, а потому, что мне на мгновение показалось, что в этом как раз и состоит самое важное: избавить историю мысли от ее трансцендентальной зависимости. Моя задача состояла вовсе не в том, чтобы структурализировать историю мысли, применяя к проблемам становления знания или генезису наук категории, прошедшие испытание в области языка. Речь шла о том, чтобы проанализировать эту историю в такой прерывности, которую никакая телеология не могла бы устранить заранее; чтобы выделить ее в таком рассеивании, которое не мог бы замкнуть никакой предварительный горизонт; чтобы позволить ей развернуться в такой анонимности, для которой никакое трансцендентальное обоснование не предусматривало бы формы субъекта; чтобы обнаружить ее в такой темпоральности, которая не предвещала бы возвращения никакой утренней зари. Речь шла о том, чтобы полностью лишить ее всякого трансцендентального нарциссизма; нужно было освободить ее из того круга утраченного и вновь обретенного происхождения, в который она была заключена; нужно было показать, что история мысли не может играть той разоблачающей роли трансцендентального момента, которой, начиная с Канта, уже не играла больше рациональная механика, математические идеальности — начиная с Гуссерля, значения воспринимаемого мира — начиная с Мерло-Понти, вопреки всем тем усилиям, которые они тем не менее прилагали, чтобы обнаружить его там.

И я думаю, что, в сущности, несмотря на двусмысленность, вызванную мнимым спором о структурализме, мы прекрасно поняли друг друга; я хочу ска-

зать: мы прекрасно понимали то, что каждый из нас хочет сделать. Совершенно естественно, что вы защищали права непрерывной истории, одновременно открытой действию телеологии и бесконечным процессам причинности; но вы делали это не для того, чтобы уберечь ее от вторжения структуры, отрицающего ее движение, спонтанность и внутренний динамизм; на самом деле вы хотели гарантировать возможности формообразующего сознания, поскольку именно они подвергались сомнению. Однако эта защита должна была происходить где-то в другом месте, а отнюдь не в самом споре: ибо если бы вы признали за эмпирическим исследованием, за незаметной работой истории право оспаривать трансцендентальное измерение, то тогда вы поступились бы самым существенным. И следствием этого является ряд перемещений. Эти перемещения состоят в том, чтобы вначале рассмотреть археологию как исследование происхождения, формальных *a priori*, основополагающих актов, короче говоря, как разновидность исторической феноменологии (тогда как для археологии, наоборот, речь идет об освобождении истории от феноменологического засилья), а затем возразить на это, утверждая, что ей не удается выполнить свою задачу и что она никогда не обнаруживает ничего, кроме ряда эмпирических фактов. Затем противопоставить археологическому описанию, его усилиям, направленным на установление порогов, разрывов и преобразований, истинный труд историков, который, вероятно, заключается в том, чтобы показать непрерывности (в то время как уже целые десятилетия у истории совсем иная цель) и тогда упрекнуть его в невнимательности к эмпиричностям. Далее представить его как начинание, стремящееся описать куль-

турные общности, сделать однородными самые очевидные различия и обнаружить универсальность принудительных форм (тогда как его цель — определить единичную специфику дискурсивных практик) и тогда в качестве возражения указать на феномены различия, изменения и мутации. Наконец, назвать это описание внесением структурализма в область истории (хотя его методы и понятия ни в коем случае не могут дать повод к подобному смешению) и тогда показать, что такое описание, не может, вероятно, функционировать в качестве подлинного структурного анализа.

Весь этот процесс перемещений и непризнаний является полностью связным и необходимым. Он заключает в себе и второе преимущество: способность косвенно обратиться ко всем тем формам структурализма, с которыми нужно смириться — и которым уже столько раз приходилось уступать, — и сказать им: «Вы видите, чему бы вы подверглись, если бы коснулись тех областей, которые все еще принадлежат нам; ваши приемы, возможно, где-то и пригодные, здесь тотчас натолкнулись бы на свои границы; они упустили бы все то конкретное содержание, которое вы хотели бы проанализировать; вы были бы вынуждены отказаться от вашего осторожного эмпиризма; и вы, против вашей воли, увлеклись бы странной онтологией структуры. Будьте же благоразумны и придерживайтесь территорий, которые вы, по-видимому, уже завоевали; но поскольку мы сами устанавливаем их границы, то впредь будем делать вид, что мы их вам уступили». Что же касается главного преимущества, то оно, само собой разумеется, состоит в том, чтобы замаскировать кризис, в который мы уже давно втянуты и размах которого постоянно увели-

чивается: кризис, который проистекает из трансцендентальной рефлексии, отождествляющейся после Канта с философией; который следует из тематики первоначала, из того обещанного возвращения, которое помогает нам ловко стереть отличие нашего настоящего; который проистекает из антропологического мышления, подчиняющего все эти частные вопросы вопросу бытия человека и позволяющего избежать анализа практики; который проистекает из всех гуманистических идеологий; который — наконец и прежде всего — проистекает из статуса субъекта. Вот этот самый спор вы и желаете замаскировать, и, как мне кажется, вы надеетесь отвлечь от него внимание, продолжая свои занятные игры в генезис и систему, синхронию и становление, связь и причину, структуру и историю. А вы уверены, что тем самым вы не занимаетесь теоретической метатезой?

— Хорошо, предположим, что предмет спора заключается как раз в том, о чем вы говорите; предположим, что речь идет о том, чтобы защитить или атаковать последний редут трансцендентальной мысли, и признаем, что наша сегодняшняя дискуссия как раз находится в рамках того самого кризиса, о котором вы говорите: в таком случае, каково название вашего дискурса? Откуда он происходит и откуда он мог бы получить свое право говорить? Каким образом мог бы он обрести свою легитимность? Если вы не предприняли ничего, кроме эмпирического расследования, посвященного появлению и преобразованию дискурсов, если вы описали совокупности высказываний, эпистемологические фигуры, исторические формы знания, то как вы можете избежать наивности, присущей тем или иным разновидностям позитивизма? И каким образом ваше начинание мог-

ло бы соперничать с вопросом о первоначале и необходимым обращением к формообразующему субъекту? Но если вы намереваетесь предложить радикальный вопрос, если вы хотите разместить ваш дискурс на том уровне, где располагаемся мы сами, то тогда — и вам это хорошо известно — он включится в нашу игру и, в свою очередь, продлит то измерение, от которого он пытается тем не менее, освободиться. Либо он нас никак не касается, либо мы отстаиваем на него свои права. Во всяком случае, вы обязаны нам объяснить, что представляют собой те дискурсы, которые вот уже почти десять лет вы упорно развиваете, даже ни разу не позаботившись о том, чтобы установить их гражданское состояние. Одним словом, что они собой представляют: историю или философию?

— Я сознаюсь, что этот вопрос затрудняет меня больше, чем все недавно приведенные вами возражения. Он не очень меня удивляет, но я предпочел бы отложить его еще на некоторое время. Дело в том, что на настоящий момент, когда я не могу еще предвидеть его окончание, мой дискурс, вместо того чтобы определить место, откуда он звучит, ускользает с той почвы, где он мог бы заручиться поддержкой. Он является дискурсом о дискурсах: но он не стремится обнаружить в них некий скрытый закон, некий потаенный исток, которые он должен был бы высвободить; он также не стремится, сам по себе и исходя из самого себя, установить общую теорию, для которой все они были бы конкретными моделями. Речь идет о том, чтобы показать рассеивание, никогда не сводимое к единой системе различий, распыление, не соотносимое с абсолютными осями референции; речь идет о том, чтобы осуществить децентрацию, не дающую преимущества никакому центру. Роль такого

дискурса состоит не в том, чтобы развеять забвение, обнаружить в недрах сказанного и в том месте, где оно умолкает, момент его рождения (идет ли речь о его эмпирическом творении или о порождающем его трансцендентальном акте); такой дискурс не стремится быть сосредоточением первоначального или воспоминанием истины. Наоборот, он должен *создавать* различия: конституировать их как объекты, анализировать их и определять их понятие. Вместо того чтобы обозреть поле дискурсов с целью переделать на свой лад незавершенные обобщения, вместо того чтобы в уже сказанном отыскивать тот *другой* скрытый дискурс, который тем не менее остается *тем же самым* (вместо того, следовательно, чтобы непрерывно играть на *аллегории* и *тавтологии*), он непрерывно осуществляет различения, он *диагностичен.* И если философия является памятью о первоначале или его возвращением, тогда то, чем занимаюсь я, ни в коем случае не может рассматриваться как философия; и если история мысли состоит в том, чтобы возвращать к жизни полустершиеся фигуры, тогда то, чем занимаюсь я, это также и не история.

— Из всего, что вы только что сказали, стоит принять к сведению хотя бы то, что ваша археология — это не наука. Вы оставляете ее неприкаянной, с неопределенным статусом описания. Несомненно, она не является также одним из тех дискурсов, который хотел бы выдать себя за некую научную дисциплину в черновом варианте, — это обеспечивает их авторам двойное преимущество: они не должны обосновывать эксплицитную и строгую научность этой дисциплины, но зато могут открыть ей доступ к будущей обобщенности, освобождающей ее от случайностей ее рождения; археология не является также одним

из тех проектов, которые оправдывают себя тем, что не откладывают постоянно на более поздний срок разрешение основной части своей задачи, момент своей верификации и окончательное установление своей связности; она не является также и одним из тех обоснований, которые в великом множестве провозглашались, начиная с XIX века: ибо хорошо известно, что в современном теоретическом поле всем нравится изобретать не системы, поддающиеся доказательству, а дисциплины, возможность которых обнаруживают, программу которых очерчивают, а будущность и судьбу которых — доверяют другим. Однако едва только проведены все пунктирные линии эпюры этих дисциплин, как исчезают и они сами, и их авторы. И поле, которое они должны были бы подготовить, навсегда остается бесплодным.

— Совершенно верно, я никогда не представлял археологию как науку, ни даже как первооснову будущей науки. Я старался не столько разработать план воздвигаемого сооружения, сколько сделать краткий обзор того, что я предпринял в связи с конкретными изысканиями, даже если это потребует многих исправлений. Слово «археология» вовсе не содержит в себе значения предвосхищения; оно лишь указывает на одно из направлений анализа вербальных реализаций: спецификация уровня — это уровень высказывания и архива; детерминация и освещение области — это закономерности высказываний и позитивности; введение таких понятий, как правила формирования, археологическая деривация, историческое *a priori*. Но почти во всех своих измерениях и почти всеми своими гранями это начинание связано с науками, с анализами научного типа или с теориями, отвечающими критериям строгости. Прежде все-

го, оно связано с науками, которые образуются и устанавливают свои нормы в знании, описанном через археологию: именно там я нахожу для своего начинания такие же *науки-объекты,* какими смогли уже стать патологическая анатомия, филология, политическая экономия и биология. Оно также связано с научными формами анализа, от которых отличается либо уровнем, либо областью, либо методами и с которыми оно соседствует в соответствии с характерными линиями раздела; когда из всего сказанного мое начинание обращается к высказыванию, определенному как функция осуществления вербальной *реализации*, то оно отрывается от исследования, предпочтительным полем которого стала бы лингвистическая *компетенция*: в то время как такое описание создает порождающую модель для определения приемлемости высказываний, археология пытается установить правила формирования для определения условий их осуществления; отсюда между этими двумя способами анализа возникает некоторое число аналогий, как, впрочем, и различий (в частности, в том, что касается возможного уровня формализации); во всяком случае, для археологии порождающая грамматика играет роль *анализа-связки*. Кроме того, археологические описания в их развитии и поля, которые они охватывают, сочленяются с другими дисциплинами: стремясь определить, без всякого обращения к психологической или формообразующей субъективности, различные позиции субъекта, которые могут предполагаться высказываниями, археология пересекается с вопросом, поставленным сегодня психоанализом; пытаясь выявить правила формирования понятий, формы последовательности, сцепления и сосуществования высказываний,

она сталкивается с проблемой эпистемологических структур; изучая формирование объектов, поля, в которых они возникают и специфицируются, а также изучая условия присвоения дискурсов, она сталкивается с анализом социальных формаций. Для археологии они также суть *коррелятивные пространства*. Наконец, в той же степени, в какой возможно создать общую теорию производства, археология, представляя собой анализ правил, присущих различным дискурсивным практикам, обнаружит то, что можно было бы назвать ее *охватывающей теорией*.

Если я и помещаю археологию среди стольких других, уже вполне сложившихся дискурсов, то не для того, чтобы — за счет смежности и перенесения — наделить ее тем статусом, который сама она, вероятно, неспособна себе придать; и не для того, чтобы найти ей четко очерченное место в некой неподвижной констелляции, а для того, чтобы вместе с архивом выделить дискурсивные формации, позитивности, высказывания, их условия формирования, некую специфическую область. Такую область, которая не была еще объектом никакого анализа (по крайней мере, в отношении того, что может в ней быть особенного и несводимого к интерпретациям и формализациям); такую область, относительно которой ничто не гарантирует заранее — в той, еще рудиментарной точке отсчета, где я сейчас нахожусь, — что она останется устойчивой и автономной. В конце концов, могло бы оказаться, что археология играет роль всего лишь инструмента, позволяющего точнее, чем это делалось раньше, сочленить анализ социальных формаций и эпистемологические описания; или позволяющего связать анализ позиций субъекта с теорией истории наук; или позволяюще-

го определить место пересечения общей теории производства и порождающего анализа высказываний. Наконец, могло бы обнаружиться, что археология — это название, данное той части теоретической ситуации, которую мы расцениваем как современную. Вероятно, я не смогу сейчас решить, породит ли эта ситуация новую, способную обрести индивидуальность дисциплину, первые признаки и самые общие границы которой здесь, очевидно, уже наметились, или же создаст новый пучок проблем, нынешняя связность которых не мешает тому, чтобы позднее к ним могли обратиться где-то в другом месте, иным образом, на более высоком уровне, или используя другие методы. И, по правде говоря, не я, вероятно, вынесу это решение. Я признаю, что мой дискурс может исчезнуть так же, как и та фигура, которая сохраняла его до сих пор.

— Вы сами как-то странно пользуетесь той свободой, которой за другими не признаете. Ибо вы оставляете за собой все то поле свободного пространства, которое вы отказываетесь даже характеризовать. Но не забываете ли вы о том, с какой тщательностью вы старались заключить чужой дискурс в системы правил? Не забываете ли вы о всех тех принуждениях, которые вы так скрупулезно описывали? Разве вы не отняли у индивидов право лично вмешиваться в те позитивности, где располагаются их дискурсы? Вы связали малейшее из их высказываний с обязательствами, обрекающими малейшее из их нововведений на конформизм. Вы легко свершаете революцию, когда речь идет о вас самих, но когда речь идет о других — она свершается с трудом. Вероятно, было бы лучше, если бы вы яснее осознавали те условия, в которых вы говорите, а взамен вы обре-

ли бы большую веру в реальную деятельность людей и в их возможности.

— Я опасаюсь, как бы вы не допустили двойной ошибки: в отношении дискурсивных практик, которые я постарался определить, и в отношении того места, которое вы сами отводите человеческой свободе. Позитивности, которые я попытался установить, не должны пониматься как совокупность детерминаций, словно заранее налагающихся извне на мышление индивидов или населяющих его изнутри; скорее, они образуют совокупность условий, в соответствии с которыми осуществляется практика, в соответствии с которыми эта практика частично или полностью порождает новые высказывания, в соответствии с которыми, наконец, она может быть видоизменена. Речь идет не о пределах, поставленных инициативе субъектов, а, скорее, о поле, в котором эта инициатива выражается (не образуя его центра), о правилах, которые она использует (хотя они изобретены и сформулированы не ею), об отношениях, которые служат ей опорой (хотя она не является ни их последним результатом, ни точкой их конвергенции). Речь идет о том, чтобы выявить дискурсивные практики в их сложности и во всей их плотности; показать, что говорить — это значит что-то делать, но делать нечто иное, чем выражать то, что думаешь, нечто иное, чем излагать то, что знаешь, но вместе с тем и нечто иное, чем приводить в действие структуры языка; речь идет о том, чтобы показать, что добавить одно высказывание к предшествующему ряду высказываний — это значит совершить непростой поступок, который может дорого стоить, поступок, предусматривающий условия (и не только ситуацию, контекст, мотивы) и предполагающий правила (раз-

личные логические и лингвистические правила построения); речь идет о том, чтобы показать, что изменение в порядке дискурса влечет за собой не «новые идеи», не малую толику изобретательности и созидательности, не другую ментальность, но преобразования в некоторой практике и возможно, в прилегающих к ней практиках, а также и в их общем сочленении. Я отнюдь не отрицал возможности изменить дискурс: я лишил суверенность субъекта этого исключительного и непосредственного права.

«И, чтобы закончить, я хотел бы, в свою очередь, задать вам вопрос: как вы себе представляете изменение и, скажем, революцию, хотя бы в научной области и в поле дискурсов, если связываете его с такими темами, как смысл, замысел, исток и возвращение, основополагающий субъект, короче, со всей той тематикой, которая гарантирует истории универсальное присутствие Логоса? Какую возможность вы ему предоставляете, если анализируете его в соответствии с динамическими, биологическими или эволюционистскими метафорами, в которых обычно растворяется сложная и специфическая проблема исторической мутации? И еще точнее: какой политический статус вы можете придать дискурсу, если видите в нем только тончайшую прозрачность, лишь на мгновение вспыхивающую на границе вещей и мыслей? Неужели почти двухсотлетняя европейская практика *революционного и научного дискурсов* не избавила вас от той идеи, что слова — это как дуновение ветра, внешний шепот, шум крыльев, то, что трудно услышать в серьезных событиях истории? Или нужно вообразить, что, стремясь отвергнуть этот урок, вы упорно не признавали дискурсивных практик в их собственном существовании и по-прежнему

хотели противопоставлять ему историю духа, познаний разума, идей или мнений? Что за страх заставляет вас отвечать в терминах сознания, когда вам говорят о практике, о ее условиях, о ее правилах, о ее исторических преобразованиях? Что за страх заставляет вас искать великое историко-трансцендентальное предназначение Запада по ту сторону всех границ, разрывов, потрясений и членений»?

Я почти уверен, что на этот вопрос не существует иного ответа, чем политика. Отложим его пока в сторону. Возможно, скоро придется к нему вернуться, но вернуться по другому поводу.

Эта книга написана только для того, чтобы устранить некоторые предварительные затруднения. Так же, как и любой другой, я знаю, сколь «неблагодарны» — в точном смысле этого слова — могут быть те исследования, о которых я говорю и за которые я взялся вот уже десять лет тому назад. Я знаю, с каким скрипом может идти рассмотрение дискурсов, если исходить не из податливого, немого и близкого нам сознания, которое в них выражается, а из неясной совокупности анонимных правил. Я знаю, насколько неприятно указывать на границы и необходимости практики там, где мы привыкли видеть, как в чистой прозрачности разворачиваются возможности гения и свободы. Я знаю, насколько провокационно рассматривать в виде пучка преобразований ту историю дискурсов, которую до сих пор оживляли умиротворяющие метаморфозы жизни или преднамеренная непрерывность пережитого. Насколько, наконец, невыносимо, — принимая во внимание, что каждый, начав говорить, хочет выразить, надеется выразить «самого себя» в своем собственном дискурсе, — разделять, анализировать, комбинировать, со-

ставлять заново все эти тексты, вернувшиеся ныне в безмолвие; и при этом в них никогда не покажется искаженное лицо автора: «Как! Столько нагроможденных слов, столько следов, оставленных на таком количестве страниц и предложенных бесчисленным взорам, такое огромное усердие, направленное на то, чтобы удержать их по ту сторону артикулирующего их действия, такое глубокое благоговение, призванное сохранить их и вписать в память людей — и все это только ради того, чтобы ничего не осталось от той несчастной руки, что их начертала, от той тревоги, что стремилась найти в них успокоение, и от той уже оконченной жизни, у которой, отныне, кроме них нет больше ничего, чтобы продолжить свое существование? И разве не таким "следом" был бы дискурс в самой глубокой своей детерминации? И разве не был бы его шепот местом нематериального бессмертия? Неужели нужно было бы признать, что время дискурса — это не время сознания, перенесенное в измерения истории, и не время истории, присутствующее в форме сознания? Неужели я должен допустить, что в моем дискурсе не продолжается мое существование? И что когда я говорю, то я не предотвращаю свою смерть, но отвожу ей место или, вернее, упраздняю всякий внутренний характер в том внешнем, которое так равнодушно к моей жизни и так *нейтрально*, что не делает никакого различия между моей жизнью и моей смертью?»

Я прекрасно понимаю беспокойство всех тех, кто мог бы так сказать. Безусловно, им очень трудно было признать, что их история, их экономика, их общественные практики, язык, на котором они говорят, мифология их предков, даже сказки, которые рассказывали им в детстве, — все это подчиняется прави-

лам, не полностью представленным в их сознании; они вовсе не желают, чтобы, кроме этого и сверх этого, их лишали того дискурса, в котором они хотят иметь возможность непосредственно, без дистанции, сказать то, что думают, полагают или воображают; они предпочтут скорее отрицать, что дискурс является сложной и дифференцированной практикой, подчиняющейся анализируемым правилам и преобразованиям, нежели лишиться этой, столь утешительной, столь трогательной уверенности в возможности изменить если не мир, если не жизнь, то, по крайней мере, их «смысл» — изменить его одной только свежестью слов, которые исходят только от них самих и бесконечно долго остаются близкими к источнику. В их речи столь многое и так уже от них уже ускользнуло: они не хотят, чтобы от них ускользнуло к тому же и *то, что они говорят*, тот маленький фрагмент дискурса — неважно, будут ли это произнесенные или написанные слова, — хрупкое и ненадежное существование которого должно нести их жизнь все дальше и все дольше. Они не могут вынести (и мы их в чем-то понимаем), когда слышат: «Дискурс — это не жизнь: его время — это не ваше время; в нем вы не примиритесь со смертью; вполне возможно, что тяжестью всего того, что вы наговорили, вы убили Бога; но не думайте, что из всего того, что вы говорите, вы создадите человека, который будет жить дольше, чем Он».

Жиль Делёз

# Новый архивариус

## (Археология знания)

В городе назначен новый архивариус. Но можно ли сказать, что он назначен? Разве он не действует по собственным инструкциям? Люди злые говорят, что это новый представитель какой-то технологии, какой-то структурной технократии. Другие, полагающие свою глупость проявлением остроумия, говорят, что это сообщник Гитлера; или, по крайней мере, что он наступает на права человека (ему не прощают, что он возвестил «смерть человека»)[1]. Иные говорят, что это притворщик, который не может опереться ни на один священный текст и который не цитирует ни одного великого философа. А кто-то, наоборот, говорит себе, что в философии зародилось нечто новое, существенно новое, и что в этом произведении есть красота того, что оно отвергает: красота праздничного утра.

Во всяком случае, все начинается как в каком-нибудь рассказе Гоголя (даже не Кафки). Новый архивариус заявляет, что отныне он будет принимать во внимание только высказывания. Он не будет заниматься тем, что на все лады заботило предыду-

[1] После появления работы *СВ* некий психоаналитик проводил долгий анализ, сближающий эту книгу с «Mein Kampf». Не так давно эстафета была подхвачена теми, кто противопоставляет Фуко и права человека...

щих архивариусов: суждениями и предложениями. Он будет пренебрегать как вертикальной иерархией громоздящихся друг на друга суждений, так и латеральностью предложений, где, кажется, каждое предложение отвечает на другое. Он подвижен, а потому и обоснуется на своеобразной диагонали, делающей доступной для прочтения то, что невозможно было уловить, находясь в другом месте, а именно — высказывания. Так значит, это атональная логика? — Естественно, ощущается беспокойство. Потому что архивариус нарочно не дает примеров. Он полагает, что ранее приводил их постоянно, даже если в тот момент и сам не знал, что это были примеры. А теперь единственный формальный пример, который он анализирует, выбран словно нарочно, чтобы вызывать беспокойство: ряд букв, написанных мною наугад, или списанных в том порядке, как они представлены на клавиатуре пишущей машинки. «Клавиатура пишущей машинки не является высказыванием, но сам ряд букв A, Z, E, R, T, приведенный в учебнике машинописи, является высказыванием алфавитного порядка, принятого для французских пишущих машинок»[2]. Такие *многообразия* не имеют никакого закономерного лингвистического построения; и тем не менее это высказывания. Azert? Мы привыкли к другим архивариусам, и каждый задается вопросом, каким образом в этих условиях возможно производить высказывания.

Тем более, что Фуко объясняет: высказывания, по существу, являются *редкими*. И не только *de facto* и *de jure*: они неотделимы от закона и эффекта редко-

[2] *АЗ*. С. 171–172. [Здесь и далее ссылки даются по тексту настоящего издания. — *Прим. ред.*]

сти. Это даже одна из тех характерных черт, что противопоставляет высказывания и суждениям и предложениям. Ибо можно представить себе сколько угодно суждений, ровно столько, сколько мы смогли бы их выразить друг поверх друга в соответствии с различием типов; и формализация как таковая не должна различать возможное и реальное, она до бесконечности плодит возможные суждения. А что касается действительно сказанного, то его фактическая редкость проистекает из того, что одно предложение отрицает другие, мешает им, им противоречит или их вытесняет; и тогда каждое предложение несет в себе все то, чего оно не говорит, некое потенциальное или латентное содержание, умножающее его смысл и дающее возможность интерпретации, создающее «скрытый дискурс», подлинное богатство *de jure*. Диалектика предложений всегда подчинена противоречию, иногда всего лишь для того, чтобы преодолеть его, а иногда и для того, чтобы его углубить; типология суждений подчинена абстракции, которая заставляет соответствовать каждому уровню тип, более высокий по отношению к его элементам. Но противоречие и абстракция суть приемы умножения предложений и суждений, что-то вроде возможности постоянно противопоставлять предложение предложению или постоянно создавать суждение на суждение. Высказывания же, напротив, неотделимы от пространства редкости, в котором они распределяются в соответствии с принципом бережливости или даже дефицита. В области высказываний нет ни возможного, ни потенциального, там все реально, и любая реальность очевидна: важно только то, что там было сформулировано в такой-то момент, с такими-то лакунами, с такими-

то пробелами. Однако очевидно, что высказывания могут противопоставляться друг другу и создавать иерархию уровней. Но в двух главах Фуко четко показывает, что противоречия между высказываниями существуют только благодаря позитивной дистанции, измеримой в пространстве редкости, и что сравнения высказываний относятся к подвижной диагонали, позволяющей непосредственно сталкивать в этом пространстве на разных уровнях одну и ту же совокупность, а также непосредственно выбирать некоторые совокупности на одном и том же уровне, не обращая внимания на остальные, также относящиеся к этому уровню (и, вероятно, допускающие существование другой диагонали)[3]. Разреженное пространство делает возможными все эти передвижения, эти переносы, эти измерения, эти необычные вырезы, эту «лакунарную и раздробленную форму», вызывающую удивление тем, что когда речь идет о высказываниях, то не только оказывается, что сказано немногое, но что «очень немногое *может быть* сказано»[4]. Каковы же будут последствия этой транскрипции логики в среду редкости или рассеивания, не имеющего ничего общего с отрицанием, а, наоборот, образующего «позитивность», присущую высказываниям?

[3] *АЗ*. Часть IV, гл. 3 и 4. Фуко замечает, что в книге *СВ* он интересовался тремя формациями одного и того же уровня — Естественной историей, Анализом богатств, Всеобщей грамматикой; но что он мог бы рассмотреть и другие формации (библейскую критику, риторику, историю...); достаточно обнаружить «интердискурсивную сеть, которая не накладывалась бы на первую, а пересекала бы ее в отдельных точках» (С. 294–295).

[4] *АЗ*. С. 231.

Однако Фуко нас одновременно и успокаивает: если верно, что высказывания редки, редки по своей сути, то нет и необходимости в оригинальности для того, чтобы их создавать. Высказывание всегда представляет собой излучение единичностей, единичных точек, распределяющихся в соответствующем пространстве. Формирования и преобразования самих этих пространств ставят, как мы это увидим, топологические проблемы, которые очень трудно выразить в терминах творения, начинания или обоснования. И тем более в рассматриваемом пространстве не имеет никакого значения, происходит ли это излучение впервые или же является возобновлением, воспроизведением. Важна только *закономерность* высказывания: не среднее арифметическое, а кривая. Действительно, высказывание не смешивается с излучением единичностей, которое оно предполагает, а только с видом кривой, проходящей поблизости от них, а в более общем смысле — с правилами поля, где они распределяются и воспроизводятся. Это и есть закономерность высказывания. «Следовательно, на том уровне, где оно располагается, оппозиция оригинальность — банальность неуместна: археологическое описание не устанавливает никакой ценностной иерархии и не проводит радикального различия между первоначальной формулировкой и предложением, которое спустя годы или века повторяет ее более или менее точно. Это описание лишь стремится установить *закономерность* высказываний»[5]. Вопрос об оригинальности тем более неуместен, что вопрос о

[5] *АЗ*. С. 268 (и об ассимиляции высказывание—кривая, с. 164–165).

происхождении не ставится вовсе. Вовсе не нужно быть кем-то, чтобы произвести высказывание, и само высказывание не отсылает ни к cogito, ни к трансцендентальному субъекту, который сделал бы его возможным, ни к «Я» (Moi), которое, вероятно, впервые его произнесло (или вос-произвело), ни к Духу Времени, который бы его сохранил, распространил и возобновил[6]. Для каждого высказывания существует достаточно много — весьма изменчивых — «местоположений» субъекта. Но в каждом случае, именно потому что это место могут занимать различные индивиды, высказывание является специфическим объектом накопления, в соответствии с которым оно сохраняется, передается или повторяется. Накопление подобно созданию некого запаса, оно является не противоположностью редкости, а результатом самой редкости; поэтому оно заменяет понятия истока и возврата к истоку: как и бергсоновское воспоминание, высказывание сохраняется в самом себе, в своем пространстве, и существует до тех пор, пока длится или поддерживается восстановленным это пространство.

Вокруг высказывания мы должны различать три окружности, наподобие трех сегментов пространства. *Прежде всего, это коллатеральное пространство*, ассоциированное или примыкающее, образованное другими высказываниями, входящими в ту же группу. Выяснение вопроса, пространство ли определяет группу или, напротив, группа высказываний определяет пространство, не представляет большого интереса. Не существует ни однородного пространства, безразличного к высказываниям, ни

[6] *АЗ*. С. 294.

высказываний без их локализации, так как они смешиваются на уровне правил формирования. Важно лишь то, что эти правила формирования не сводятся ни к аксиомам, как это бывает с суждениями, ни к контексту, как это бывает с предложениями. Суждения отсылают по вертикали к аксиомам высшего уровня, которые детерминируют внутренне им присущие константы и определяют однородную систему. Установление таких однородных систем является даже одним из условий лингвистики. Что касается предложений, то в зависимости от внешних переменных один из членов предложения может быть в одной системе, а другой — в другой системе. Высказывание ведет себя совсем иначе: оно неотделимо от свойственного ему изменения, из-за которого мы никогда не находимся в одной определенной системе, а постоянно переходим из одной системы в другую (даже внутри одного и того же языка). Высказывание не латерально и не вертикально, оно трансверсально, и его правила принадлежат тому же уровню, что и оно само. Возможно, Фуко и Лабов говорят об одном и том же, особенно когда Лабов показывает, как один молодой негр постоянно переходит от системы «black english» к системе «americain standard» и наоборот, в соответствии с правилами, которые тоже *изменчивы или факультативны* и позволяют определять закономерности, а не однородности[7].

[7] Ср.: *Labov W*. Sociolinguistique. P., 1976. P. 262–365. У Лабова ведущим является представление о правилах, не имеющих ни константы, ни однородности. Мы могли бы привести и другой пример, более близкий к последующим исследованиям Фуко: Крафт-Эбинг, в своем большом компилятивном труде о сексуальных извращениях «Psychopathia sexualis», едва только предмет высказы-

Даже когда кажется, что они осуществляются в одном и том же языке, высказывания дискурсивной формации переходят от описания к наблюдению, к подсчету, к установлению, к предписанию, как если бы они проходили через такое же число систем или языков[8]. Следовательно, то, что «формирует» группу или семейство высказываний, суть правила перехода или изменения внутри одного и того же уровня, которые делают из «семейства» как такового среду рассеивания и разнородности, то есть противоположность однородности. Таково ассоциированное или примыкающее пространство: любое высказывание неотделимо от разнородных высказываний, с которыми оно связано правилами перехода (векторами). И тем самым не только каждое высказывание неотделимо от многообразия, одновременно «редкого» и закономерного, но и каждое высказывание является многообразием — многообразием, а не структурой или системой. Это топология высказываний, которая противопоставляется как топологии суждений, так и диалектике предложений. Мы считаем, что высказывание, семейство высказыва-

вания становится слишком откровенным, включает в немецкие предложения сегменты на латыни. Переход в обоих направлениях от одной системы к другой наблюдается постоянно. Можно сказать, что это происходит в силу обстоятельств или внешних переменных (представление о пристойности, цензуре); и это правильно с точки зрения предложения. Но сексуальные высказывания у Краффта-Эбинга с точки зрения высказывания неотделимы от присущего ему варьирования. Очевидно, нетрудно было бы показать, что это происходит с любым высказыванием.

[8] *АЗ*. С. 85 (пример медицинских высказываний в XIX веке).

ний, дискурсивная формация, говоря словами Фуко, определяются прежде всего линиями присущего им варьирования, или полем векторов, распределенных в ассоциированном пространстве: это высказывание как *первичная функция*, или первый смысл «закономерности».

Второй отрезок пространства — это *коррелятивное пространство,* которое мы не должны смешивать с ассоциированным пространством. На этот раз речь идет об отношении высказывания не с другими высказываниями, а с его субъектами, объектами, понятиями. Здесь появляется возможность обнаружить новые различия между высказыванием, с одной стороны и словами, предложениями, суждениями — с другой. Действительно, предложения отсылают к так называемому субъекту акта высказывания, который, как представляется, способен породить дискурс: речь идет о «Я» (JE) как о лингвистическом лице, несводимом к «ОН» (IL); даже когда это «Я» (JE) не выражено эксплицитно, оно предстает как связующее звено или система само-отсылок. Следовательно, предложение анализируется с двойной точки зрения: внутренне присущей ему константы (форма «Я» (JE), и внешних переменных (тот, кто говорит «Я» (JE), возникает, чтобы заполнить форму). Совсем иначе обстоит дело с высказыванием: оно отсылает не к единой форме, а к очень изменчивым, составляющим само высказывание, внутренне присущим ему позициям. Например, если «литературное» высказывание отсылает к автору, анонимное письмо отсылает тоже к автору, но совсем в другом смысле слова, а обычное письмо отсылает к тому, кто подписал это письмо, то контракт отсылает к гаранту, афиша — к редактору,

сборник — к составителю...[9] Итак, все это является частью высказывания, хотя и не является частью предложения: это *функция, производная* от первичной, функция, производная от высказывания. Отношение высказывания к меняющемуся субъекту само по себе образует переменную, внутренне присущую высказыванию. «Давно уже я привык укладываться рано...» Предложение остается тем же самым, а высказывание меняется, в зависимости от того, относят ли его к какому-то субъекту или к писателю Прусту, который так начинает «Поиски», приписывая это высказывание рассказчику. Значит, сверх того одно и то же высказывание может иметь несколько позиций, несколько местоположений субъекта: автор и рассказчик, или же подписавший письмо и его автор, как в случае с одним письмом мадам де Севинье (так как получатель в этих двух случаях разный) или же передающий и передаваемое, как в косвенной речи (и, особенно, в несобственно-прямой речи, когда обе позиции субъекта взаимно проникают друг в друга). Но все эти позиции не являются фигурами одного изначального «Я» (JE), от которого, вероятно, исходит высказывание: наоборот, они исходят из самого высказывания, и в этом качестве являются формами какого-нибудь «не-лица» (non personne), какого-нибудь «ОН» (IL), или какого-нибудь «НЕКТО» (ON), «Он говорит», «Говорят» (On parle), и это «не-лицо» уточняется в соответствии с семейством высказывания. Фуко согласен с Бланшо, который осуждает всякую лингвистическую персонологию и устанавливает местопо-

[9] *ЧА*. С. 83; *АЗ*. С. 181–188 (в частности, это случай научных высказываний).

ложение субъекта в толще анонимного бормотания. В этом-то бормотании без начала и без конца Фуко и намеревается занять то место, которое ему укажут высказывания[10]. И возможно, это самые волнующие высказывания у Фуко.

То же самое можно сказать в отношении объектов и понятий высказывания. Предполагается, что суждение имеет референта, то есть что референция или интенциональность является внутренне присущей суждению константой, в то время как положение вещей, его наполняющих (или ненаполняющих), является внешней переменной. Но с высказыванием дело обстоит иначе: оно имеет «дискурсивный объект», вовсе не заключающийся в рассматриваемом положении вещей, а, напротив, происходящий из самого высказывания. Это производный объект, который определяется как раз на границе линий изменений высказывания как первичной функции. Поэтому бесполезно различать разнообразные типы интенциональности, одни из которых могли бы быть заполнены положением вещей, а другие оставались бы пустыми, являясь тогда обычно мнимыми или воображаемыми (я повстречал единорога), или даже вообще абсурдными (квадратный круг). Сартр говорил, что в отличие от постоянных гипногенных элементов и обычного мира бодрствования, каждое сновидение, каждый образ сновидения имеет свой особен-

[10] Таково же и начало *ПД*. У Фуко, в книге *СВ*, «Говорят» (on parle) предстает как «бытие языка» (l'être du langage), а в *АЗ* — как «наличие языка» (Il y a du langage). В отношении «он» (il), мы отсылаем к тексту Бланшо (см.: *Blanchot M.* La part du feu. P., 1949. P. 29), так же как и в отношении «некто» (on) (см.: *Blanchot M.* L'espace littéraire. P., 1955. P. 160–161).

ный мир[11]. Высказывания Фуко подобны сновидениям: каждое имеет свой собственный объект или замыкается в своем особом мире. Таким образом, «Золотая гора находится в Калифорнии» безусловно является высказыванием: оно не имеет референта, и тем не менее недостаточно ссылаться на пустую интенциональность, где все разрешено (вымысел в самом общем смысле этого слова). Это высказывание «Золотая гора...» безусловно имеет дискурсивный объект, а именно определенный воображаемый мир, который «позволяет или не позволяет подобную геологическую и географическую фантазию» (мы лучше поймем это, если вспомним высказывание «Бриллиант, большой как отель "Ритц"», которое отсылает не к вымыслу вообще, а к совершенно особому миру, в котором замыкается высказывание Фицджеральда, в его отношении с другими высказываниями того же автора, составляющими «семейство»)[12]. И наконец, такое же заключение подходит и для понятий: конечно, слово имеет понятие как означаемое, то есть как внешнюю для него переменную, с которой оно соотносится в силу своих означающих (внутренне присущая ему константа). Но с высказыванием и здесь дело обстоит иначе. На пересечении разнородных систем, через которые оно проходит как первичная функция, высказывание обладает своими понятиями или, вернее, своими собственными дискурсивными «схемами»: например, всевозможные объединения и различения симптомов в медицинских высказываниях в ту или иную эпоху либо в какой-то определенной дискурсивной

[11] *Sartre J.-P.* L'imaginaire. P., 1936. P. 322–323.
[12] *АЗ.* С. 177 (Золотая гора...).

формации (так, в XVII веке существует диагноз «мания», а позднее, в XIX веке, возникает диагноз «мономания»...)[13].

Если высказывания и отличаются от слов, предложений или суждений, то это потому, что они заключают в себе как свои производные, и функции объекта, и функции понятия. А субъект, объект, понятие как раз и являются только функциями, производными от первичной функции, или от высказывания. Так что коррелятивное пространство и есть дискурсивный порядок местоположений или позиций субъектов, объектов и понятий в семействе высказываний. Это второй смысл «закономерности»: эти различные местоположения представляют собой единичные точки. Системе слов, предложений и суждений, которая действует через внутренне ей присущую константу и внешнюю для нее переменную, противостоит, следовательно, многообразие высказываний, которое действуют через свойственное ему изменение и внутренне ему присущую переменную. То, что представляется случайностью с позиции слов, предложений и суждений, становится правилом с позиции высказываний. Таким образом, Фуко обосновывает новую прагматику.

Остается третий, абсолютно внешний, сегмент пространства: это *комплементарное пространство*, или недискурсивные формации («социальные институты, политические события, экономические процессы и практики»). В этом месте Фуко уже намечает концепцию политической философии. Каждый

[13] О «допонятийных схемах» см.: *АЗ*. С. 129–130. О примере душевных болезней, их разделении в XVII веке, ср.: *ИБ*, ч. II; о возникновении мономании в XIX веке см.: *ЯПР*.

социальный институт в себе самом заключает высказывания, как, например, конституция, хартия, договоры, записи и регистрации. И наоборот, высказывания отсылают к институциональной среде, без которой не могли бы сформироваться ни объекты, возникающие в каких-то определенных местах высказывания, ни субъект, говорящий из какого-то определенного места (например, позиция писателя в обществе, позиция врача в больнице или в своем кабинете в обозначенную эпоху и возникновение новых объектов). Но и здесь тоже между недискурсивными формациями социальных институтов и дискурсивными формациями высказываний велико, вероятно, искушение установить либо что-то вроде вертикального параллелизма, как между двумя выражениями, которые символизировали бы друг друга (первичные отношения проявления), либо горизонтальную причинность, в соответствии с которой события и социальные институты определяли бы людей как предполагаемых авторов высказываний (вторичные отношения рефлексии). Однако диагональ предполагает третий путь: *дискурсивные отношения с недискурсивными средами,* которые сами по себе не являются ни внутренними, ни внешними для группы высказываний, но которые создают только что упомянутую границу, детерминированный горизонт, без которого не могли бы появиться ни такие-то определенные объекты высказываний, ни такое-то определенное место в самом высказывании не могло бы быть обозначено. «...Конечно, не политическая практика в начале XIX века навязала медицине новые объекты, такие как тканевые повреждения или анатомо-физиологические корреляции; но она открыла новые поля выделения меди-

цинских объектов (эти поля образованы массой населения, находящегося на административном учете и под административным наблюдением, ... огромными народными армиями, ... институтами больничной помощи, ... которые определялись в зависимости от экономических потребностей эпохи и соотношения социальных классов). Мы видим, как это отношение политической практики к медицинскому дискурсу проявляется также и в новом статусе врача...»[14]

Высказывание обладает возможностью быть *повторенным,* потому что различение оригинальное-банальное здесь неуместно. Предложение может быть возобновлено или вновь вызвано в памяти, суждение может быть реактуализировано, но «способность быть повторенным присуща только высказыванию»[15]. Однако выясняется, что реальные условия повторения очень строги. Необходимо, чтобы существовало то же самое пространство распределения, то же самое размещение единичностей, тот же самый порядок мест и местоположений, то же самое отношение с установленной средой: все это создает для высказывания некую «материальность», которая делает его способным к повторению. Утверждение «виды изменяются» не является одним и тем же высказыванием, если оно сформулировано в естественной истории в XVIII веке или в биологии в XIX веке. И нет даже уверенности, что высказывание остается тем же самым в промежутке времени от Дарвина до Симпсона, смотря по тому, как описание сможет выделять единицы меры, расстояния и распределения, а также и абсолютно разные социальные институты. Одно и

[14] *АЗ*. С. 299–304 (и 106–108).
[15] *АЗ*. С. 205.

то же предложение-лозунг «Сумасшедших в сумасшедшие дома!» может принадлежать к абсолютно различным дискурсивным формациям в зависимости от того, выражает ли оно протест против того, чтобы смешивать заключенных с сумасшедшими, как это было в XVIII веке; или, наоборот, требует, как это было в XIX веке, создания сумасшедших домов, которые отделили бы сумасшедших от заключенных; или же звучит сегодня, выражая протест против развития больничной среды[16]. Нам возразят, что Фуко просто заостряет чисто классический анализ, касающийся *контекста,* но это означало бы, что мы не признаем новизны критериев, которые он устанавливает именно для того, чтобы показать, что можно произнести предложение или сформулировать суждение, не занимая одного и того же местоположения в соответствующем высказывании и не воссоздавая тех же самых единичностей. И если мы и вынуждены отбросить ложные повторения, определяя ту дискурсивную формацию, к которой принадлежит высказывание, то взамен мы обнаружим между различающимися формациями феномены изоморфизма или изотопии[17]. А контекст ничего не объясняет, потому что его природа меняется в зависимости от дискурсивной формации или семейства рассматриваемых высказываний[18].

И если повторение высказываний нуждается в столь строгих требованиях, то происходит это не из-за внешних условий, а из-за той внутренней материальности, которая из самого повторения создает

[16] *ИБ*. С. 417–418.
[17] *АЗ*. С. 297–298.
[18] *АЗ*. С. 192 (непризнание контекста).

силу, присущую высказыванию. Дело в том, что высказывание всегда определяется специфическим отношением с *чем-то другим* (un autre chose), одного с ним уровня, то есть с чем-то иным, что затрагивает само высказывание (а не его смысл или его элементы). Этим «чем-то другим» может быть само высказывание, и в таком случае оно повторяется открыто. Но в предельном случае необходимо что-то иное, чем высказывание: необходимо Внешнее (un Dehors). Это настоящее излучение единичностей как точек неопределенности, потому что они еще не определены и не специфицированы кривой высказывания, которая их связывает и принимает в соседстве с ними ту или иную форму. Следовательно, Фуко показывает, что кривая, график, пирамида суть высказывания, но то, что они представляют, высказыванием не является. Также и буквы AZERT, которые я переписываю, суть высказывание, хотя эти же самые буквы, расположенные на клавиатуре пишущей машинки, высказыванием не является[19]. В этих случаях мы видим, как скрытое повторение оживляет высказывание; и читатель вновь находит ту тему, которая вдохновляла самые прекрасные страницы книги «Раймон Руссель» о «ничтожном различии, парадоксально вводящем тождество». Высказывание само по себе является повторением, даже если бы то, что оно повторяет, и являлось «чем-то другим» (autre chose), которое вместе с тем может быть «до странности ему подобным и квазитождественным». Тогда для Фуко самой большой проблемой было бы узнать, в чем состоят эти единичности, предполагаемые высказыванием. Но «Археология»

[19] *АЗ*. С. 171–175 и 163.

останавливается на этом: она не должна рассматривать проблему, выходящую за границы «знания». Читатели Фуко догадываются, что здесь входят в новую область, область власти, поскольку она сочетается со знанием. Она будет рассмотрена в следующих книгах. Но мы уже предчувствуем, что AZERT на клавиатуре является совокупностью очагов власти, совокупностью отношений сил между буквами алфавита французского языка, расположенными в соответствии с их частотностью, и пальцами руки, в соответствии с их положением для удара по клавишам.

В книге «Слова и вещи» речь не идет ни о вещах, ни о словах, объясняет Фуко. И не об объекте, и не о субъекте. И не о предложениях, не о суждениях, и не о грамматическом, логическом или семантическом анализе. Высказывания вовсе не являются синтезом слов и вещей, они вовсе не составлены из предложений и суждений, скорее, наоборот, они предваряют предложения или суждения, которые их имплицитно допускают, они являются созидателями слов и предметов. Фуко кается дважды: в книге «История безумия» он злоупотреблял обращением к «опыту» безумия, который также вписывался в двойственность между состояниями неукрощенных вещей и суждениями; в книге «Рождение клиники» он ссылался на «медицинский взгляд», который, вероятно, также предполагал единую форму субъекта, слишком неподвижного по отношению к объектному полю. Однако эти раскаяния, возможно, притворны. Нет оснований сожалеть об отказе от романтизма, который составлял отчасти красоту «Истории безумия», в пользу нового позитивизма. Этот разреженный позитивизм, поэтический по сво-

ей сути, имеет, возможно, своим следствием реактивацию в рассредоточении дискурсивных формаций или высказываний того смутного опыта, каким всегда является опыт безумия, а в разнообразии мест внутри этих формирований — реактивацию того подвижного местоположения, каким всегда является местоположение врача, клинициста, диагностика, симптоматолога культур (независимо от любого *Weltanschauung*). А чем является заключение «Археологии», если не обращением к общей теории производства, которая должна сливаться с революционной практикой, где действующий «дискурс» образуется в стихии некого «внешнего» (un dehors), безразличного к моей жизни и к моей смерти? Ибо дискурсивные формации суть подлинные практики, и их языки, заменяющие универсальный логос, суть языки смертные, способные порождать, а иногда и выражать мутации.

Вот чем является группа высказываний, и даже одно-единственное высказывание: это суть многообразия. Риман создал понятие «многообразие» и видов многообразий, соотнося их с физикой и математикой. Философская значимость этого понятия появляется затем у Гуссерля в его работе «Формальная и трансцендентальная логика», а также в «Эссе» Бергсона (когда он пытается определить временну́ю длительность как вид многообразия, противоположный пространственным многообразиям, примерно так же, как Риман различал прерывные и непрерывные многообразия). Но в обоих направлениях это понятие не привело к успеху, то ли потому, что его скрывало различие видов, восстанавливая простой дуализм, то ли потому, что оно стремилось к статусу аксиоматической системы. Однако сущность данного понятия —

это создание такого имени существительного, чтобы «множественный» перестало быть предикатом, который может быть противопоставлен слову «Один» (l'Un) или приписан субъекту, отмеченному как один. Многообразие остается совершенно безразличным к традиционным проблемам множественного и одного (l'un) и особенно к проблеме субъекта, который, вероятно, его обусловливает, продумывает, выводит из первоначала и т. д. Не существует ни одного (un), ни множественного, что неминуемо означало бы отсылку к сознанию, которое зарождалось бы в одном (l'un), а развивалось бы в другом (l'autre). Существуют только редкие многообразия с единичными точками и пустые места для тех, кто в какой-то момент действуют там как субъекты; с закономерностями, способными быть накопленными и повторенными, и которые сохраняются в себе самих. Многообразие и не аксиоматично, и не типологично, оно топологично. Книга Фуко является самым решительным шагом в теории — практике многообразий. Таков же, но на свой лад, и путь, который разрабатывает Морис Бланшо в своей логике литературного творчества: самая строгая связь между единственным числом, множественным числом, средним родом и повторением, так, чтобы можно было разом отвергнуть форму какого-то определенного сознания или субъекта и бездонность неразличимой бездны. Фуко не скрывает того родства, которое в этом отношении он испытывает к Бланшо. И он показывает, что сущность сегодняшних споров меньше касается структурализма как такового, существования или несуществования моделей и реальностей, называемых структурами, чем места и статуса, возвращающихся к субъекту в тех измерениях, которые мы считаем не полностью струк-

турированными. Таким образом, пока мы напрямую противопоставляем историю структуре, мы можем полагать, что субъект сохраняет значение конституирующей, собирающей, объединяющей деятельности. Но дело обстоит совсем иначе, когда мы рассматриваем «эпохи» или исторические формации как многообразия. Они ускользают как из царства субъекта, так и из империи структуры. Структура пропозициональна, она обладает аксиоматическим характером, который можно обозначить на четко детерминированном уровне, она формирует однородную систему, тогда как высказывание является многообразием, которое пересекает уровни, которое «пересекает область возможных единств и структур и... показывает их — вместе с их конкретным содержанием — во времени и пространстве»[20]. Субъект принадлежит предложению или диалектике, он имеет признак первого лица, с которого начинается дискурс, тогда как высказывание является первичной анонимной функцией, которая допускает существование субъекта только в третьем лице и как производную функцию.

Археология противоположна обеим основным методикам, до сих пор применяемым «архивариусами»: формализации и интерпретации. Архивариусы часто метались от одной методики к другой, обращаясь к обеим одновременно. То выделяют из предложения логическое суждение, выступающее как его очевидный смысл, переходя, таким образом от того, что «записано», к сверхчувственной форме, которая, в свою очередь, может быть, вероятно, записана на символическую поверхность, но которая сама по себе принадлежит к иному порядку, чем порядок

[20] *АЗ*. С. 172, 359–368.

записи. То, наоборот, переходят от одного предложения к другому, к которому, вероятно, оно тайно отсылает, и, таким образом, удваивают то, что записано другой записью, очевидно представляющей собой скрытый смысл, но, прежде всего, записывающей нечто иное и имеющей иное содержания. Обе эти крайние позиции указывают, скорее, на два полюса, между которыми колеблются интерпретация и формализация (это видно, например, в затруднениях психоанализа при выборе между функционально-формальной гипотезой и топической гипотезой «двойной записи»). Первая выделяет в предложении «сверх-сказанное» (un sur-dit), другая — «не-сказанное» (un non-dit). Отсюда и стремление логики показать, что необходимо, например, различать два суждения для одного предложения, и стремление интерпретационных дисциплин показать, что предложение содержит в себе лакуны, которые необходимо заполнить. Итак, становится ясно, что методологически очень трудно придерживаться того, что действительно сказано, придерживаться *единственной записи того, что сказано*. Даже лингвистика, особенно лингвистика, чьи единства никогда не находятся на том же уровне, что и сказанное, этим не ограничивается.

Фуко отстаивает право на совсем иной замысел: дойти до простой записи того, что сказано как позитивность диктума (le dictum), до высказывания. Археология «не пытается очертить вербальные реализации для того, чтобы обнаружить за ними или под их видимой поверхностью некий скрытый элемент, тайный смысл, который в них коренится, или молчаливо через них пробивается; с другой стороны, высказывание отнюдь не является непосредственно

видимым, оно предстает не так очевидно, как грамматическая или логическая структура (даже если она не полностью понятна, даже если она очень сложна для прояснения). *Высказывание одновременно и не видимо, и не сокрыто*»[21]. И Фуко показывает в наиболее важных отрывках, что никакое высказывание не может обладать латентным существованием, поскольку оно затрагивает действительно сказанное; даже нехватки или пробелы, в нем находящиеся, не должны смешиваться с утаенными значениями, они отмечают только свое присутствие в пространстве рассеивания, конституирующего «семейство». Но и наоборот, если так трудно добраться до записи того же уровня, что и сказанное, то это потому, что высказывание ощутимо не сразу, оно всегда прикрыто предложениями и суждениями. Необходимо открыть его «цоколь», отделать, даже сформировать, изобрести его. Нужно придумать, разрезать тройное пространство этого цоколя; и только в многообразии, которое предстоит создать, высказывание может осуществиться как *простая* запись сказанного. И только потом возникает необходимость выяснить: может быть, интерпретации и формализации уже предусматривали эту простую запись как свое предварительное условие? В самом деле, разве не запись высказывания (высказывание как запись) будет вынуждена в определенных условиях удваиваться в другой записи или проектироваться в суждение? Всякая надпись, всякая подпись отсылают к единствен-

[21] *АЗ*. С. 212. Например, история философии, как ее понимает Геру, придерживается только одной этой записи, не видимой и, однако, не сокрытой. Эта история не обращается ни к формализации, ни к интерпретации.

ной записи высказывания в его дискурсивной формации: к памятнику архива, а не к документу. «Для того чтобы речь могла быть принята в качестве объекта, распределена между различными уровнями, описана и проанализирована, нужно, чтобы существовала некая данность высказывания, всегда определенная и не бесконечная. Анализ языка всегда осуществляется на *корпусе* слов и текстов; интерпретация и выявление имплицитных значений всегда основываются на ограниченной группе предложений; логический анализ системы предполагает в повторном акте записи, в формальном языке, некую данную совокупность суждений[22].

В этом и есть сущность конкретного метода. Мы, безусловно, вынуждены исходить из слов, предложений и суждений. Мы их только организуем в определенный корпус, меняющийся в зависимости от поставленной проблемы. Это было уже требованием «дистрибуцианалистов», Блумфилда или Харриса. Но оригинальность Фуко заключается в способе, которым он детерминирует такие корпусы: это происходит не в зависимости от частотности или лингвистических постоянных, и не в силу личных качеств тех, кто говорит или пишет (великие мыслители, известные государственные деятели и т. д.). Франсуа Эвальд прав, когда говорит, что корпусы Фуко суть «дискурсы без референции» и что этот архивариус чаще всего избегает приводить великие имена[23]. Дело в том, что он выбирает базовые слова, предложения и суждения не в соответствии с их структу-

[22] *АЗ*. С. 217.
[23] *Ewald F.* Anatomie et corps politiques // Critique. № 343 (1975). P. 1229–1230.

рой, не в соответствии с субъектом-автором, от которого они, вероятно, исходят, а в соответствии с той простой функцией, которую они выполняют в данной совокупности: например, в соответствии с правилами насильственного помещения в психиатрическую больницу или же в тюрьму; в соответствии с дисциплинарными положениями в армии и в школе. Если мы будем настаивать на вопросе критериев, которые использует Фуко, то во всей своей четкости ответ появится только в книгах, вышедших после «Археологии»: слова, предложения и суждения, вошедшие в корпус, должны быть найдены вокруг рассеянных очагов власти (и сопротивления), причастных к той или иной проблеме. Например, корпус «сексуальности» в XIX веке: мы будем искать слова и предложения, которые произносятся в пределах исповедальни, суждения, которые громоздятся в учебнике религиозной нравственности, и мы также учтем и другие очаги власти, такие как школу и социальные институты, регистрирующие рождаемость и бракосочетания[24]. Практически этот критерий действует уже в «Археологии», хотя его теория и появляется позднее. Тогда, вслед за тем как образован корпус (который ничего не предполагает от высказывания), мы можем определить тот способ, которым речь стягивается в этот корпус, «падает» в него: это и есть «бытие речи» («l'être du langage»), о котором говорили «Слова и вещи», и «наличие речи» (le «Il y a du langage»), упоминаемое в «Археологии» и изменяющееся в соответствии с каждой совокуп-

[24] Ср.: *ВЗ*, *ПД*. Действительно, сам критерий начинает изучаться в работе *НН*. Но, без всякой логической ошибки, он мог употребляться и раньше.

ностью[25]. Это и есть «Говорят» (le «ON parle»), подобное анонимному шепотку, что звучит по-разному в зависимости от рассматриваемого корпуса. Следовательно, мы можем выделить из слов, предложений и суждений высказывания, которые с ними не смешиваются. Высказывания — это не слова, не предложения и не суждения, а формирования, которые выделяются только лишь из своего корпуса, когда субъекты предложения, объекты суждения, означаемые слов *меняют свою природу*, занимая место внутри «Говорят», распределяясь, рассеиваясь в толще речи. В соответствии с постоянным у Фуко парадоксом речь стягивается в корпус только для того, чтобы стать средой распределения или рассеивания высказываний; это правило естественно рассеянного «семейства». Весь это метод очень строгий, и он применяется, с разными степенями объяснения, по всей книге Фуко.

Когда Гоголь пишет свое гениальное произведение, в котором рассказывается о записи мертвых душ, он объясняет, что его роман является поэмой, и показывает как, в каких пунктах роман неминуемо должен быть поэмой. Возможно, в этой археологии Фуко в меньшей степени создает дискурс из своего метода, чем поэму из своего предшествующего творчества, и в той точке, где философия неизбежно становится поэзией, он достигает высокой поэзии сказанного, которое одновременно является как поэзией бессмыслицы, так и поэзией самых глубоких смыслов. В какой-то степени Фуко может заявить, что он всегда писал только вымыслы: дело в том, что, как мы видели, высказывания похожи на сновидения, и

[25] *АЗ*. С. 215–220.

все, как в калейдоскопе, меняется в зависимости от рассматриваемого корпуса и проводимой диагонали. Но, с другой стороны, он может также сказать, что всегда писал только о реальном и используя реальное, ибо в высказывании все является реальным, и всякая реальность становится в нем очевидной.

Существует неисчислимое количество многообразий. Не только огромный дуализм дискурсивных и не-дискурсивных многообразий; а среди дискурсивных — целые семейства или формации высказываний, список которых остается открытым и изменяется в каждую историческую эпоху. А к тому же еще существуют и виды высказываний, отмеченные некоторыми «порогами»: одно и то же семейство может пересекать многие виды высказываний, один и тот же вид может отмечать многие семейства. Например, наука налагает некоторые пороги, за которыми высказывания достигают «эпистомологизации», «научности» или даже «формализации». Но наука никогда не поглощает того семейства или той формации, в которых она складывается: научный статус и научные притязания психиатра не упраздняют юридических текстов, литературных излияний, философских размышлений, политических решений или заурядных мнений, являющихся составной частью соответствующей дискурсивной формации[26]. В крайнем случае наука ориентирует формацию, систематизирует или формализует некоторые из ее сфер, даже если и приобретает от нее некоторую идеологическую функцию, которую было бы неверно считать простым несовершенством этой науки. Короче говоря, наука локализуется в области знания,

[26] *АЗ*. С. 327–328.

которую она не поглощает, в формации, которая сама по себе является объектом знания, а не науки. Знание не есть ни наука, ни даже познание, оно имеет своим объектом ранее определенные многообразия или, скорее, то точно определенное многообразие, которое оно само описывает, со всеми его единичными точками, его местоположениями и его функциями. «Дискурсивная практика не совпадает с теми видами научной разработки, которые она может вызвать к жизни; и формируемое ею знание — это не грубый эскиз, не повседневный побочный продукт сложившейся науки»[27]. Но тогда понятно и то, что некоторые многообразия, некоторые формации не направляют знания, которое неизбежно ведет их к эпистемологическим порогам. Они отсылают его по другим направлениям, с совсем другими порогами. Мы не хотим тем самым сказать, что некоторые семейства просто неспособны к науке, кроме случаев перераспределения и подлинной мутации (так обстоит дело с тем, что предшествует психиатрии в XVII и в XVIII веках). Скорее, мы задаемся вопросом, нет ли порогов, например эстетических, мобилизующих некое знание в направлении, отличном от направления науки, которые позволили бы определить литературный текст или живописное произведение в тех дискурсивных практиках, к которым оно относится. Или же даже этические и политические пороги: можно, вероятно, показать, как запреты, исключения, ограничения, свободы, трансгрессии «связаны с определенной дискурсивной практикой», находятся в отношениях с не-дискурсивными средами и более или менее способны приблизиться к революцион-

[27] *АЗ*. С. 337.

ному порогу[28]. Таким образом, в связи с событиями, социальными институтами и всеми другими практиками выстраивается поэма-археология во всех регистрах многообразий, а также и в единственной записи сказанного. Главное — это не то, что мы преодолели двойственность науки-поэзии, которая еще отягчала работы Башляра. Это также и не то, что мы нашли способ толковать научно-литературные тексты. Главное — это то, что мы обнаружили и разметили эту неизвестную землю, где литературная форма, научное суждение, повседневное предложение, шизофреническая бессмыслица и т. д. суть в равной степени высказывания, хотя и без общего измерения, без всякой редукции или дискурсивной эквивалентности. И ни логиками, ни формалистами, ни интерпретаторами эта точка никогда еще не была достигнута. И наука и поэзия суть знание.

Но что же ограничивает семейство или дискурсивную формацию? Как воспринимать понятие купюры? Это совсем иной вопрос, чем вопрос о пороге. Но и здесь не подходит ни аксиоматический метод, ни в узком смысле структурный. Ибо замена одной формации другой не обязательно осуществляется на уровне самых общих высказываний или сред, поддающихся формализации. Только метод рядов, который применяют сегодня историки, позволяет создать ряд в соседстве с некой единичной точкой, и искать другие ряды, которые продолжают его в других направлениях, на уровне других точек. Всегда существует такой момент, такие места, где ряды начинают расходиться и распределяться в новом пространстве: вот здесь-то и проходит купюра Это метод ря-

[28] *АЗ*. С. 352–358.

дов, основанный на единичностях и кривых. Фуко замечает, что этот метод имеет, кажется, два противоположных результата, поскольку историков он ведет к осуществлению очень широких и далеко отстоящих друг от друга купюр в длительных периодах времени, тогда как эпистемологов он ведет к умножению купюр, иногда небольшой длительности[29]. Позднее мы вновь столкнемся с этой проблемой. Но, во всяком случае, суть в том, что построение рядов в поддающихся определению многообразиях делает невозможным любое рассредоточение последовательностей в русле той истории, какой ее воображали философы во славу Субъекта («сделать из исторического анализа дискурс о непрерывном, а из человеческого сознания сделать первичного субъекта всякого становления и всякой практики — это две грани одной и той же системы мышления. Время в ней понимается в терминах обобщения, а революции для нее — просто моменты осознания»[30]). Тем, кто постоянно вспоминает Историю и кто возражает против неопределенности такого понятия, как понятие «мутация», следует напомнить о замешательстве настоящих историков, когда речь заходит об объяснении того, почему капитализм возникает в таком то месте и в такой то момент, тогда как кажется, что столько факторов делали возможным его возникновение в других местах и в другие эпохи. «Проблематизировать ряды»... Дискурсивные или недискусивные формации, семейства, многообразия — все они являются историческими. Это не толь-

[29] *АЗ*. С. 43–44 (о методе рядов в истории ср.: *Braudel F.* Ecrits sur l'histoire. P., 1969).
[30] *АЗ*. С. 52.

ко составные сосуществования, они неотделимы от «временных векторов деривации»; и когда появляется новая формация, с новыми правилами и новыми рядами, то это никогда не происходит сразу, в одном предложении или в одном изобретении, но создается по «кирпичику», с пережитками, со сдвигами, реактивациями старых элементов, которые продолжают существовать и при новых правилах. Несмотря на изоморфизм и изотопии, ни одна формация не является моделью для другой. Следовательно, теория купюр является основной частью системы[31]. Нужно продолжать ряды, пересекать уровни, преодолевать пороги, никогда не останавливаться на развитии феноменов и высказываний в соответствии с горизонтальным или вертикальным измерением, а создавать поперечную линию, подвижную диагональ, по которой должен передвигаться архивариус-археолог. Суждение Булеза о разреженном мире Веберна приложимо, вероятно, и к Фуко (и к его стилю): «Он создал новое измерение, которое мы могли бы назвать диагональным измерением, чем-то вроде распределения точек, блоков или фигур уже не на плане, а в пространстве»[32].

[31] Существуют две проблемы, одна из которых — практическая, состоящая в том, чтобы узнать, где следует проводят купюры в определенном конкретном случае, а другая, от которой зависит и первая, является теоретической и затрагивает само понятие купюры (здесь следовало бы противопоставить структурную концепцию Альтюссера и концепцию рядов Фуко).

[32] *Boulez P.* Relevés d'apprenti. P., 1966. P. 372.

*Список сокращений*
*упоминаемых работ М. Фуко*

СВ — Слова и вещи. 1966
ЧтА — Что такое автор? 1969
АЗ — Археология знания. 1969
ПД — Порядок дискурса. 1971
ЯПР — Я, Пьер Ривер. 1973
ИБ — История безумия. 1961
НН — Надзирать и наказывать. 1975
ВЗ — Воля к знанию (История сексуальности). 1976

# *Содержание*

*По всем вопросам, связанным с приобретением и распространением этой книги, обращаться в ООО «Университетская книга»*

Санкт-Петербург,
1 линия В. О., 42
Тел. (812) 323-54-95
e-mail: ukniga@sp.ru

Москва,
Большой Предтеченский пер., 7
Тел. (095)255-01-98
e-mail: ukniga-m@mtu-net.ru

---

**Мишель Фуко**
АРХЕОЛОГИЯ ЗНАНИЯ

Главный редактор *Ю. С. Довженко*

Ответственный редактор *Д. Я. Калугин*
Корректор *Е. А. Кий*
Художник *П. П. Лосев*
Компьютерная верстка *А. Б. Левкина*

Лицензия ЛП № 000333 от 15.12.1999
Издательский Центр «Гуманитарная Академия»,
194044, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 18

Подписано в печать 15.10.2004. Формат 84×108$^{1}/_{32}$.
Бумага типографская. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,8. Уч.-изд. л. 15,8. Тираж 3000 экз. Заказ № 3653

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография "Наука"»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12.